ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ...

Основан в 1955 году

Поздравляем

лауреатов премии имени Жуковского [2010]:

Татьяну Баскакову

(*Почетная премия за выдающиеся достижения в сфере художественного перевода с немецкого языка*)

Елену Терешенок

(*Первая премия жюри в рамках конкурса*)

лауреатов премии имени Мориса Ваксмахера [2010]:

Виктора Лапицкого

(*в номинации "Художественная литература"*)

Григория Дашевского

(*в номинации "Гуманитарные науки"*)

лауреата премии Андрея Белого [2010] —

Алексея Прокопьева

(*специальная премия за перевод*)

[1]
2011

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Однажды в Америке...

3 Эдгар Л. Доктороу *Уэйкфилд.* Рассказ. Перевод Е. Домбаян. *"...соединять зримое и незримое, прошлое и настоящее..."* Из цикла *Американские беседы.* Перевод Е. Домбаян

44 Мэтью Лав *Ночное дежурство.* Рассказ. Перевод Льва Оборина

55 Кей Райан *Река Ниагара.* Стихи. Перевод и вступление Григория Кружкова

64 Дэвид Седарис *Рассказы.* Перевод и вступление Светланы Силаковой

Вглубь стихотворения

84 Роберт Фрост *Стихи.* Переводы с английского. Вступление Леонида Ситника

Современное американское эссе

96 Пенни Вулфсон *Луна восходит.* Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

112 Джералд Уокер *Убить дракона.* Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

118 Ричард Прайс и Энн Хадсон-Прайс *О чем говорят на улицах.* Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

Литературный гид
Генри Джеймс: "Жить в мире созидания"

125 Генри Джеймс *Записные книжки, дневники, письма, эссе.* Перевод и вступительная статья А. Ливерганта

185 Дэвид Лодж *Автора на сцену!* Главы из одноименной книги. Перевод Т. Казавчинской

Документальная проза

217 Малгожата Шейнерт *Остров-ключ.* Фрагменты книги. Перевод с польского К. Старосельской

Статьи, эссе

241 Ирина Жежко *Айн Рэнд на американском "Tea Party": диалог консерваторв и радикалов*

253 Марина Ефимова *Обмен. История бартерной торговли шпионами*

БиблиофИЛ

260 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

263 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

266 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

Библиография

273 *Американская литература на страницах "ИЛ".* 1992—2010

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года — “Иностранная литература”.

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Общественный редакционный совет:

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

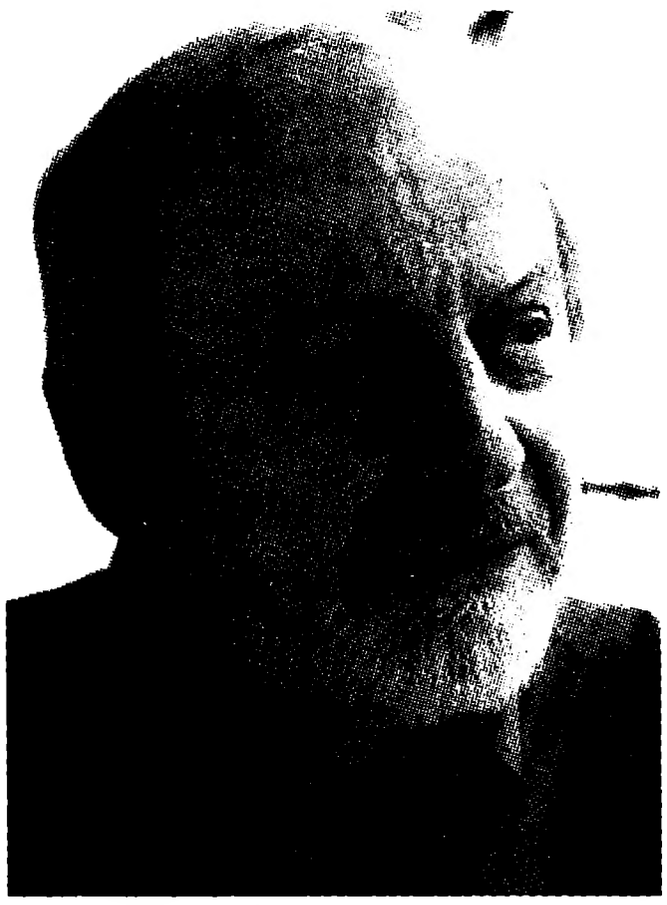
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Е. А. Полякова
Л. Г. Харлап
С. С. Шабуцкий

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”

Эдгар Л. Доктороу



Уэйкфилд

Перевод Е. Домбаян

ЛЮДИ скажут, что я бросил жену — фактически, возможно, так и есть, но ведь не намеренно! Я не собирался дезертировать. Череда странных обстоятельств привела меня на заваленный рухлядью и загаженный енотами чердак, откуда все и началось, само по себе, и откуда, конечно, я бы мог пройти через дверь к жене и двум дочерям, как делал это, возвращаясь домой по вечерам, все четырнадцать лет семейной жизни. Диана вспоминала, что видела меня последний раз в то самое утро, когда подвезла до станции и резко нажала на тормоза, а я вышел из машины и, прежде чем закрыть дверцу, наклонился и попрощался с ней загадочной улыбкой, — она-то думала, что я бросил ее именно тогда. На самом деле, я готов был забыть прошлые обиды и в тот же вечер вернулся — что тоже факт — с твердым намерением войти в дом, который я, то есть мы, купили, дабы растить в нем наших детей. И если выкладывать все начистоту, помню еще, как забурлила кровь в предвкушении секса, поскольку семейные ссоры всегда действовали на меня таким вот образом.

Радикальная перемена чувств, несомненно, может случиться с каждым, и, как многое другое, это наверняка коренится в характере. Разве человек, живущий по правилам и в соответст-

© Edgar Lawrence Doctorow, 2008, 2010
© Е. Домбаян. Перевод, 2011

вии с долгом, не способен выскочить из привычной колеи и, потревоженный каким-то шумом на заднем дворе дома, отшатнуться от одной двери, чтобы войти в другую и сделать первый шаг на пути изменения собственной жизни? Подумать только, куда меня занесло с этим изменением, — вряд ли это укладывается в рамки заурядной мужской измены.

Должен заявить, что сейчас моя любовь к Диане подлиннее, нежели раньше, на протяжении всей совместной жизни, включая день нашей свадьбы, когда невеста была невообразимо красива в белом гипюре и лучи солнца, струившиеся сквозь витражные окна, одаривали ее шею радужной бархоткой. А в тот вечер, о котором я веду речь, последний вагон отправлявшегося в 17.38 поезда, вагон, где я сидел, не тронулся с места. С чего бы это? Даже с учетом плачевного состояния железных дорог в стране, когда, спрашивается, подобное случалось? Каждый пассажир нашего вагона — а все вдруг оказались во тьме — в недоумении стал вопрошать попутчиков, в то время как поезд с остальными вагонами исчез в тоннеле. Ощущение, что мы попали в ловушку, подтверждал голый бетонный перрон, освещенный лампами дневного света. Послышался чей-то смешок, но уже через мгновение несколько пассажиров, вскочив, принялись барабанить по дверям и окнам, пока с рампы не спустился какой-то человек в форме и не разглядел, приставив ладони к глазам, что творится внутри вагона.

Дальше, доехав наконец с опозданием часа на полтора до своей станции, я оказываюсь под шквалом слепящих фар внедорожников и такси. И вся эта низовая иллюминация — под неестественно черным небом, потому что, как выясняется, в городе сбой в подаче электричества.

Происшествия эти вроде бы никак напрямую не связаны. Оно и понятно, но, когда уставший после долгого рабочего дня человек пытается добраться до дома, в мозгу срабатывает эффект Доплера, и кажется, что из этих неурядиц складывается траектория гибели цивилизации.

К дому я побрел пешком. Как только вереница сверкавших фарами машин, двигавшихся со стороны станции, проехала мимо, все вокруг затихло и погрузилось во мрак: ухоженные фасады магазинов на главной улице, здание суда, заправочные станции в обрамлении живой изгороди, начальная школа в готическом стиле у озера. Миновав центр, я зашагал по извилистым улицам фешенебельной части нашего городка. Мы живем в одном из старых кварталов, застроенных громоздкими, по большей части викторианскими, особняками с мансардами, полукруглыми террасами и отдельно стоящими гаражами, переделанными из бывших конюшен. Все дома располагаются на пригорках или в стороне от про-

езжей части, а владения отделяются друг от друга неплотными рядами деревьев — мне всегда нравилась эта многолетняя основательность, теперь же, казалось, весь квартал нарочито выставляется напоказ. Я вдруг осознал, что выбрал это место неспроста — но чем оно, спрашивается, лучше любого другого? Эта мысль сбивала с толку, мешала.

Мерцающие огоньки свечей или пляшущие лучи карманных фонариков в окнах заставляли думать о домах как хранилищах семейных тайн. Луны было не видать, тучи висели низко, а под ними резкий не по сезону ветер тормошил кроны норвежских кленов, выстроившихся вдоль дороги, и разбрызгивал по моим плечам и волосам мелкие капли весеннего дождя. Этот душ я посчитал насмешкой над собой.

С подобными мыслями, казалось бы, нужно поспешить к домашнему очагу. Я ускорил шаг и не преминул бы свернуть на дорожку и подняться по ступенькам к входной двери, если бы не взглянул на ворота и не увидел нечто, показавшееся мне тенью, мелькавшей возле гаража. Вот я и направился туда, громко топая по гравию, чтобы отпугнуть невесть что — предположительно, какого-то зверька.

Рядом с нами существовал мир животных. Я имею в виду не только собак и кошек. Олени и кролики регулярно лакомились цветами в нашем саду, наведывались и канадские гуси, и скунсы, а бывало, что и рыжая лиса, но на сей раз это оказался енот, причем крупный. Мне никогда не нравились эти зверьки с цепкими лапами. Я всегда подозревал, что енот — более близкий сородич человека, нежели обезьяна. Я взмахнул портфелем с деловыми бумагами, будто собирался бросить им в зверька, и тот убежал за гараж.

Защищая свои владения, я погнался за енотом. У подножья наружной лестницы, ведущей на чердак над гаражом, он встал на дыбы, зашипел, оскалился и угрожающе замахал передними лапами. Еноты подвержены припадкам бешенства, и этот, видимо, тоже взбесился: глаза горели, слюна, стекая, как жидкий клей, повисла по обе стороны пасти. Я поднял камень — этого оказалось достаточно: зверь скрылся в зарослях бамбука, отделявших задний двор нашего соседа доктора Сондервана, психиатра, авторитетного специалиста по синдрому Дауна и прочим генетическим недоразумениям. На чердаке гаража, куда мы сваливали все что ни попадя, обнаружились квартиранты: три детеныша, само собой, енота, — вот, значит, по какому поводу кипеж. Не понимаю, как эта семейка очутилась наверху. Вначале я увидел глазенки, несколько разом. Детеныши резвились в темноте, прыгая по сваленной в кучу мебели, как пушистые мячики, пока мне не удалось наконец выгнать их за дверь и, шикая, спустить по ступенькам вниз, где мать сможет их заполучить.

Я включил сотовый телефон, чтобы стало хоть чуточку светлее.

Чердак был забит свернутыми ковриками, старинными безделушками, коробками со студенческими конспектами, ненужными настольными играми; рядом громоздились унаследованный женой сундук для приданого и клюшки для гольфа ее покойного отца, устаревшая стереоаппаратура, сломанный секретер, складные детские кроватки и много чего другого. Семья у нас хотя и молодая, но с богатой историей. Я был до смешного уверен, что сражался за правое дело и отстоял свое королевство от захватчиков. Но потом меня накрыла меланхолия: на чердаке нашлось достаточно старья, чтобы расчувствоваться, а я всегда грущу, глядя на реликвии, особенно на старые фотографии.

Все было покрыто толстым слоем пыли. Круглое слуховое окошко на передней стене не открывалось, и окна на боковых стенах, казалось, прилепленные к рамам свисавшей с них паутиной, не поддались. Чердак срочно тре́бовалось проветрить. Я поднапрягся и передвинул мебель, после чего смог распахнуть настежь дверь. Стоя на верхней ступеньке лестницы и вдыхая свежий воздух, я вдруг заметил огни свечей, проглядывавшие сквозь бамбук на границе нашего двора и владений соседа, того самого доктора Сондервана. В своем доме он поселил несколько юных пациентов, которых пытался обучить элементарным навыкам домашнего труда и общения с нормальными людьми, что являлось частью его экспериментальной работы и несколько противоречило профессиональной этике. Когда кое-кто из соседей выступил против его инициативы организовать этот маленький санаторий на дому, я встал на защиту доктора Сондервана, хотя, должен признаться, Диану, как мать двух девочек, нервировало, что рядом живут дебилы; впрочем, никаких хлопот они нам, разумеется, не доставляли.

Долгий день утомил меня, но, вероятно, в большей мере я страдал от душевного смятения. Поискав, куда бы приткнуться, я обнаружил кресло-качалку с прорехой в сиденье, которое давно уже собирался починить, и, погрузившись в полную темноту, после того как в сознании стерлось мерцание свечей, сел в него с намерением передохнуть, однако уснул. Разбудил меня свет, пробивавшийся сквозь пыльные окна. Я проспал всю ночь.

Наша с Дианой последняя ссора произошла из-за того, что она флиртовала с неизвестным мужчиной на лужайке дома, куда нас пригласили на коктейль в прошлый выходной, и мне это не понравилось.

— Я не флиртовала, — сказала она.

— Ты откровенно с ним заигрывала.

— Исключительно в твоем изощренном воображении, Уэйкфилд.

Она всегда так делала, когда мы ссорились, — называла меня по фамилии. Я переставал быть Говардом, я был Уэйкфилд. Такое обращение стало одной из ее феминистских адаптаций "мужского разговора", что меня бесило.

— Ты говорила намеками, — сказал я, — и чокалась с ним.

— Какие там намеки! — возразила Диана. — Если хочешь знать, я так ответила на какую-то его глупость. Смеялись все, кроме тебя. Прости, Уэйкфилд, за то, что иногда мне бывает хорошо. Постараюсь, чтобы впредь этого не повторилось.

— Ты уже не в первый раз говоришь намеками на глазах у мужа. А потом делаешь вид, будто ничего не произошло.

— Пожалуйста, оставь меня в покое. Господь свидетель, ты заморочил мне голову так, что я уже теряю в себе уверенность. Теперь я не просто вступаю в контакт с людьми, а занимаюсь тем, что в угоду тебе слежу за своей речью.

— Ты вступала с ним в контакт. Отлично.

— Неужто ты полагаешь, что, вступив однажды "в контакт" с тобой, мне захочется повторить этот опыт с кем-то еще? Каждый день я только и думаю, как бы положить этому конец, только того и жду.

Вероятно, она говорила правду. Сидя в поезде по дороге на работу, я вынужден был признаться себе, что намеренно затеял ссору, из духа противоречия и не без привкуса эротизма. Я не очень-то верил в то, в чем ее обвинял. Сам частенько проявлял интерес к другим, а ей приписывал свойственную мне тягу к приключениям. Вот так и рождается ревность хотя, быть может, я ошибаюсь. Возникает чувство, будто все вокруг прирожденные лицемеры. Мне и вправду стало досадно, когда я увидел, как она стоит с бокалом белого вина в руке и беседует со случайным знакомым — эдакое невинное дружелюбие, которое всякий мужчина, не я один, может спутать с приглашением к большему. Того парня не назовешь чертовски привлекательным, однако я был задет — она кокетничала с ним так, словно меня не было рядом.

Диана обладала природной грацией и выглядела моложе своих лет. В колледже она занималась танцами и по-прежнему двигалась как танцовщица, чуть вывернув носки наружу и высоко подняв голову, — скользила, а не просто переступала с ноги на ногу. Даже после рождения двойняшек она оставалась изящной и хрупкой, как в день нашего знакомства.

А теперь, при свете первых лучей нового дня, я понял, что загнан в тупик ситуацией, которую создал сам. Не берусь утверждать, что мыслил я рационально. Но мне и вправду казалось, что войти сразу в дом и объяснить, какое стечение обстоятельств заставило меня провести ночь на чердаке, будет

ошибкой. Диана наверняка всю ночь не сомкнула глаз, меряя шагами комнату и теряясь в догадках, что стряслось. Увидев меня и испытав облегчение, она может вспылить пуще прежнего. Либо заподозрит, что я был с другой женщиной, либо, если поверит мне, придет в ужас, расценив мою причуду как новую точку отсчета в нашей совместной жизни. В любом случае, накануне мы все-таки повздорили, и, возможно, она сочтет ссору знаком того, что брак наш дал трещину, рассуждал я, хотя верилось в это слабо. Для двойняшек же, расцветающих подростков, я человек, с которым они, к сожалению, вынуждены жить под одной крышей и краснеть в присутствии друзей — ведь этот чудак ничего не смыслит в их любимой музыке. Они отгородятся от меня демонстративно. В моем сознании мать и дочери играли в команде противника, в домашней команде противника. И я пришел к выводу, что сейчас будет разумнее избежать семейной сцены, которую только что прокрутило мое воображение. Пусть это случится позднее, но не теперь. Мне еще только предстояло обнаружить свою склонность к нарушению долга.

Когда я сошел вниз по лестнице и облегчился под бамбуком, утренняя прохлада поприветствовала меня легким ветерком. Енотов не было видно. Спина немного затекла, я ощутил первые позывы голода, но, признаюсь, совершенно не чувствовал себя несчастным. И что такого особенного в семье? С какой стати надо считать ее священной и неприкосновенной, думал я, и почему человек обязан прожить в ней всю свою жизнь, даже если эта жизнь не позволяет ему себя реализовать?

Стоя в тени гаража, я мог держать в поле зрения весь двор, включая норвежские клены, березы с белыми в крапинку стволами, старую яблоню, ветви которой касались окон большой общей комнаты, и, кажется, впервые в жизни осознал, что зеленое великолепие этого клочка земли совершенно безразлично к человеческой жизни и существует обособленно от стоящего на нем викторианского особнячка. Солнце еще не взошло, трава была прикрыта волнистой дымчатой вуалью, кое-где усеянной блестящими каплями росы. На старой яблоне уже начали пробиваться белые цветки, а в бледном свечении неба я разглядел неброскую вывеску мира, с которым мне еще только предстояло познакомиться.

Тут я мог бы спокойно отпереть заднюю дверь и наведаться на кухню, ведь в доме наверняка все еще спали. Вместо этого я поднял крышку мусорного бака и обнаружил свой вчерашний обед, вываленный прямо на пластиковый пакет так, что порядок, в котором он был разложен на тарелке, ничуть не нарушился: по кругу лежали поджаренная на гриле телячья отбивная, половина печеной картофелины белой мяко-

тью вверх и кучка зеленого салата в масляной заправке. Могу себе представить выражение лица все еще сердитой после утренней перепалки Дианы, явившейся сюда, чтобы избавиться от еды, которую она, как дура, готовила для своего благоверного.

Интересно, на каком часу ожидания ее терпение лопнуло? Каким запасом времени она пожертвовала в мою пользу? Другая, возможно, отправила бы обед в холодильник, но не такова была Диана: я жил в тисках ее правосудия, не зная покоя, как заключенный, в камере у которого всегда горит лампочка. То я не интересовался ее работой, то кривил душой, то надменно вел себя с ее матерью. Или: в погожую осеннюю пору убивал выходные у телевизора, за дурацким футболом. А еще не хотел, чтобы перекрашивали стены в спальнях. Пусть так, но если она считает себя ярой феминисткой, к чему так ревностно следить за тем, открыл ли я перед ней дверь, помог надеть пальто или нет?

Потребовалось всего-навсего постоять перед домом тем прохладным ранним утром, чтобы понять ситуацию в целом: Диана сознавала, что вышла не за того. На свой счет я не заблуждался — я, конечно, не подарок, — но даже ей следовало бы признать, что со мной не бывает скучно. И потом, какие бы проблемы у нас ни возникали, они никогда не были связаны с сексом, которому мы отводили значительное место в жизни. Может, я питал иллюзии, полагая, что секс — фундамент прочного брака?

Когда в голове творится такое, трудно заставить себя войти в дверь и объявить, что пришел домой. Укрывшись за гаражом, я позавтракал окоченевшей телятиной и картошкой. С Дианой меня познакомил мой лучший друг Дирк Ричардсон, которого я знал еще со школы. Поскольку она с ним встречалась, я приглядывался к ней с особым вниманием. На мой взгляд, она была хорошенькая, очень привлекательная, мило улыбалась, светло-каштановые волосы собирала сзади в хвост и отличалась прекрасной фигурой, в чем можно было убедиться, взглянув на нее даже мельком, однако на мысль о возможности серьезных с ней отношений меня натолкнул явный и глубокий интерес, который проявлял к ней Дирк. Вначале Диана неизменно отвечала мне отказом. Но потом, когда я сказал, что получил разрешение от Дирка пригласить ее куда-нибудь, сменила гнев на милость. Я, конечно, соврал. В итоге, когда они с Дирком уличили меня в предательстве, положение сильно ухудшилось: в последовавшем далее и затянувшемся на многие месяцы соперничестве мы разрывали бедную девушку между собой, образовав самый несчастный треугольник, какой только можно вообразить. Что и говорить — все трое были еще

детьми. Я едва окончил юридический в Гарварде, Дирк получил первую работу с испытательным сроком на Уолл-стрит, Диана трудилась над диссертацией по истории искусств — кто мы были такие? Юнцы, видевшие себя в будущем обитателями респектабельных кварталов Ист-Сайда. Временами Диана отказывалась от свиданий со мной, временами — с Дирком или вообще ни с кем из нас не встречалась. По прошествии лет очевидно, что все это было в порядке вещей: дрейфующих по воле гормональных приливов двадцатилетних людей прибивало то к одному, то к другому берегу.

Я не знал, спала ли Диана с Дирком до того, как я вклинился в их отношения, — теперь-то у меня нет сомнений, что ни с кем она не спала. Однажды, в припадке вдохновения, я ляпнул Дирку, что провел прошлую ночь с Дианой. Когда он высказал ей свое возмущение, она, конечно же, стала все отрицать, а он не поверил, тем самым продемонстрировав отсутствие душевной чуткости и неспособность оценить по достоинству личность, с которой имеет дело. Дирк совершил роковую ошибку, усугубившуюся еще и тем, что пытался на Диану давить. Равно как и все мы, ее сверстники, Диана не была девственницей, но, как я потом выяснил, опыт у нее тоже отсутствовал, хотя ее сексуальная неискушенность вполне могла бы быть притворной. В любом случае, нельзя навязываться женщине, если рассчитываешь увидеть ее снова. Вторая ошибка Дирка, перед тем как он выпал из нашей жизни, состояла в том, что он мне врезал. Хотя ростом я был повыше, он был тяжелее и успел пару раз свалить меня с ног, пока кто-то его не оттащил. Так я был бит первый и последний раз в жизни, хотя с тех пор мне не раз угрожали. Фингал под глазом вызвал у Дианы нежные чувства. Наверно, она решила, что мое тактическое лукавство свидетельствует о моей преданности, и, как только ее прохладные губы коснулись синяка на моей щеке, я почувствовал, что никогда еще не был так счастлив.

Через год с небольшим после женитьбы пыла в наших отношениях поубавилось, и я спрашивал себя, не была ли моя любовная горячка подогрета соперничеством. Стал бы я сходить по ней с ума, не будь она девушкой моего лучшего друга? Потом, когда Диана забеременела, в нашей семейной жизни появилась масса новых ощущений, и по мере того, как ее животик увеличивался, она становилась все лучезарнее. Раньше я любил рисовать и серьезно занимался рисованием на первом курсе в Гарварде, а мои познания в искусстве еще больше привлекали ко мне Диану. Она разрешила мне рисовать ее и позировала обнаженной, когда маленькие груди налились, а животик восхитительно округлился. Она возлежала на подушках с закинутыми за голову руками, на боку, чуть припод-

няв, но — отдавая дань скромности — плотно сомкнув ноги, как Маха у Гойи.

Первый день на чердаке я провел возле слухового окна, чтобы наблюдать за тем, как будут развиваться события, когда станет ясно, что я пропал. Сначала Диана отправит двойняшек в школу. Потом, едва школьный автобус завернет за угол, позвонит ко мне в контору и удостоверится, что моя секретарша видела, как я ушел оттуда вчера вечером в обычное время. Она попросит, чтобы ее оповестили, когда я появлюсь на работе; при этом голос у нее будет не просто спокойным, но приторно бодрым, словно речь идет о домашних пустяках. Только сделав звонок другой друзьям в надежде, что те могут что-то знать, она, по моим прикидкам, запаникует. Будет посматривать на часы и, примерно к одиннадцати, соберется с духом и позвонит в полицию.

Я ошибся на полчаса. Наряд полиции подъехал к дому, по моим часам, в одиннадцать тридцать. Диана встретила патрульных у заднего крыльца. В нашем городке полицейским платят хорошо, ведут они себя вежливо и недалеко ушли от нас, местных жителей, в своих смутных представлениях о преступном мире. Я знал, что они составят словесный портрет, попросят фотографию и тому подобное, чтобы состряпать сводку о пропаже человека. Как только копы вернулись в машину, я разглядел сквозь ветровое стекло, что они улыбаются: где еще искать пропавших мужей, как не у "Сент-Барта", за бокалом piña colada[1] в компании chiquitas[2]?

Для полного набора не хватало только Дианиной матери, и к полудню из Нью-Йорка на своем белом "эскалейде" прибыла вдова Бэбс, не одобрявшая наш брак, о чем теперь не преминет напомнить. Внешне Бэбс являла собой Диану, да поможет Господь моей жене, тридцатью годами старше: высокие каблуки, фарфоровая челюсть, липосакция, ни следа варикоза и золотая осень волос, залаченных до блеска и твердости арахисовых козинаков.

В последующие несколько дней с утра до вечера к дому подъезжали машины друзей и коллег, демонстрировавших поддержку и утешавших Диану, как будто я был уже покойник. Эти ничтожества, едва сдерживая возбуждение, выражали соболезнование моим несчастным жене и детям. Сколько чужих мужей непрочь подкатить к Диане при первом же удобном случае? Я подумал, может, стоит ворваться в дом — Уэйкфилд воскресе! — просто ради того, чтобы полюбоваться их физиономиями.

1. Напиток из рома, кокосового молока и ананасового сока со льдом (*исп.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Подружки *(исп.)*.

Потом все затихло. И света в доме было немного. Порой я видел промелькнувшую в окне фигуру, но кто это был, определить не мог. Однажды утром, после того как девочек увез школьный автобус, ворота гаража открылись, и Диана, сев в свою машину, поехала в окружной Музей искусств, где работала хранителем. Я был голоден — пробавлялся довольно скудными объедками из нашей помойки и мусорных бачков соседей — и поспешил пробраться в дом, чтобы воспользовался его благами. Поел крекеров и орехов из кладовой. Умывшись, прополоскал полотенце, отправил его в сушилку и только после этого аккуратно сложил и вернул в бельевой шкаф. Стащил несколько пар носков и трусов, предполагая, что в заполненных до краев ящиках исчезновение столь малого количества останется незамеченным. Хотел прихватить еще чистую сорочку и пару ботинок, но решил не рисковать.

На этом этапе я все еще переживал по поводу денег. Что делать, когда закончится небольшой запас наличных в бумажнике? Если я намерен исчезнуть с концами, нельзя пользоваться кредитными картами. Можно выписать чек задним числом и обналичить его в городе, в отделении местного банка, но, когда придет месячный баланс, Диана увидит отметку и подумает, что я бросил семью преднамеренно, а это вовсе не так.

Близился вечер, время, когда цветущие яблони начинали источать дивный аромат, и Диана вышла постоять на лужайке за домом. Я наблюдал за нею сверху. Она сорвала цветы с ветки и приложила их к щеке. Потом огляделась, словно что-то услыхав. Посмотрела в одну сторону, затем в другую, взгляд скользнул по гаражу. Она стояла, будто прислушиваясь, чуть наклонив голову, и у меня возникло чувство, что она почти догадалась, где я, ощутила мое присутствие. Я затаил дыхание. Минуту спустя Диана повернулась и пошла в дом, дверь за нею закрылась, и я услышал, как щелкнул замок. Тот громкий щелчок все определил. В моем сознании он прозвучал как знак перехода в новую, свободную жизнь.

Я ощупал заросший подбородок. Кто этот парень? Одичавший бродяга? Меня ничуть не волновало, что я бросил в своей адвокатской конторе все дела, клиентов, партнеров. Больше не придется спешить на поезд. Внизу в гараже мой любимый серебристый “БМВ-325” с откидным верхом. На что он мне сдался? Я совсем разошелся: готов был рычать и бить себя кулаком в грудь. Больше нет нужды в накопленных за годы друзьях и знакомых! Не требуется переодеваться в чистое и гладко брить лицо. Отныне моя жизнь не связана с кредитными картами и сотовыми телефонами. Стану жить как получится, на то, что смогу отыскать или создать сам. Будь это тривиальный уход от жены и детей, я бы написал Диане записку с предложением найти хорошего адвоката, за-

брал из гаража машину и покатил на Манхэттен. Снял бы номер в гостинице, а на следующее утро отправился на работу пешком. Так может поступить любой, сбежать может каждый, сбежать куда подальше — но все же остаться прежним. Со мною все иначе. Мой случай особенный. На этих странных задворках, ставших моей средой обитания, мне предстоит продержаться как человеку, затерявшемуся в джунглях или выброшенному на необитаемый остров. Я не сбегу — я превращу это место в *свое*. Таковы условия игры, если это игра. Вызов брошен. Я ушел не только из дома — я вырвался из системы. Вместить жизнь в сверкающий глаз взбесившегося енота — вот чего я хотел и никогда еще не был столь непоколебим в своих намерениях, словно несколько моих фантомных образов слились наконец в того, кто я есть на самом деле, — Говарда Уэйкфилда.

При всей дарованной самому себе свободе, я все же решил присматривать за якобы брошенной женой. По необходимости я сделался ночным существом. Днем спал на чердаке, ночью выходи́л наружу. Я стал чувствителен к погоде и интенсивности лунного света. Пробирался от одного дома к другому дворами, не доверяя тротуарам и проезжей части улиц. Я многое узнал о живущих по соседству людях: что́ они едят, в котором часу ложатся спать. Когда на смену весне пришло лето, многие уехали в отпуск, большинство домов опустело и стало меньше возможностей кормиться из помойки. Но вместе с тем и собак поубавилось, меньше лая было, когда я крался под деревьями. Где держали больших собак, там и вход для собаки был побольше, так что я мог пролезть в дом и разжиться банками консервов и упаковками, припасенными в кухонных кладовках. Ничего, кроме съестного, я не брал. Я сравнивал себя, правда не всерьез, с индейцами, охотниками на буйволов, которые убивают животных ради мяса и шкуры, после чего благодарят их отлетевшие души. Иллюзий по поводу нравственной стороны своих поступков я не питал.

Одежда моя начинала ветшать. Борода росла, волосы становились длиннее. С приближением августа Диана, возможно — как мы делали много лет подряд, — снимет дом, приглянувшийся нам обоим на Кейп-Коде, и на месяц увезет туда девочек. Пришлось потрудиться, чтоб восстановить бедлам в моей берлоге. Я планировал спать на улице, пока они не явятся наверх за спасательными жилетами, надувным матрасом, ластами, удочками и прочим летним хламом, который я так безропотно когда-то закупал. В поисках нового места ночлега я покинул обжитую территорию с острым ощущением неприкаянности, но едва приступил к поискам доступного мес-

та, как наткнулся на островок столь девственной земли, о котором можно было только мечтать. В неярком свете полумесяца я быстро понял, что нахожусь в приписанном к нашему городку заповеднике, куда водят младших школьников, чтобы дать им представление о том, как выглядит неасфальтированный мир. Я тоже приводил сюда дочек. Наша фирма представляла интересы богатой вдовы, передавшей городу право собственности на эту землю с условием, что она навсегда останется нетронутой. Из темноты проступили черты первозданной природы. Земля была мягкой и топкой, на тропинках валялись опавшие ветки, я слышал навязчивый, как самогипноз, стрекот цикад, кваканье лягушек, и выработавшееся совсем недавно звериное чутье подсказало мне: кругом полно других четвероногих. На опушке леса я обнаружил небольшой пруд. Вероятно, его питал какой-то подземный родник, поскольку вода была холодная и чистая. Я разделся, искупался и натянул одежду прямо на мокрое тело. Той ночью я спал в полом стволе засохшего старого клена. Не сказать, что спалось мне хорошо. Донимали мошки, садившиеся на лицо, а рядом беспрерывно шла неведомая мне жизнь. Было, конечно, неуютно, но я постановил не придавать этому значения: такие ночи должны были стать для меня нормой.

И все же, когда Диана и девочки уехали на каникулы и я смог вернуться на убогое лежбище на чердаке, я остро почувствовал, что одинок как изгой. В утешение я решил, что мой новый облик “привет с того света”, по крайней мере, дает мне шанс неузнанным бродить по улицам. Бородатый дохляк с закрывающими лицо космами. Когда волосы отросли, я понял, что все более заметную седину раньше удавалось скрывать лишь усилиями парикмахера. Как был, в обносках, грязный и лохматый, я отправился в деловую часть городка и воспользовался общественным сервисом. В публичной библиотеке, где имелся чистый, как и полагается, мужской туалет, я полистал газеты, и мне показалось, что я читаю про жизнь на другой планете. И все же, подумал я, моему нынешнему облику больше подходят газеты, нежели библиотечные компьютеры.

В хорошую погоду я с удовольствием сидел на скамейке у торгового центра. Я не попрошайничал — если бы стал просить деньги, охранники вытолкали бы меня взашей. Просто сидел горделиво, нога на ногу, с высоко поднятой головой и, вероятно, производил впечатление чудака, страдающего манией величия. Иногда мамаши подсылали своих детишек, чтобы те сунули мне в руки мелочь или доллар. Благодаря им я время от времени мог насладиться горячей едой в “Бургер-кинг” или выпить кофе в “Старбакс”. Прикидываясь немым, я указывал пальцем на то, что хотел.

Эти вылазки в центр я расценивал как дерзкие эскапады. Требовалось доказать себе, что я способен на риск. Удостоверения личности при мне не было, но не исключалось, что кто-нибудь или даже сама Диана, вернувшись из отпуска, может, проходя мимо, меня узнать. О встрече с ней я чуть ли не мечтал. Но через некоторое время эти походы утратили прелесть новизны, и я снова уединился на своей территории. Добровольное заточение я принимал как церковное послушание, будто монах, давший обет подтверждать своеобразие божьего мира.

По телефонным проводам путешествовали белки, подавая друг другу сигналы хвостами. Еноты поднимали крышки баков с отходами, выставленных на обочину в ожидании утреннего приезда мусорных машин. Если я опережал зверьков, они знали, что для них в контейнерах ничего не осталось. Скунс каждую ночь наворачивал круги, как сторож, повторяя один и тот же маршрут мимо нашего гаража, сквозь бамбук и дальше по диагонали через двор Сондервана к подъездной дорожке, после чего исчезал. Когда я время от времени купался в пруду заповедника, грязная лоснящаяся ондатра с крысиным хвостом наблюдала за мной. Ее темные глаза сверкали в лунном свете. Она ныряла в пруд тихо, не тревожа водной глади, и только после того, как я оттуда вылезал. Частенько по утрам со зловещим карканьем налетали вороны, штук по двадцать-тридцать разом. Могло показаться, что деревья увешаны громкоговорителями. Иногда вороны затихали и отправляли парочку в разведку; те, покружив, приземлялись на тротуар и проверяли содержимое брошенного конфетного фантика или контейнера, не полностью опорожненного мусорщиками. Мертвая белка предоставляла возможность устроить пир: огромное черное скопище крыльев и голов, налетев на тушку, обгладывало ее до костей. Вместе они образовывали своего рода воронье государство — если в нем и были отщепенцы, я их различить не мог. Мне страшно не нравилось, что вороны отгоняли птиц помельче, к примеру, выжили с заднего двора пару вьюрков, свивших там гнездо и не склонных к кочевой жизни — в отличие от этой черной своры, которая, не успев обосноваться на месте, мощным вихрем уносилась к следующему кварталу или городу.

Повсюду рыскали домашние кошки, и, конечно, то в одном, то в другом дворе по ночам лаяли собаки, но их я не считал законными обитателями моего мира. Они существовали беззаботно, пригревшись под крылышком у людей.

Однажды ранней осенью, когда мягкая земля заповедника была уже устлана опавшей листвой, я присел на корточки, чтобы рассмотреть мертвую змею, длиною примерно с фут —

при жизни она, вероятно, была зеленого цвета, — а вставая, почувствовал, как что-то плавно коснулось моей головы. Подняв глаза, я увидел белую, будто привидение, сову; сложив крылья, она скрылась в дупле. Легкое прикосновение совиных перьев заставило меня содрогнуться.

Эти существа и я либо служили кормом друг для друга, либо таковым не являлись. Вот и все дела. Недооцененный любовник, гордящийся своим одиночеством, я был на их пути такой же случайностью, какой они раньше были для меня.

Диана всегда ощущала себя уютно в своем теле и не думала стесняться девочек. Плевать ей было, что дети могут увидеть ее голой, а когда я заметил, что, вероятно, не так уж это и хорошо, она заявила, что, напротив, это поучительно, пусть видят, как естественно и беззастенчиво женщина способна относиться к собственной плоти. Ладно, ну а как насчет мужской плоти, спросил я, что, если я стану расхаживать нагишом? И услышал в ответ: “Да неужто, Говард Блюститель Нравов и нагишом? Кишка тонка”.

Когда Диана одевалась или раздевалась в спальне, ее не смущали неприкрытые окна. Это я всегда опускал жалюзи. “Кого ты пытаешься привлечь?” — спрашивал я. “Вон того красавчика на яблоне”, — отвечала Диана. Казалось, она в равной степени не придавала значения ни тому, что ее могут увидеть в окне голой, ни тому, какое впечатление производит на мужчин на вечеринках. Такое поведение было двусмысленным и ставило меня в тупик.

Даже не влезая на яблоню, я нашел на нашем полуакре земли несколько разных точек, с которых можно было довольно хорошо рассмотреть Диану ночью, когда она ложилась спать. Причем всегда одна, как я с удовлетворением отмечал. Иногда она подходила к окну и, уставившись в темноту, расчесывала волосы. В такие минуты освещение оказывалось сзади, и был очерчен лишь силуэт ее чудесной фигуры. Затем она поворачивалась и уходила вглубь комнаты — девушка с высокой талией, узкими плечами и крепкими ягодицами.

Довольно странно, но, когда я смотрел на раздетую жену, мне приходили в голову мысли о ее финансовом положении. Вероятно, я хотел убедить себя, что она не сочтет необходимым продать дом и переехать в другое место. Зарплата у нее в музее была неплохая, но на нас висели кредит за дом и плата за обучение девочек. С другой стороны, я открыл сберегательный счет на имя жены и регулярно его пополнял. Кроме того, я вложил приличную сумму в один трест и дал ей право распоряжаться процентами наравне со мной. Значительную часть кредита я погасил благодаря прошлогодней премии.

Возможно, Диане придется сократить расходы на одежду и всякие мелкие радости и отказаться от задумки облицевать ванные комнаты мрамором, но все это вряд ли приведет к ее обнищанию. Если кто-то из нас и обнищал, так это я.

Я шпионил за ней не только, когда она была в спальне. Осенью с каждым днем смеркалось все раньше. Мне хотелось знать, что происходит в доме. Я садился на корточки под окнами в опавшей листве и подслушивал разговоры. В столовой Диана помогала двойняшкам делать уроки. Или все трое накрывали на стол к обеду. Притаившись у стены собственного владения, я услышал свое имя только раз. Одна из двойняшек, топнув ногой, визгливо потребовала не произносить его больше никогда. После этого громко хлопнула дверь. Бывало, Диана выходила на заднее крыльцо покурить и стояла там, подперев одной рукой локоть другой, в которой держала сигарету, указующую в небо. Вот так новость — ведь она бросила эту привычку много лет назад. Иногда по вечерам Диана уезжала, и я не видел ничего, кроме переливающегося разными цветами экрана телевизора в большой комнате. Мне не нравилось, что она оставляла дочек одних, и я не покидал наблюдательного пункта у чердачного слухового окна, дожидаясь, когда подъедет ее машина.

На Хэллоуин улица заполнилась родителями, сопровождавшими своих прелестно костюмированных чад от одного дома к другому. Диана всегда готовилась к нашествию соседских детей, тоннами закупая сладости. В доме зажглись все огни. Слышался смех. Прямо под чердачным окном я увидел пациентов доктора Сондервана. Выйдя из бамбуковых зарослей, они просеменили вниз по нашей подъездной дорожке, сжимая в руках бумажные сумки, предназначенные для драгоценных подарков от соседей, которые, возможно, без особого восторга встретят их у порога.

Последующие две недели жители нашего городка выносили на помойку "неорганические отходы": телевизоры, сломанные стулья и торшеры, коробки с книгами, журнальные столики, игрушки, в которые дети давно перестали играть, и тому подобное. Я успел разжиться вполне пригодным, хотя немного прохудившимся японским футоном со следами спермы и старым портативным радиоприемником, на вид в рабочем состоянии, — только бы найти к нему батарейки. Больше всего я скучал по музыке.

Той ночью я отправился на поиски ботинок. Мои вконец сносились и разваливались на части. Ночь была сырая. Днем прошел дождь, и улицы облепила скользкая мокрая листва. Действовать следовало молниеносно: к часу ночи то, что предназначалось на выброс, было свалено на тротуарах, а к

двум все сто́ящее уже исчезало. В такие ночи жители южной окраины курсировали в старых пикапах или кренившихся на один бок легковушках и притормаживали, не выключая мотора, чтобы, выскочив на минутку, ощупать каждую вещь, прикидывая, соответствует ли она их требованиям.

В нескольких кварталах от моей берлоги я увидел под уличным фонарем многообещающую, необычайно большую кучу старья, которая вполне могла бы сойти за инсталляцию в какой-нибудь галерее в Челси. У такого клада всякий застрянет: груда стульев, открытые коробки с куклами и мягкими игрушками, настольные игры, диван, медная спинка кровати, лыжи, рабочий стол с прикрепленной к нему лампой, а подо всем этим — гора мужской и женской одежды. Я углубился в работу, раскапывая костюмы и платья и кое-что откладывая в сторону, и не слышал, как подъехал грузовик, из которого вышли и направились прямо ко мне два парня в футболках без рукавов, открывавших накаченные бицепсы. Между собой они говорили на каком-то иностранном языке и действовали так, будто меня не существовало. Расчищая себе дорогу среди сваленных в кучу предметов и забрасывая все подряд: мебель, игрушки, лыжи и прочее в грузовик, — они быстро добрались до груды одежды, в которой я успел откопать три или четыре коробки с обувью, и оттолкнули меня, чтобы забрать и это. Погодите, решил я, схватив пару бело-коричневых штиблет — не мой стиль, но при ночном освещении они выглядели только что снятыми с витрины магазина, да и размер был вроде бы подходящий, — и сбросил свои башмаки с хлюпающей подошвой. Но тут увидел, что хамоватым любителям старья сопутствует дама, еще шире в плечах и мощнее, чем они, и эта дама решила, что моя пара обуви тоже принадлежит им. “Нет, — сказал я, — это мое. Мое!” Коробка промокла и, пока мы вырывали ее друг у друга, порвалась, и башмаки вывалились на землю. Я схватил их первым и с криком “Мое!” стукнул подошвой о подошву прямо у бабищи перед носом. Она завопила, но я секунду спустя, как ласты, напялив на ладони ботинки, уже мчался по улице, а за мной вдогонку неслись двое мужчин, выкрикивавших проклятия или то, что я принял за проклятия. Громкая хрипловатая брань эхом разносилась среди деревьев и будила собак, отзывавшихся лаем в темных домах.

Бежал я что есть мочи. Позади слышалось тяжелое дыхание преследователей; потом, когда один из них поскользнулся на мокрых листьях и грохнулся, раздался крик. Воображение нарисовало туповатые лица, и я решил, что мои конкуренты — мать с двумя сыновьями. Вероятно, они зарабатывали на этом барахле. Что ж, отличная стажировка на

пути к "американской мечте". Но я отхватил их, в смысле ботинки, первым, и по закону джунглей они принадлежали мне.

"Мое!" — сказал я, как ребенок. Мое, мое! Это было первое слово, которое я произнес за месяцы моего отшельничества, и мне показалось, что его выговорил кто-то другой.

У меня было преимущество — я хорошо знал местность, — и сократил путь, пересекая дворы и дороги напрямик или проскакивая через садовые калитки, но каждый шаг стал сущим наказанием для моих чувствительных мокрых ступней. Услыхав ритмичный хрип, я понял, что он исходит из моей собственной груди. Оглядываться было страшно. Судя по шуму мотора, их грузовик двигался по какой-то из параллельных улиц, и мне представилась мамаша, баба, сидящая за рулем и высматривающая меня в свете лобовых фар. Я уже приближался к своему укрытию — оставалось только пересечь задний двор Сондервана, — но решил, что не стоит показывать преследователям, где я обитаю. Они могут мне отомстить в любое удобное для них время, если сейчас увидят, как я взбираюсь по лестнице на чердак гаража. Мой следующий шаг был не вполне логичен: добравшись до бамбуковых зарослей, я резко развернулся и сбежал по трем каменным ступенькам вниз, к входу на цокольный этаж докторского дома.

Дверь была не заперта. Я проскользнул внутрь, сполз по стене на пол и попытался восстановить дыхание. В конце короткого коридора была другая дверь, за которой горел свет. Внезапно она распахнулась — пришлось поднять руки, чтобы загородиться от света. Должно быть, сидя на полу со штиблетой на каждой руке, словно именно таким манером принято носить обувь, я представлял собой нелепое зрелище — стоявшие в проеме люди, увидев меня, расхохотались.

Так я познакомился с двумя из тех бедолаг, что жили в полуподвальном общежитии под наблюдением доктора Сондервана. Один, по имени Герберт, страдал синдромом Дауна. Вторая, его подружка Эмили — не знаю, что с ней было не так, — беспрерывно улыбалась, то ли от нескончаемого счастья, то ли из-за неврологического осложнения, но, в любом случае, до жути неестественно. Мне не удалось определить, сколько лет этой девушке с кривыми зубами и редкими волосами, ей могло быть от четырнадцати до девятнадцати. Оба они — Герберт был мелковат для своего возраста, круглоголовый и узкоглазый, с носом, как у профессионального боксера, — заметно отличались от четырех других замкнутых на себе пациентах, которые, впустив меня в поле своего зрения той ночью, тут же потеряли всякий интерес к новому человеку. Внешне физически нормальные (по сравнению с Гербертом и Эмили), эти подростки — три мальчика и девочка — существовали в собственном мире, не интересуясь тем, что

происходит вокруг. Я предположил, что у них какая-то форма аутизма, хотя об аутизме не знал ничего, если не считать сведений, почерпнутых из журналов и телевизора.

Герберту и Эмили я понравился сразу, как только они увидели меня сидящим на полу с ботинками на руках, — похоже, обрадовались человеку, которому не повезло с мозгами еще больше, чем им: уж им-то, при всем их невысоком уровне знаний, известно, что ботинки носят на ногах. Они не спрашивали, что привело меня к их двери, — просто приютили, как приютили бы бездомную кошку, и с первой же минуты стали проявлять заботу, заставили повторять за ними их имена, дабы убедиться, что я все понимаю, а затем спросили, как зовут меня. Говард, сказал я, меня зовут Говард.

Они принесли мне стакан воды, и Эмили, не переставая хихикать, расческой убрала с моего лба взмокшую от пота прядь. "Говард — хорошее имя, — сказала она. — Ты любишь осень, Говард? Я люблю листопад, а ты?"

Они стащили ботинки у меня с рук и натянули на мокрые ступни. Герберт, раскрыв от усердия рот, завязывал шнурки, а Эмили наблюдала за ним так, словно он делал хирургическую операцию. "Аккуратно получилось, Герберт, правда, хорошо", — сказала она. Когда я решил, что опасность миновала и можно уходить, они настояли на том, чтобы проводить меня до гаража и убедиться, что, забираясь по лестнице наверх, я не упаду.

Итак, теперь обо мне знали два умственно отсталых пациента доктора Сондервана. Дорого мне обойдется пара штиблет, случись им проговориться о хорошем человеке Говарде, который живет по соседству над гаражом. Кроме доктора, в доме была обслуга, три или четыре женщины, работавшие по хозяйству, — им они тоже могут кое-что сболтнуть. Я оглядел чердак, мой дом де-факто. Единственное разумное решение — покинуть это место. Но каким образом? Мучаясь сомнениями, я продолжал дневные наблюдения и не выползал по ночам наружу, пока у Сондервана не потушат весь свет.

Дня через два я увидел Герберта и Эмили вместе с другими на заднем дворе. Они сидели на земле, там же находился и Сондерван, поучавший их, как школьников. Доктор был высокий, но сутулый мужчина лет семидесяти, с седой козлиной бородкой, носивший черные очки в роговой оправе. Я никогда не видел его без пиджака и галстука; независимо от времени года он поддевал под пиджак безрукавку, заменявшую ему жилет. Я не мог разобрать, о чем он говорил, хотя слышал его голос — тонкий высокий голос пожилого человека, звучавший на удивление твердо и властно. Внезапно Герберт зачерпнул пригоршню сухих листьев и подбросил их так, что они дождем посыпались на голову Эмили. Она, ко-

нечно, рассмеялась, что нарушило ход урока. Доктор посмотрел на них сурово — видимо, это было в порядке вещей. Если бы Герберт и Эмили протрепались, наверняка кто-нибудь уже нагрянул бы в мое убежище — Сондерван собственной персоной, Диана или полиция, или все разом, — и мой крошечный мирок рухнул бы, раздавив меня под обломками. Я понял, что по неведомым мне причинам эти отсталые дети (если они были еще детьми), движимые, возможно, неосознанным чувством протеста, решили сохранить наше знакомство в тайне.

Как ни странно, когда им удавалось без риска меня навестить, я наслаждался их обществом. Оказалось, что мои мозги хорошо работают в режиме притушенной мощности, требующейся для беседы с ними. Они многое видели, многое замечали. Главной их реакцией было удивление. Каждую вещь на чердаке они рассматривали как музейный экспонат. Герберт без конца открывал и защелкивал медные замки на моем портфеле. Эмили, копаясь в Дианином сундуке для приданого, нашла антикварное серебряное зеркальце, в которое можно было себя рассматривать. Наверно, я слишком охотно на все откликался — ведь уже несколько месяцев не говорил ни с одним человеческим существом — и с радостью объяснял им, как действует спасательный жилет, почему для игры в гольф требуется больше одной клюшки, откуда берется паутина и почему я, очередной экспонат, живу на чердаке. Версия, которую я им выдал, исключив нелицеприятные для себя факты, состояла в следующем: я странник, избравший жизнь отшельника, а этот чердак — один из привалов на моем пути. После чего пришлось их заверить, что я не намерен покидать этот привал еще некоторое время.

Меня тревожило, что в докторском доме их могут хватиться, но Герберт и Эмили каким-то образом знали, когда можно вернуться незамеченными. Они приносили мне маленькие подарочки — что-нибудь поесть или минеральную воду, понимая без всяких разъяснений, что я во многом испытываю нужду. Иногда им удавалось пронести кусок торта и, отдавая дань торжественности момента, они наблюдали, как я его съедал. Особо пристально за мной следили темные миндалевидные глаза на круглом лице Герберта. Он крепко обхватывал себя руками, глядя, как двигается моя челюсть, а Эмили, разумеется, болтала, словно в ее обязанность входило говорить за двоих. “Вкусно, Говард? Любишь тортики? Какой твой самый любимый? Я больше всего люблю шоколадный, хотя клубничный тоже вкусный”.

Герберт и Эмили могли растравить душу, что и делали, ввергая меня в мир безжалостной “нормальности”, но, в общем, если я в них нуждался, всегда были тут как тут. К тому

времени мне уже удалось отточить навыки выживания, однако к зиме я был не готов — подвело, увы, присущее и мне безразличие верхушки среднего класса к метеоусловиям. Несколько дней подряд я отлично кормился остатками с праздничных столов, попавшими на помойку после Дня благодарения, но во время вылазок замерзал. Спустя неделю ветер, врываясь в щели, уже вовсю гулял по моему чердаку. Обогреться было нечем. Зима с ее непредсказуемыми выходками стала угрозой для моего образа жизни.

Я проклинал себя как домовладельца, не удосужившегося утеплить чердак. Перерыв все барахло, среди которого обитал, в сундуке для приданого я нашел старинные шторы, положил их поверх старого пальто, заменявшего мне одеяло, и, натянув на уши найденную на улице вязаную шапку, какие в холодную погоду носят военные моряки, свернулся калачиком под этим жалким тряпьем на спасительном футоне, изо всех сил стараясь не клацать зубами.

Но как быть в курсе происходящих в доме событий? — ведь когда выпадет снег, каждый шаг в саду, оставив подозрительный след, превратится в очевидное доказательство того, что здесь промышляет вор, и Диана непременно позвонит в полицию.

Однажды, не выдержав нестерпимого холода, я пробрался через заднее крыльцо в дом и благополучно провел несколько часов между полуночью и рассветом в подвале, греясь у котла отопления. Возвращаться к прошлой жизни я не собирался и решил не сдаваться, чего бы это мне ни стоило. Путь в ночлежку для бездомных, которая, конечно, в городе есть, скорее всего в южной части, где живут иммигранты, нелегалы и трудовая беднота, мне заказан. Нельзя забывать, что и там есть свои правила: даже у бездомных имеются имена и биографии, которые наверняка интересуют любопытных социальных работников. Если прикинуться глухонемым, могут упечь в какое-нибудь заведение. Лучше замерзнуть до смерти. Как только я все это уразумел, сразу полегчало, я даже согрелся и уснул.

Был, правда, другой вариант, позволявший не нарушать зарок, которым я себя связал, — найти убежище в доме доктора Сондервана. Я уже не раз проникал в ванную комнату в цокольном этаже и однажды, пока Герберт и Эмили караулили дверь, даже рискнул принять душ. Другой раз поздно ночью они впустили меня в темную кухню, и, хотя в ноздри бил затхлый запах, а громко тикавшие часы напоминали о порядках, граничащих с тиранией, я доставил ребятам удовольствие, съев яблоко и куриную ножку. Однако глупо было бы рассчитывать, что еженощный гость в санатории чудаковатого доктора может остаться незамеченным.

Пока я размышлял, тревожился да так ничего и не предпринял, зима заявила о своих правах разбушевавшейся на улицах метелью и жутко, как ветхозаветный бог отмщения, завывала в моем хлипком укрытии.

Разумеется, никто меня в капкан не загонял, просто мне так казалось. Спячка — гениальное изобретение эволюции, рассуждал я, но почему медведям, ежам и летучим мышам удалось включить его в свой арсенал, а людям нет?

По мере того как снег облеплял гараж, забиваясь в щели на сайдинге, в моем убежище становилось немного уютнее, но простуды избежать не удалось. Я понял, что заболел, когда проснулся со слезящимися глазами и саднящим горлом. Попытался встать, но понял, что не удержусь на ногах. Я прямотаки ощущал, как внутри у меня резвятся вирусы. Тут уж волей-неволей призна́ешь, что заболел. Да и трудно ожидать иного, когда ты истощен и не подготовлен к зиме.

Ни разу в жизни я не чувствовал себя хуже. Вероятно, у меня был сильный жар — половину происходившего я не запомнил. В сознании отпечатались две фигуры юных инвалидов, встревожено глядевших на меня из дверного проема. Я был, наверно, жалок, пытаясь приветственно помахать им бледной костлявой рукой. Той же ночью кто-то из них вернулся, потому что ближе к утру я проснулся, оттого что почувствовал под ногами бутылку с горячей водой. Помню одно, самое призрачное, видение: рядом со мной лежит Эмили, одетая, обвив меня руками и ногами, чтобы согреть, и ритмично трется своим бедром о мое, мило воркуя и целуя мои заросшие щеки.

Несколько дней спустя я обнаружил, что все еще жив. Поднявшись со своей убогой постели, я не рухнул обратно. Слабость чувствовалась, но на ногах я держался крепко и голова была ясная. Меня будто подвергли физическому насилию, выскребли из собственной шкуры и засунули в новую — такие примерно были ощущения. Рассматривая себя в антикварном серебряном зеркальце, я увидел тощего изможденного субъекта — в глазах, однако, просвечивал ум. Я сделал вывод, что пережил кризис, явившийся проверкой на духовную крепость, а гнусные вирусы тут ни при чем. В голове и теле — худом, подвижном — появилась непривычная легкость. У постели лежал черствый сэндвич и стоял стакан замерзшего молока. Поблескивали выстроившиеся в ряд банки, служившие мне ночными горшками, — они были пусты. Солнце, проникавшее через круглое слуховое окно, изобразило на полу чердака свое продолговатое радужное подобие.

Плотно запахнув пальто, я выбрался наружу, на чистый холодный воздух зимнего утра, и осторожно, чтобы не поскользнуться на обледенелых ступеньках, сошел вниз. Бамбуковые кусты сковал чистый лед. Я поискал взглядом моих

друзей, но на снегу во дворе Сондервана не обнаружил ни одного следа. Из печной трубы не шел дым, у заднего крыльца не горели фонари, которые раньше не выключались круглые сутки. Выходит, все уехали, все до единого: и пациенты, и обслуга. Разве принято увозить душевнобольных из клиники на время рождественских каникул? Или, может, соседям, недовольным маленьким санаторием Сондервана, удалось отстоять в суде свои интересы? А что сам доктор? Вернулся к практике в Нью-Йорке? Ответов не было.

Пока я болел, Герберт и Эмили кружили вокруг меня как маленькие эльфы: мы тут — да не тут. Весь день я провел, привыкая к мысли, что снова совсем один, как настоящий отшельник. Не сказать, чтоб это было неприятно: в их присутствии я сам будто становился ребенком. Поначалу я даже разозлился: куда же они запропали со всем своим хозяйством? — но затем почувствовал облегчение: уйду в свои мысли, и никто меня больше не потревожит. Той же ночью я снова совершил обход мусорных баков и неплохо поживился. В целом получился славный обед, который я запил, растопив во рту горсть снега.

Вскоре потеплело, на земле остались только снежные заплатки, и я возобновил ночные бдения у собственного дома. Обнаружились некоторые перемены. Диана сотворила что-то с волосами, постриглась вроде (не уверен, что стрижка была ей к лицу), и двигалась как-то раскованнее. Дети явно подросли на пару сантиметров с тех пор, как я подглядывал в окно последний раз. Настоящие барышни. Никто больше не ссорился и не хлопал дверью. Казалось, мать и дочери очень близки и даже счастливы втроем. Судя по ненаряженной елке в столовой, Рождество еще не пришло.

Все увиденное отчего-то навеяло дурные предчувствия. Поднимаясь на чердак, я почуял недоброе и поймал себя на мысли, что думаю о своих юридических правах. Я знал, что если меня не обнаружат в ходе расследования, то объявят “отсутствующим”, и Диана как моя супруга будет временно распоряжаться моим имуществом. Если сама она еще этого не выяснила, кто-то из моих партнеров наверняка сообщил ей о ее правах. Мне не удалось вспомнить, каков срок, по истечении которого меня можно будет объявить “покойным де-юро” и дать ход моему завещанию. Сколько времени должно пройти — год, два или пять лет? Почему я думал об этом? Почему в голове вертелись слова “супруга”, “тщательное расследование”? Почему я рассуждал в правовой терминологии? Разве я не распрощался с юриспруденцией, разве не поставил крест на своей репутации — что же со мною творится?

В таком странном состоянии не то радости, не то отчаяния я совершил до сих пор не понятный мне поступок. Пару

раз в году один старый итальянец, зарабатывавший наточкой ножей и других инструментов, подъезжал в своем фургончике к заднему крыльцу нашего дома и спрашивал, не требуется ли чего наточить. Его машина была оснащена механическим шлифовальным кругом. Диана выносила ему кухонные ножи, большие кулинарные и обычные ножницы, даже если они не затупились, — просто знала, что итальянцу нужны деньги. Мне кажется, ей импонировало, что мастер работает в традициях Старого Света. И вот через слуховое окно я увидел, как этот итальянец подошел к двери, а Диана скрылась на кухне, чтобы собрать что-нибудь для него.

Минуту спустя я уже стоял за ним, широко улыбаясь, — я, долговязый длинноволосый бомж с седой бородой по грудь, которого вернувшаяся с ножами в руке Диана приняла за подручного итальянца. Мне хотелось заглянуть ей в глаза, хотелось увидеть там искру узнавания. Я не знал, что стану делать, если она меня узнает, не знал даже, хочу ли быть узнанным. Она меня не узнала. Передала мастеру ножи, закрыла дверь, а старый итальянец, хмуро на меня поглядев и проворчав что-то на родном языке, пошел к своему фургону.

Вернувшись на чердак, я восстановил в воображении умный и внимательный взгляд зеленых глаз моей жены в момент неузнавания, когда я, ее законный супруг, стоял рядом и скалился, как идиот. Хорошо, что она меня не узнала, решил я, в противном случае могла произойти катастрофа. Моя дурацкая выходка обернулась шуткой, но постигшее меня разочарование пронзило грудь, будто одним из наточенных ножей.

День или два спустя, ближе к вечеру, когда закат окрасил небо над кронами деревьев в красный цвет, я услыхал, как к дому подъехала машина. Хлопнула дверца, и, пока я добирался до слухового окна, кто-то успел скрыться в доме. Раньше я никогда не видел этой машины — глянцево-черного “мерседеса” последней модели. Солнце давно закатилось, в доме горели все лампы, а машина все еще стояла на месте. Я периодически подходил к окну и ее видел. Кем бы он ни был — а в том, что это мужчина, я не сомневался, — ясно, что его оставили ужинать.

В темноте — луны не было — я прокрался к окну столовой. Шторы задернули — что она пыталась скрыть? — хотя не плотно, небольшой зазор оставался. Встав на цыпочки и заглянув в комнату, я увидел его спину и затылок, а через стол, напротив, — сияющую улыбкой жену, которая поднимала бокал, видимо, в знак одобрения его слов. Слышны были голоса девочек. Собравшаяся за ужином семья прекрасно проводила время с гостем — каким-то особым, не известным мне гостем.

До конца застолья я топтался под окном. Расходиться они не спешили. Кофе и десерт Диана, как всегда, подала в гостиной, и я рванул туда и снова увидел его спину. Костюмчик у него был отменный, волосы с проседью хорошо уложены. Ростом не высок, но крепкий, на вид сильный. Я его не знал: он не был ни моим сослуживцем, ни одним из наших общих друзей, заглядывавшихся на Диану. Может, она недавно с ним познакомилась? Я намерен был продолжать наблюдение, дабы удостовериться, что после ужина он не задержится. Раз дети дома, этой парочке, конечно, ничего не светит. Тем не менее я продолжал торчать у окна, хотя ночь выдалась холодная и я начал замерзать. И вот он наконец соизволил убраться. Пока ему подавали пальто, я обежал вокруг дома и занял позицию на углу, откуда просматривалась подъездная дорожка. Сфокусировав взгляд на лобовом стекле автомобиля, я, как только он сел в освещенный салон, отчетливо увидел его лицо — это был мой бывший лучший друг Дирк Ричардсон, мужчина, у которого в прошлой жизни я увел Диану.

Последующие дни были полны забот. Растопив снег, я тщательно помылся и вытерся полотенцем “от Сондервана”, подарком Герберта и Эмили. Из верхнего ящика сломанного секретера достал бумажник. В нем были все наличные, с которыми я вернулся домой в тот вечер, когда столкнулся с енотом, все мои кредитки, карточка социального страхования и водительское удостоверение. Отыскал я и чековую книжку, и ключи от дома и машины — полный набор среднестатистического гражданина. Затем пробрался в деловую часть городка, срезав путь через задний двор Сондервана.

Первую остановку я совершил в универмаге “Гудвил”, где сменил лохмотья на скромный, но чистый коричневый костюм, мятую сорочку, пальто, шерстяные носки; картину довершила пара спортивных ботинок, которые столь же не вязались с костюмом, как и мои штиблеты, зато соответствовали сезону. Когда я вошел в магазин, продавщицы ужаснулись, но мое вежливое обращение и очевидное усердие, с каким я принаряжался, заставили их одобрительно улыбнуться на прощание. “Не забудь постричься, красавчик”, — сказала одна из них.

Именно это я и собирался сделать и направился в заведение “унисекс”, полагая, что там, в отличие от традиционной парикмахерской, мои отросшие до плеч лохмы никого не смутят. Однако меня там явно не ждали. “Обслуживание по предварительной записи”, — фыркнув, бросил старший мастер, но как только я выложил на столик кассира две хрустящие стодолларовые бумажки, свободное кресло вмиг мате-

риализовалось. “Стрижку с укладкой, — сказал я, — и не очень коротко”.

В большое зеркало было видно, как ножницы кромсали мои патлы, возвращая меня в прошлое. С каждой упавшей прядью четче проступали знакомые черты, пока наконец голова с обнажившимися крупными ушами и лицо, взиравшее на меня из зеркала, не восстановили нарушенную связь с Говардом Уэйкфилдом. Для полного превращения в последнего требовалось побриться, на что ушло еще полсотни долларов, поскольку бритье не входило в репертуар этой команды мастеров. После краткого совещания они остановились на ножницах и опасной бритве. Я не испытывал желания видеть, как мне перережут горло, и откинулся в кресле, спокойно приготовившись к худшему. Я был разочарован: очень уж легко приноравливался к прежней жизни. Словно никогда из нее не уходил.

Наконец меня усадили в кресле так, чтобы показать результат — ну да, это был я, только бледный и исхудавший, и взгляд, наверно, слишком пристальный, а под подбородком мешочком обвисла кожа. С возвращением, Говард Уэйкфилд, человек системы. Для одного дня впечатлений достаточно.

Вечером в непривычном облачении я повертелся вокруг дома, чтобы выяснить, не стряслось ли чего. Может, Дирк Ричардсон притащил с собой нового визитера, мирового судью, к примеру? Однако все было тихо. Никаких чужих машин у дома. Жена за туалетным столиком в полуобнаженном виде, как бы вопреки зимним холодам. Играла музыка, ее любимый Шуберт, которым она донимала меня, когда мы еще только начали встречаться. Звучал один из “Экспромтов” в исполнении Дину Липатти, вернувший меня в те времена, когда эта мелодия еще нас связывала. Я испугался, что сейчас расплачусь, и сбежал на чердак.

На следующее утро внизу раскрылись ворота, и я увидел, как Диана выкатила из гаража внедорожник и усадила в него девочек. Все ясно — рождественский рейд по магазинам. Сейчас они поедут в торговый центр. Там же потом перекусят. Обождав несколько минут, я взял ключи от машины, спустился в гараж и завел свой “БМВ”. Мотор заработал моментально.

До меня доходили слухи, что за прошедшие годы Дирк сколотил приличное состояние. Оно и понятно: мой бывший друг занимался страхованием рисков по фьючерсным сделкам, его имя мелькало в деловой прессе.

Удивительно, что я не разучился водить машину; и самый короткий путь к шоссе на Нью-Йорк я тоже помнил. Через час перед глазами вырос город, и на меня обрушился хаос звуков, исходивших от людских особей, непрерывным потоком движущихся по каньонам среди высоток с целью завоевать этот

колосс. Люди были и под землей, в грохочущих поездах метро, и над головой, на высоте сорока-пятидесяти этажей. Я был оглушен и потрясен. Мне стоило больших усилий вспомнить, что требуется делать на въезде в подземный гараж.

Неужели я действительно проработал в этом городе большую часть жизни? И буду вынужден снова здесь работать?

Магазин мужской одежды на Мэдисон-авеню был на месте, и продавец в отделе костюмов словно только меня и ждал. Поскольку, прежде чем явиться сюда, я побрился и более-менее прилично оделся в "Гудвиле", меня не остановили на входе. Продавец приветственно кивнул. "Прошу вас", — сказал он.

Тем же вечером, припарковав "БМВ" у соседнего дома и не поленившись взобраться на чердак за портфелем, я подошел к двери своего дома, одетый в черное кашемировое пальто, костюм в тонкую полоску поверх сорочки с твердым воротничком фирмы "Тернбул и Ассер", в строгом шелковом галстуке от Армани, подтяжках расцветки американского флага и лайковых туфлях английской марки "Коул Хаан", и... повернул ключ в замке.

В доме во всех комнатах горел свет. Из столовой доносились голоса — там наряжали елку.

— Привет! — заорал я. — Я дома!

"...соединять зримое и незримое, прошлое и настоящее..."

Из цикла "Американские беседы"

Беседу вел 25 сентября 2008 года Аллен Вайнстайн, глава федерального архивного управления США, в здании Национальных архивов США.

Аллен Вайнстайн. Мы счастливы, что сегодня у нас в гостях один из лучших писателей нашей страны, один из лучших писателей мира. Думаю, большинство присутствующих знакомы, по крайней мере, с десятком книг этого автора и, разумеется, с последней из опубликованных — выдающимся романом "Марш"[1]. Благодарю вас, сэр, за участие в нашей программе.

© Е. Домбаян. Перевод, 2011
Печатается с небольшими сокращениями.

1. Русский перевод романа Э. Доктороу "Марш" впервые опубликован в "ИЛ" (2009, № 1–2). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Итак, Эдгару Лоуренсу Докторою достало ума появиться на свет в Нью-Йорке и жить в Бронксе. Нужно ли еще что-нибудь добавлять? (*Смех в зале.*) Он американец во втором поколении. Отец любил читать Эдгара Аллана По. Отсюда, как я понимаю, ваше имя Эдгар?

Эдгар Л. Докторою. Хотите поговорить о моих юных годах?

А. В. Именно.

Э. Л. Д. Ну что вам сказать? Ребенок был предоставлен самому себе. Я все время читал, а в доме у нас постоянно звучала музыка. Мама — пианистка, отец — владелец музыкального магазина. Он был отчасти и музыковед, а магазин продержался в годы Великой депрессии, но в 1940 году отец его потерял. Дома всегда было много книг и много музыки, но мало денег. Мои родители были люди читающие. Я не отклоняюсь от темы?

А. В. Нет.

Э. Л. Д. Меня, как я позднее выяснил, действительно назвали в честь Эдгара Аллана По. Детей неспроста называют в чью-то честь: мой отец и вправду любил книги Эдгара По. Вообще-то, ему нравились многие плохие писатели... (*Смех в зале.*) Хотя из всех наших плохих писателей По — величайший, что меня немного утешает. Отца уже давно нет на свете. Мама дожила до девяноста лет, и, помню, однажды — она была уже в преклонном возрасте — я решился наконец прояснить ситуацию с моим именем и спросил у нее: "Вы с папой знали, что называете меня в честь наркомана, алкоголика и маниакального параноика с ярко выраженной склонностью к некрофилии?" — "Эдгар, это не смешно", — сказала мама.

Я решил, что я писатель, когда мне было лет девять, причем какое-то время не считал, что необходимо что-нибудь писать, зато читал все подряд. Мне повезло — телевидение еще не обрушилось на наши головы, и мы получали всю информацию из книг, комиксов и детских радиопередач. Со временем я начал задаваться одним вопросом. Обычно, когда ребенок читает, ему интересно, что будет дальше, — меня же занимало другое: как это сделано? Думаю, именно этот вопрос должен волновать писателя, то есть ребенка, который таковым намеревается стать. "Писатель видит на странице готовые строчки, которые вызывают мощные чувства и рисуют картины в сознании читателя. Как же это делается?" Помню, какое сильное впечатление произвел на меня Джек Лондон. Помню, как я однажды взял в библиотеке "Мадмуазель де Мопен" Теофиля Готье, от которой у меня горели уши — очень сексуальная книжка. Выбирая книгу, я смотрел на название: например, мне понравилось название "Идиот" какого-то Достоевского... Мой отец, как я позднее обнаружил, осторожно присматри-

вался к тому, что я читаю, и убедился, что в большинстве своем это мистика, истории о загадочных преступлениях и приведениях. Как-то раз, когда мы были в гостях у деда — а у деда моего была прекрасная библиотека, — отец взял одну из книг и сказал: "Вот, 'Зеленая рука'[1]. Жуть, мурашки по коже. Полистай-ка ее". И пока взрослые распивали чаи с пирогами, я просидел все воскресенье в углу, читая эту книгу. Отец схитрил: книга была вовсе не про зеленую руку, а про юнгу, "зеленого" еще матросика на шхуне. Меня она увлекла, и я пристрастился к морской тематике, что привело меня затем к капитану Хорнблауэру[2] и подобным приключениям.

А. В. Вы когда-то рассказывали о том, как начали заниматься сочинительством в школе с научным уклоном в Бронксе.

Э. Л. Д. В этой школе я пережил тяжелые времена. Там учились очень умные дети, некоторые просто невыносимо умные: кое про кого можно было предсказать, иногда безошибочно, что их ждет Нобелевская премия по физике. (*Смех в зале.*) Я спасался от них на нижнем этаже, в литературном журнале "Динамо", там меня впервые опубликовали, напечатали рассказ "Жук". В то время я читал Кафку и сочинил историю об этимологическом превращении в кафкианском духе. Затем я решил изучать журналистику. Не сказать, чтоб это мне нравилось — просто я получил возможность писать. Как-то нам было велено взять интервью, и я с этой целью отправился в город.

А. В. Нужно было побеседовать с какой-нибудь яркой личностью?

Э. Л. Д. Да. Я пошел и взял интервью у дежурного на служебном входе в Карнеги-холл. Его звали Карл, он был еврейский беженец из Германии, потерял всю семью. Очень славный старик. На работу ходил в коричневых брюках и синем саржевом пиджаке, с вечера приносил с собою еду в бумажном пакете и термос с чаем и пил чай по старинке, как привык в Европе: прикусывал кубик зубами и потягивал чай через сахар. Все знаменитости его обожали. И Горовиц, и Тосканини называли его просто по имени. Он отлично разбирался в музыке. Вот у этого старика Карла я и взял интервью. На следующий день учительница вызвала меня и сказала: "Это лучшее интервью из всех, что мне приходилось читать в этой школе. Мы напечатаем его в школьной газете,

1. Роман английской писательницы Лилиан Бекуит (1916–2004). Вероятно, Доктороу сочиняет или ошибается: "Зеленая рука" впервые опубликована в 1967 г., когда ему было 37 лет.
2. Горацио Хорнблауэр — вымышленный персонаж, офицер Королевского британского флота в период наполеоновских войн, созданный писателем С. С. Форестером.

но прежде пускай кто-нибудь из ребят съездит в Карнеги-холл и сфотографирует Карла, и мы поместим снимок там же". — "Думаю, ему это не понравится", — сказал я. "Почему?" — спросила она. "Понимаете, Карл очень застенчив", — ответил я. "Застенчив? Но ведь с тобой же он поговорил?" — "Не совсем так, — сказал я. (*Смех в зале.*) — Никакого Карла не существует. Я его выдумал". (*Громкий смех.*) Да, неудачный выдался денек. <...>

Ни моя учительница, ни я не поняли тогда, что́ знаменует собой этот случай. Я решил, что гораздо легче выдумать историю, нежели куда-то ехать, задавать кому-то нудные вопросы, — сегодня я бы, конечно, совсем по-другому ответил учительнице, сказал бы: "Я всего лишь сделал то, что обычно делают журналисты". (*Смех.*)

А. В. Позднее вы писали: "Думаю, художественный вымысел вторгается в историю. Историки знают, что не объективны. Пересечение мифа и истории — вот исходная точка, с которой начинаются мои романы". Ваш выдуманный Карл — это и есть миф, сопряженный с историей.

Э. Л. Д. Моя позиция такова: если Карла не существует, его следует изобрести, — таким образом я заполняю лакуны.

А. В. В Бронксе многие говорили так же, как Карл. Эти люди тоже ходили в библиотеку, как и мы с вами. Помните публичные библиотеки? Приносишь домой огромную кипу книг — назавтра все уже прочитано, тащишь их обратно, и так по кругу.

Э. Л. Д. Для меня публичная библиотека имела огромное значение; важно было не только то, что́ написано в книгах, но сама их фактура. Некоторые старые экземпляры были так истрепаны, что их заново переплетали — помните толстые такие библиотечные переплеты? Попадались страницы, зачитанные до дыр: перелистываешь ее и кажется, что в руке тряпочка. И еще одно приятное воспоминание: в квартале от библиотеки на Вашингтон-авеню была большая пекарня, можно сказать, хлебозавод, и по дороге в библиотеку я погружался в облако хлебных запахов. Так в сознании соединились хлеб и книги. И эта связь всегда так или иначе сохранялась.

А. В. Если бы ваши родители, как мои, держали ресторан для гурманов, связь была бы не с хлебом и не с бубликами...

Э. Л. Д. Там пекли всякие разности, в том числе буханки с профсоюзными ярлычками — наклеивали на хлеб маленькие этикетки; почему-то я запоминаю такого рода детали. Но был случай, когда моя верность писательству пошатнулась: я решил, что хочу стать аэронавигационным инженером. Мой старший брат на это сказал: "Тебе просто нравится звучание этих слов, вот и все". Я и вправду понятия не имел, чем аэронавигационные инженеры занимаются.

А. В. Как вы из Бронкса попали в Кеньон-колледж? Это два разных мира.

Э. Л. Д. Действительно странно. Мне нравились стихи Джона Кроу Рэнсома, последователя Новой критики[1], изысканного и не очень известного поэта. Это теперь, как мы знаем, быть малоизвестным поэтом стильно. Я просто почувствовал, что хочу заниматься у него в Кеньон-колледже, и, к моему изумлению, меня приняли. Представляете, как сейчас дети собираются в колледж? Берут с собой гору снаряжения. Тут вам и лыжи, и доски для серфинга, компьютер, динамики и еще много такого, что мне неведомо, — я же отправился на вокзал с одним чемоданчиком и бумажной сумкой, в которой был сэндвич, яблоко и пакет молока. Попрощался с родителями на старом Пенсильванском вокзале — мне было тогда шестнадцать — и сел в поезд. Дорога была дальняя, но сэндвич я доел раньше, чем поезд добрался до Ньюарка[2]. (*Смех.*) Потом, конечно, жутко проголодался. В Кеньоне давали замечательное образование. Я окончил колледж, но с дипломом философа, а не филолога. Там преподавали два лучших американских философа: Филипп Блэр Райс и Верджил Олдридж, — но я, разумеется, года два поучился и у Рэнсома. А еще я интересовался театром и начал играть в студенческих спектаклях, но хороших ролей не получал, пока колледж не окончил один легендарный старшекурсник по имени Пол Ньюман. (*Смех.*) Интересно, что с ним потом сталось?

Однако продолжим о Кеньоне и о поэзии. Критические статьи мы писали примерно так, как играют в футбол в штате Огайо: там со словами не шутят. Когда позднее в Коннектикуте я встретился с писателем Робертом Пенном Уорреном, который был как-то связан с Кеньоном и знаком с Рэнсомом, он сказал, что Кеньон в годы моей учебы был, по всей видимости, лучшим учебным заведением в стране. Мне было очень приятно это слышать.

А. В. Когда вы впервые обратились к истории? Есть ли тут привязка к какому-то событию или такой подход был всегда для вас естествен?

Э. Л. Д. Хороший вопрос. Пожалуй, к истории меня привел ряд случайностей творческого характера. После армии я работал ридером в "Коламбия Пикчерз" в Нью-Йорке, то есть читал по одной книге или сценарию в день и писал отчет, в котором требовалось указать, можно ли на этом материале снять фильм. В то время были очень популярны вес-

1. Доминирующее направление в англо-американской литературной критике в 1920—1960 гг.
2. Ближайший к Нью-Йорку городок, в настоящее время фактически пригород.

терны, и мне изо дня в день приходилось читать ужасные, отвратительные сочинения — я от этого буквально заболевал. И вот однажды я сел и написал рассказ, пародию на всю эту муть, и показал его моему шефу Джонни Джонстону. Он сказал: "Мне нравится. Сделай из этого роман". После чего я зачеркнул название рассказа, сверху написал "Глава первая" и, знать не зная, как пишутся романы, приступил к делу.

Действие романа[1] я почему-то поместил на территорию Дакота в 1870-е годы, и, хотя изначально задумывалась пародия, мне захотелось сделать из затасканного жанра нечто серьезное. Структурной основой осталась пародия, но в романе ничего не высмеивалось. Его напечатали, были довольно хорошие рецензии, и я понял, что с задачей справился, хотя никогда не бывал западнее Огайо, где расположен Кеньон-колледж. В сущности, для меня, жителя Нью-Йорка, штат Огайо и был Западом. Такой подход вполне традиционен: Кафка, например, написал книгу под названием "Америка", не выезжая из Праги.

А. В. Сейчас эту вещь относят к разделу "Книги о путешествиях".

Э. Л. Д. Вот-вот. Критики отнеслись ко мне по-доброму, но затем я получил письмо от одной дамы из Техаса. Она была уже преклонных лет, о чем свидетельствовал очень изящный почерк в духе каллиграфии XIX века. "Молодой человек, — писала она, — я была с вами до пятой главы, в которой вы заставили Дженкса посреди прерии приготовить обед из задней ноги луговой собачки. В этом месте я поняла, что вы никогда не бывали западнее Огайо. (*Смех.*) Задняя нога луговой собачки меньше чайной ложки". (*Смех.*) Хочется вспомнить слова Генри Джеймса о том, что писатель "прозревает, как дышит, заглядывает в неизведанное". Некоторое время назад я рассказывал эту же историю и получил электронное письмо от человека, хорошо знакомого с дневниками Льюиса и Кларка[2]: он сообщил мне, что там упоминается некий сержант, который убил луговую собачку и приготовил из нее обед для двух офицеров, — так что я был прав. (*Смех.*) Сам того не подозревая.

Вы спросили, как я обратился к истории, — думаю, этого потребовал сам жанр романа. Я вырос в Нью-Йорке, но этот город никогда не влиял на мое писательство так же сильно, как, например, Средний Запад на Шервуда Андерсона и Синклера Льюиса или Юг на Уильяма Фолкнера. Просто мне при-

1. Имеется в виду роман "Добро пожаловать в тяжелые времена" (1960).
2. М. Льюис и У. Кларк возглавляли организованную по инициативе президента Т. Джефферсона первую в истории США экспедицию по исследованию новых земель (1804—1806).

шло в голову, что время может стать таким же организующим принципом романа, как и место. Моя вторая книга[1] (даже не буду о ней говорить, на критиков она произвела впечатление разорвавшейся бомбы) и последующие, "Книга Дэниэла" и "Рэгтайм", были выстроены по этому же принципу. Но я не причисляю себя к авторам исторических романов. Я вообще против такого определения. Хотите, чтобы я развил эту тему?

А. В. Конечно, но попутно замечу, что я не называл вас автором исторических романов. Я сказал, что вы писатель из Бронкса.

Э. Л. Д. Ну, это не очень понятно... Разумеется, такой жанр существует. "Исторический роман" — это костюмный роман, где вам внушают, как славно было бы жить в такую-то эпоху, но я веду речь не об этом, на мой взгляд, довольно поверхностном жанре. Скажем, в "Алой букве" Натаниель Готорн описывает период за сто пятьдесят лет до своего рождения. Разве мы считаем эту книгу историческим романом? Нет. Марк Твен написал "Тома Сойера" через сорок лет после своего рождения, в конце 1870-х, и рассказал о своем детстве на Западе и на Юге в 1840-е годы. Для нас "Том Сойер" и "Гек Финн" — не исторические романы.

Так или иначе, в любом романе рассказывается о прошлом — от этого никуда не денешься, — хотя вы можете возразить: роман называется историческим не только потому, что повествует о прошлом, а потому, что в нем действуют исторические персонажи. Однако мы не считаем историческим романом ни "Войну и мир" Толстого, ни "Пармскую обитель" Стендаля, хотя в них есть подлинные исторические личности. В 1985 году я опубликовал книгу под названием "Всемирная выставка", при написании которой использовал историю моей семьи и личный опыт взросления. Это не исторический роман, но в нем говорится о реальных, хотя мало кому известных людях. В чем, собственно, отличие произведения, где вы найдете всем известных реальных личностей, от книги, в которой описаны персонажи никому не известные? Нет между ними такого различия, следовательно, можно описывать прошлое, используя персонажей, у которых есть подлинные прототипы, и все-таки это не будет исторический роман. Когда книга написана, она начинает жить собственной жизнью, и тут обретает значение присущее только ей одной внутреннее время.

А. В. А теперь поговорим о природе вашего ремесла. Персонажи, места, где разворачивается действие, выбор тем — сложных, актуальных, чрезвычайно вас увлекающих — все это свидетельствует о том, что вы исключительно нью-йорк-

1. Написанный в жанре научной фантастики роман "Большой, как жизнь" (1966).

ский писатель. Судя по всему, в вашей жизни Нью-Йорк — главный город?

Э. Л. Д. Значит, вы считаете меня нью-йоркским писателем?

А. В. По-моему, вы уловили множество типично нью-йоркских особенностей.

Э. Л. Д. Благодарю вас. Да, было время, когда меня так называли: я и впрямь выпустил несколько книг, где местом действия был Нью-Йорк в разные годы, — но меня называли и политическим, и историческим, и еврейским писателем, и постмодернистом... Я не возражаю, любое толкование моих произведений приемлемо, если оно не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим.

А. В. А как вам такая цитата? "Доктороу — эпический певец исчезающего радикального прошлого Америки. Никому из сочувствующих левых не удастся прочесть его великолепные романы, не испытывая горечи, являющейся естественной реакцией на политические дилеммы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время".

Э. Л. Д. Хм... должен вам кое в чем признаться... Обычно я не читаю серьезную критику. Не хочу слишком глубоко вникать в то, чем я занимаюсь. (*Смех.*) Нет, я не шучу. Странная это штука. Я уже приводил слова Генри Джеймса о том, что "писатель прозревает, как дышит, заглядывает в неизведанное". Я всегда понимал: чтобы записать фразу, рожденную воображением, нужна острота восприятия, чего не требуется для простого изложения фактов. Здесь не обойтись без определенного дара: ведь ты пишешь о том, чем не владеешь. Писатель совершает открытия тем же путем, что и читатель. Если работа задалась, сам себе удивляешься. Читатели находят в твоей книге вещи и смыслы, которые оказались там, хотя ты их сознательно и не закладывал. А читать серьезную критику — вроде как добровольно совать голову в ярмо. Искусство — процесс не вполне контролируемый, результат его часто непредсказуем. В пору моей юности критики пользовались выражением "интенциальное заблуждение", подразумевая, что автор намеревался написать о чем-то одном, но книга получилась о другом. То есть намерение уже является заблуждением. Однако автора ничто не должно смущать, ни в малейшей степени. Автор обязан с уважением относиться даже к тому, что он ведет не вполне правильный образ жизни. И люди, живущие рядом с ним, конечно, очень хорошо это понимают. (*Смех.*) Несколько лет назад мою жену Хелен пригласили принять участие в радиопередаче под названием "Жизнь с писателем". (*Смех.*) Вместе с ней там еще были Роуз Стайрон, жена Билла Стайрона, и, кажется, Нэн Тализ, супруга Гея Тализа. Ведущая начала передачу словами: "Мы часто слышим, что писатели — невроти-

ки, интересующиеся только собой, эгоисты и грубияны, напрочь лишенные способностей, позволяющих жить рядом с другим человеческим существом, — вот они какие ужасные". И тут моя жена, которую еще даже не успели представить, заявляет: "Не знала, что вы знакомы с моим мужем". (*Смех.*) А возвращаясь к критикам: я признателен тем, кто всерьез уделяет мне внимание, однако, когда мне присылают книгу или статью, я благодарю их авторов, но... не читаю.

А. В. Теперь очень конкретный вопрос. Некоторые писатели строго придерживаются режима и пишут в день по странице или по 2000 слов, или еще больше, затем — стоп и далее в том же духе. Другие существуют в свободном полете, в сферах, откуда черпают вдохновение, — они могут написать много или мало в зависимости от того, какой выдался день, какова тема и так далее. Есть ли у вас какая-то модель? Можете рассказать, или это дурацкий вопрос?

Э. Л. Д. Я считаю, что важно ежедневно ходить на работу, как все прочие люди, поскольку, если пропустишь день, потом два дня уходит на то, чтобы наверстать упущенное. Существует множество разных правил, которыми можно руководствоваться. Хемингуэй — великий знаток писательской психологии — в интервью журналу "Пари-ревью" много лет назад сказал: "Прекращайте писать, если знаете, что будет дальше". Идея очень проста. И еще: "Никогда не перечитывайте больше одной страницы, до того как с утра начнете писать". Многие авторы, у которых уже написаны 50 или 100 страниц, всякий раз, прежде чем продолжить работу, садятся и их перечитывают. Это ошибка. Я предпочитаю ежедневный труд. Если вдуматься, у меня очень благородная профессия, ведь она требует преданности, принципиальности, эгоизма. Должен вас предупредить: когда писатель рассуждает о своих книгах и своей манере работать, процесс сочинительства продолжается.

А. В. Позвольте еще одну цитату. "Накануне выборов 1992 года Доктороу напомнил читателям, по какой причине странное, пышное и хлопотное мероприятие, известное как президентские выборы, столь существенно". Теперь процитирую вас: "Каков президент, такова и страна. Плюс некоторый вклад средств массовой информации — и один четырехгодичный срок может обеспечить нам мирное сосуществование, а второй — заставить по мелочам рвать друг другу глотки". Сегодня у вас не возникает желания что-то добавить к сказанному?

Э. Л. Д. Да это просто необходимо, ведь сегодняшняя встреча — второе по важности событие в Вашингтоне[1].

1. Беседа проходила осенью 2008 г., чуть больше чем за месяц до избрания новым президентом США Барака Обамы.

(*Смех.*) Фактически то же самое я повторил в статье, которую написал в 2004 году в знак протеста против войны в Ираке. Начиналась она, кажется, так: "Этот президент[1] не знает, что такое смерть". Когда 6 июня 1944 года президент Эйзенхауэр отправлял американские войска в Европу, он думал обо всех молодых людях, которых могут убить во время высадки, и был в ужасе, ему было не до шуток. Небольшая статья с этими словами, к моему удивлению, чуть ли не взорвала Интернет. Именно тогда я понял, какой мощью обладает всемирная паутина. Меня цитировали на тысячах сайтов, и что правда — то правда: каков президент, такова и страна. Думаю, всем известно мое мнение на этот счет: нынешняя власть — самая губительная в истории нашей страны. (*Аплодисменты.*) Это не мнение пристрастного наблюдателя, многие думают так же. Практически каждую сферу наших жизненных интересов, будь то экономика, окружающая среда, война или гражданские права, правительство в той или иной степени игнорирует. Это очень печально. По-моему, мы должны всерьез озаботиться тем, в каком направлении движется наша страна. О каких еще приятных вещах нам стоит поговорить?

А. В. Позволю себе затронуть одну не очень приятную тему, которая снова обсуждалась в новостях последние несколько недель. Вам наверняка понятно, что я имею в виду. Много лет назад вы написали очень яркую "Книгу Дэниэла". Для меня вымысел есть вымысел, факты — это факты, а миф — миф. Здесь же все перемешано, и, если бы мне пришлось задним числом отнести автора к какой-то категории, я бы сказал, что вы — непредсказуемый писатель. Сегодня считается, что первоклассный писатель может использовать любой материал и не обязан разделять его на вымышленный и фактический ряд, но то, что делаете вы... Итак, что́ вы можете по прошествии лет сказать о "Книге Дэниэла", об уголовном деле, которое легло в основу романа, и вашем личном отношении ко всему этому?

Э. Л. Д. Не знаю, давно ли вы читали эту книгу, но все мои догадки насчет содержания засекреченных документов оказались верны; это подтверждает и недавнее признание Мортона Собелла[2]. Если меня спросят, написал ли бы я сейчас по-другому, я скажу "нет". Вот для чего нужен дар, позволяющий домысливать то, чем не владеешь. В книге репортер сообщает Дэниэлу, от лица которого ведется повествование,

1. Джордж Буш-младший.
2. В сентябре 2008 г. 91-летний Мортон Собелл, осужденный по делу супругов Розенберг в 1951 г., публично признался, что действительно занимался шпионажем в пользу русских, и заявил, что Этель Розенберг к шпионажу не причастна.

что тот — сын казненной супружеской пары. "Да, дело ваших родителей сфабриковано, но в этой стране не приговаривают к смертной казни кого ни попадя". В романе есть указание на то, что мать Дэниэла, которая, видимо, знала далеко не все о шпионской деятельности мужа, эмоционально от него дистанцируется. Возможно, вам интересно, как появилась эта книга?

А. В. Да, очень интересно.

Э. Л. Д. В конце 1960-х в некоторых университетских кампусах более или менее спонтанно, как протест против войны во Вьетнаме, возникло движение так называемых "новых левых". Мне захотелось сравнить их со "старыми левыми". Для левого движения 1930-х годов была характерна европейская, марксистская направленность. "Старые левые" либо слепо подчинялись Советскому Союзу, либо с негодованием от него открещивались, но продолжали исповедовать утопическую теорию, тогда как "новые левые" тяготели к анархизму. Позднее это движение распалось на различные группировки, но в них по-прежнему царил дух анархии, который вырвался из кампусов вместе с рок-н-роллом и новой манерой одеваться. Мужчины отращивали волосы, все стали носить джинсы. Дальше все это слилось с движением за гражданские права. Я стал думать, как лучше рассказать об истории моей страны в 30 и 40-е годы, и пришел к выводу, что не иначе как через инакомыслящих.

Идею написать большое романное полотно я вынашивал давно, но сюжета не находилось. Когда Розенбергов казнили, я служил в армии в Германии и не обратил на это внимания, но какие-то сообщения в "Старз энд страйпс"[1], вероятно, видел и, гораздо позже, решил, что эта история поможет мне связать 30 и 60-е годы, — вот как я взялся за дело. Никого из фигурантов я не знал, со стороной обвинения тоже не был знаком. Начал читать стенограммы и газетные статьи, вообразил, что мне все ясно, написал около ста пятидесяти страниц и однажды их прочел. Вам известно, что это часть литературного процесса? Время от времени нужно просматривать то, что уже сделано, и я посвятил один день чтению написанного. Текст оказался ужасным, очень скучным, и я впал в отчаяние. Если я способен накропать столь унылую историю, никакой я не писатель. Помню, как раскидал бумаги по комнате. Ни разу в жизни я не испытывал такого внутреннего опустошения. Ополчившись на себя, я вставил лист бумаги в пишущую машинку — именно так мы работали в те времена — и начал печатать нечто вроде пародии на собственные писательские притязания.

1. Неофициальная газета Министерства обороны США для военнослужащих, проходящих службу за границей.

Так появилась первая страница "Книги Дэниэла", после чего я понял, что не мне писать эту книгу — ее должен написать Дэниэл, выросший сын Розенбергов, в попытке примириться с жизнью, какую уготовили ему родители. Дэниэл помог мне ответить на вопрос, как выстроить книгу, поскольку знал ситуацию изнутри, — что обязан знать и автор, о чем бы ни писал, — но в то же время он блуждал в потемках — так же как и автор, то есть я.

Итак, я сумел написать эту книгу благодаря тому, что встал на точку зрения Дэниэла. Те, кто не читал романа, полагают, что он написан в защиту Розенбергов. Это неверно. Я не пытался выяснить, виновны Розенберги или не виновны. Роман не о них. Он о том, что́ с ними произошло. Это уголовное дело — канонический портрет Соединенных Штатов 50-х годов, автопортрет эпохи психоза в масштабах страны. Вот о чем моя книга. И еще о том, что́ способны родители, одержимые идеологическими фантазиями, сами того не сознавая, сотворить с жизнью своих детей.

А. В. Артур Кёстлер в романе "Слепящая тьма" писал о замученных и казненных в годы террора большевиках так: "Они были виновны, но не в тех преступлениях, за которые их осудили".

Э. Л. Д. Мне кажется, даже те, кто согласны с этим утверждением и всегда считали, что Розенберги виновны, никогда не желали их казни.

А. В. Конечно нет.

Э. Л. Д. Если говорить не о книге, а об этой паре, и вспомнить признание Собелла, выходит, что Юлиус Розенберг действительно был шпион, а жена его — скорее всего, нет. Ее казнили на электрическом стуле на основании ложных показаний сестры мужа. Сам Розенберг не занимался атомным шпионажем, он поставлял много других сведений, например, о радарах, о различных видах вооружения и тому подобное. А вот, к примеру, некий Клаус Фукс[1], совершивший реальное предательство, был приговорен к тюремному заключению и через восемь лет вышел на свободу. Если разобраться, все участники судебного процесса показали себя не лучшим образом: и сторона обвинения, и судья, который явно состоял в сговоре с прокурором, и, безусловно, Рой Кон, который изуверски хвастался, что именно он внушил судье Кауфману мысль о смертной казни, и сам судья Кауфман, заявивший, что Розенберги несут ответственность за войну в Корее. Последнее — бред чистой воды. В общем, все, кто причастен к этому делу, как ни крути, выглядят отвратительно.

1. Эмиль Ю. Клаус Фукс (1911—1988) — немецкий физик-теоретик, осужденный в 1950 г. за шпионаж в пользу СССР.

А. В. Я мог бы задавать вопросы еще несколько часов, но у нас есть традиция предоставлять микрофон аудитории. Прошу вас. <...>

Голос из зала. Я журналист. Пытаюсь написать пьесу, не историческую — учитывая ваш комментарий, не хочу пользоваться этим определением, — однако действие происходит в прошлом. И бьюсь над вопросом: нужно ли придерживаться доподлинно известных фактов о жизни прототипов моих персонажей и копаться в документах в поисках новых фактов? По-моему, это ошибочный подход, заниматься этим не стоит, и все же я сомневаюсь, вероятно, в силу моей основной профессии. Интересно, насколько вас заботит эта проблема. Взять хотя бы роман "Марш", которой мне очень понравился, но я заметил, как вольно вы обращаетесь с персонажами, поэтому хотелось бы узнать, есть ли некая граница, когда понимаешь, где можно присочинить, а где надо следовать имеющимся фактам.

Э. Л. Д. Это сложный вопрос. Я знаю многих писателей, которые, прежде чем сесть за стол, занимались скрупулезными исследованиями — и не смогли написать ни строчки. На них давил груз сведений, почерпнутых из источников, — это убивает воображение. На вопрос, много ли я извлекаю из источников, я отвечаю: мне хватает. Роман, как, вероятно, и пьеса, пишется ради эстетической задачи. Когда я превращаю генерала Шермана, личность историческую, в персонажа романа "Марш", я делаю то же самое, что живописец, который пишет портрет. Художник субъективно интерпретирует объект: холст говорит о нем самом столько же, сколько о его модели. Изображение всегда отличается от оригинала.

В Англии есть Общество короля Ричарда III, созданное с целью пресечь ужасную клевету, распространяемую шекспировской пьесой. Члены общества утверждают, что Шекспир очернил и дискредитировал Ричарда, который был очень хорошим, мудрым правителем, не убивал детей и вовсе не был горбатым серийным убийцей. (*Смех.*) Если они преуспеют в своем деле — а им уже удалось выяснить, что Шекспир пользовался хрониками Холиншеда[1], который находился под пагубным влиянием Томаса Мора, чьи сочинения противоречат исторической правде, — мы получим двух Ричардов: одного исторического, другого шекспировского. И который из них, по-вашему, более ценен? "Ричард III" — одна из самых популярных пьес Шекспира, в которой автор убеждает нас в том, что каждый стремится безнаказанно жить за счет других. Это великая трагедия о проблемах нравственности,

1. Рафаэль Холиншед — английский хронист XVI в., автор "Хроник Англии, Шотландии и Ирландии".

потому автор и не старался следовать историческим фактам. Другой пример. Я уже упоминал сегодня “Войну и мир”. У Толстого Наполеон — пухлый нескладный коротышка, не способный даже в седле держаться как подобает. Возможно, так оно и было, но дело-то в другом. Для Толстого главное — несоответствие между физическим обликом Наполеона и его деяниями, и результат этого несоответствия — тысячи мертвых солдат по всей Европе. Толстой провел большую исследовательскую работу, но в романе дал собственную оценку Наполеону. Боюсь, я перегрузил вас ссылками на мировые авторитеты, поэтому возвращаюсь к себе. Когда я писал “Рэгтайм”, я неплохо позабавился, создавая образ Д. П. Моргана[1], но ведь и сами знаменитости выдумывают о себе всякую всячину задолго до того, как за них возьмутся писатели. (*Смех.*) Если хотите почитать настоящую фикцию про Моргана, обратитесь к его авторизованной биографии. (*Смех.*)

Вопрос из зала. Вы сказали, что пишете каждый день. Откройте нам секрет, над чем вы сейчас работаете. И еще: что из написанного ранее вам особенно нравится?

Э. Л. Д. Открываю. Сейчас я пишу очередной великий роман. (*Смех.*) Вероятно, вы хотите узнать, что из написанного мною стоит прочесть. Понимаю. К чему тратить время, искать самому? Что ж, возьмите “Добро пожаловать в тяжелые времена”. Хотя нет, не стоит. “Книга Дэниэла” — интересная вещь, но мрачноватая и сложная, к тому же там использованы постмодернистские приемы. Забудьте о ней. “Рэгтайм” — пародия на историческую хронику, так что и тут не советую. Вообще, боюсь, все эти романы не для вас. (*Смех.*)

<...>

Вопрос из зала. Я прочла ваш рассказ в журнале “Нью-Йоркер” — не помню названия... о человеке, который прячется в своем гараже.

Э. Л. Д. Рассказ называется “Уэйкфилд”.

Из зала. Да, “Уэйкфилд”. Как вам удалось написать такой рассказ во время работы над романом? Или вы взяли тайм-аут?

Э. Л. Д. Иногда полезно ненадолго отвлечься от романа и написать что-то, совершенно с ним не связанное. Должен вам сказать, что рассказ с таким же названием есть у Натаниеля Готорна. Там идет речь о живущем в Лондоне XVIII века англичанине, который однажды, как обычно простившись утром с женой, уходит из дома и возвращается спустя два-

1. Джон Пирпонт Морган (1837–1913) — финансист, промышленник, основавший в начале XX в. мощную монополистическую группу.

дцать лет. Все эти годы он прячется по соседству. В рассказе Готорна есть такая фраза: "Дадим же возможность читателю самому поразмыслить над этим умопомешательством". И я решил: отлично, вот этим я и займусь. Так что "Уэйкфилд" — это мое толкование готорновской истории.

<...>

Вопрос из зала. Вы писали о разных периодах... А какие моменты в американской истории наиболее близки лично вам, с какими воспоминаниями вы не расстаетесь?

Э. Л. Д. Я помню, где находился во время убийства Джона Кеннеди — в офисе на Мэдисон-авеню. С детства помню, что, когда умер Франклин Рузвельт, все вокруг плакали, взрослые плакали, и я тоже заплакал. Помню, как все радовались, когда закончилась война, Вторая мировая. Как все нервничали, когда Хрущев отправил ракеты на Кубу: кошмарные были дни, все действительно боялись, что русские сбросят на нас атомные бомбы. Но для меня это просто эпизоды из жизни, я не воспринимаю их как события исторические. Наверно, для молодежи, людей, которые появились на свет пятнадцать лет назад, для моих внуков это уже история, для меня же — нет. <...> Любопытно, что сейчас некоторые историки берутся за сочинительство. Устный рассказ — самая древняя система передачи известных человечеству знаний. Сказители Бронзового века, такие как Гомер или авторы Ветхого Завета, творили в рамках этой системы, поскольку никакой другой тогда просто не существовало. Им науку заменяло религиозное озарение. В отличие от нас, они не разделяли функции языка — это у нас все разложено по полочкам: язык науки — одно, религии — другое, повседневного общения — третье, поэзии — четвертое и так далее. Люди Бронзового века классификацией не занимались, для них подобных различий не существовало, поэтому они могли, передавая информацию для обучения молодежи, соединять зримое и незримое, прошлое и настоящее и дозировать страдания так, чтобы легче было переносить тяготы жизни. Сам акт устного повествования означал, что все рассказанное — правда. Но потом пошло: эпоха Просвещения, Галилей, Фрэнсис Бэкон, который заявил: "Самое лучшее из доказательств есть опыт"... Тогда-то устный жанр и утратил авторитет. А сейчас только малые дети верят, что все, что им рассказывают, правда. Дети и еще фундаменталисты. (*Смех.*) Но человеческий мозг все еще восприимчив к рассказам. Доказательство тому — ученые социологи, психологи и антропологи, оккупировавшие область художественной литературы. Взять хотя бы Фрейда с его замечательными описаниями случаев из практики или социологов с нарисованными ими весьма субъективными этническими портретами. Все они пе-

рекочевали на нашу, писательскую, территорию и оттеснили нас словно бы в резервацию. Я прекрасно помню, что остро это ощущал, когда писал "Рэгтайм". В то время в мире доминировал эмпирический метод познания, и я сказал себе: "Ладно, если читатели жаждут фактов, они их получат. Я предъявлю им такие факты, от которых у них глаза на лоб полезут".

А. В. Тем не менее, искусство рассказа все еще живо и эффективно, и подтверждение тому — ваши собственные произведения. Благодарю вас. Спасибо всем участникам беседы. До следующих встреч.

Шарж Дэвида Левина

Мэтью Лав

Ночное дежурство

Рассказ

Перевод Льва Оборина

ДОКТОР Тэран проснулся в сумерках, в час пик, от гула автомобилей, который через открытое окно доносил до него сквозняк. Квартира была перегрета; он спал без одеяла. Нестерпимо болел лоб. Глаза ввалились от переутомления. На коже остатком сна лежало прикосновение холодной руки.

Потолок был безупречно плоским, без единого изъяна. На каждой стене — плакат. Сквозь жалюзи просачивался свет зимы. Доктор Тэран ощущал присутствие остальных квартир в доме: расположены с идеальной точностью — бок о бок и одна над другой, в каждой — свои жильцы, высоко над землей. За одной из стен жила семья, состоявшая, по крайней мере, из четырех азиатов, — медсестра, ее муж и двое детей. Обычно они сторонились Тэрана, хотя муж порой рвался пожать ему руку.

Тэран поставил кипятиться воду для кофе, принял душ, а потом за едой прочел вчерашнюю газету. Он сидел за столом, любуясь его светлой древесиной. Поднялся и подошел к окну. На противоположной стороне улицы, в больничной палате, медсестра передвигалась, как в медленной пантомиме, то появляясь, то исчезая из виду. На койке лежал пациент. Тэран высунулся из окна взглянуть на небо — плотное, монолитно-серое — и вспомнил парк. Он ходил в парк поглядеть на осень. Деревья были многоцветным чудом, в основном желто-золотые; он вспомнил, как его интересовало, все ли осени одинаково желты или же бывают разными.

В лифте никого не было; закрытая кабина плавно спускалась вниз. Тэран закрыл глаза и сделал вдох, готовясь войти в мир. Дверь открылась; за ней ждала женщина в синих джин-

© 2003 by Matthew Love
© Лев Оборин. Перевод, 2011

сах. Он не сразу понял, кто это — хирург, только без спецодежды.

Он окунулся в уличный шум. Ветер был сильный; перехватило дыхание. Хотя в небе и сохранялся остаток дневного света, улица была темна. Мимо протрусил бегун с красным лицом. Тэран пошел навстречу людскому потоку в сторону метро. Он был выше большинства людей в толпе и смотрел сверху вниз в надвигающиеся на него лица, выискивая глаза, с которыми могли бы встретиться его глаза, линию взгляда, по которой он мог бы передать, что у него на душе. Но никто не поднимал глаз. Все шли, окруженные плотным слоем вечерних забот; а для него это было утро.

На углу, с подветренной стороны зданий, сильными порывами набегали потоки воздуха. Тэран наслаждался им — необузданным, подвижным воздухом, — позволяя холоду завладеть телом. Газетный заголовок гласил: ОЖИДАЕТСЯ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД. Такси пересекали пешеходные переходы, не дожидаясь сигнала светофора. У стоянки неотложек работники больницы ждали машин. “Ну и где этот парень? Нам надо вернуться до снега!” — громко произнесла одна женщина. “Наверняка со шлюхой на заднем сиденье развлекается!” — сказала другая, словно ожидая в ответ услышать смех.

За дверью приемного покоя какой-то мужчина, наклонив голову, прикладывал к уху сложенную ковшиком ладонь, будто хотел вытрясти из него воду.

— Ай! — кричал он. — Ай!

— Таракан в ухе, — сказала Тэрану медсестра.

— Что, правда таракан? — переспросил Тэран. Это были его первые слова за день. Сам он не ощущал своего акцента, он знал, что акцент был — индийский с примесью шотландского, унаследованного от бывшего преподавателя.

— Хуже не бывает. Таракан в панике бегает по барабанной перепонке. Как будто лошадиный табун несется, — пояснила медсестра, направляя пациента к смотровой. — Не надо кричать, сеньор, мы его вытащим.

Вдоль коридора на носилках лежали больные. Какой-то небритый старик попытался ухватить Тэрана за рукав. Одна женщина разговаривала сама с собой. Большинство пациентов лежали на спине, рукой заслоняя глаза от света. Один был накрыт простыней с головой; по выпростанной ступне Тэран понял, что это мужчина.

Старуха в съехавшем набок парике лежала на носилках возле сестринского поста.

— Извините, — обратилась она к Тэрану, — вы мне не поможете? Я не знаю, что я здесь делаю. И не знаю, где я.

— Вы в больнице, — ответил он. — В городской больнице. Я не знаю, почему вы здесь. Посмотреть?

— Да, пожалуйста.

Сестринский пост находился за толстым стеклом. Звонили телефоны. Врачи сидели за конторками и писали. Толпились медсестры. По стеклу настойчиво застучали. Обернулся только Тэран. Это была старуха в парике.

— Что с ней? — спросил Тэран у ближайшего к нему ординатора.

— Посмотрите, — деловито ответил тот.

Тэран вернулся в коридор.

— Извините, — сказала старуха. — Вы не подскажете, где я нахожусь?

— Я же вам только что сказал: в городской больнице. Разве вы не помните?

— Конечно, помню. Хотя не очень, — призналась старуха.

— Не беспокойтесь. О вас позаботятся, — сказал Тэран. — Синдром Корсакова? — спросил он у ординатора.

— В точку, — усмехнулся ординатор. — Эта старая пьянь через десять минут опять заскребется. Память у нее, как у червя.

В лифте стояла женщина и смотрела, как сменяются номера этажей; в кармане пальто у нее лежал клубок ниток, и она вязала не глядя. Врач-ординатор почесал лысину и засунул руки в карманы. На Тэрана поглядела девочка; он кивнул ей.

Джон До Четвертый из палаты номер 1552 страдал от цирроза в последней стадии; полицейские нашли его на тротуаре, в бреду. Нашли и не дали умереть. Он полулежал на койке в одном подгузнике. В круге флуоресцентного света надкроватной лампы его оранжевая кожа казалась зеленой. Живот вздут, кожа туго натянута. Грудная клетка неестественно широкая, но ноги и руки — тонкие и короткие. Он был как будто беременным самим собой, превратился в шар-личинку, конечности втягивались внутрь износившегося скелета. Его побрили, остригли ему волосы. Что-то неразборчиво бормочет.

Тэран заговорил. Сказал больному, что тот почувствует укол иглы, потом жжение от обезболивающего, потом — как будто давление, и — когда жидкость начнет оттекать — облегчение. Хотя больной находился в ступорозном состоянии, слова Тэрана его, похоже, успокоили. Тэран слушал собственный голос, такой спокойный и неторопливый, и думал о дядиной лошади — как уши у нее обмякали, когда он разговаривал с ней, а сама она недвижно стояла, ожидая, пока ее почистят и оседлают. Он постучал по животу пациента и почувствовал, как волны жидкости колышутся взад и вперед.

Воткнул иглу. Светло-желтая жидкость быстро потекла по изгибам пластиковых дренажных трубок.

— Это ваша печень вопиет к вам, проливая литры желтых слез, — сказал Тэран.

Ему пришло в голову, что гигантская, полная жидкости брюшная полость этого человека вполне подошла бы для разведения рыбы.

— Здесь для рыб места хватит! Окружающая среда, мне кажется, их отлично устроит, — произнес он.

Тут ему стало стыдно, и он слегка надавил на живот пациента, чтобы ускорить поток.

— Вы сегодня дежурите? — спросил ординатор у Тэрана в коридоре.

— Да, хотите расписаться?

Они сидели в креслах на сестринском посту. Веки ординатора закрывались, он начинал клевать носом. На секунду вдруг проснулся, буркнул что-то, но потом поддался сну и уронил голову на грудь. Начал тихо похрапывать.

Тэран взглянул в окно. Шел снег — бесшумный белый дождь. Он падал так быстро и плотно, что затуманивалось зрение. Тэран видел снег только раз, на склоне горы, но как он идет, наблюдал впервые. Неужели его может быть так много? От этого зрелища кружилась голова. Казалось, что снег кристаллизуется прямо тут, на границе света, льющегося из окон здания, — белые точки вихрем вырывались в пространство из черного воздушного моря. Тэран подошел к окну. Далеко внизу, на улице, крыши машин стали белыми.

Он встал на цыпочки и открыл большое окно. Влетели крупные хлопья снега. Он нагнулся, чтобы подобрать их, но от прикосновения кончиков пальцев снежные хлопья превращались в воду. Тэран поступил, как видел в кино: набрал с подоконника пригоршню белого пуха, сжал и скатал снежок. От холодного, мокрого снега руки покраснели.

Растормошил ординатора. Тот открыл глаза и обнаружил, что Тэран стоит перед ним и с поклоном торжественно протягивает снежок на блюде ладони.

— Снег идет? — спросил ординатор. Взял снежок и рассмотрел. — Здорово. — Приложил снежок к тыльной стороне шеи и вздрогнул. Потом встал и кинул снежком в стену. Он шлепнулся и прилип.

— Ну что ж, давайте посмотрим, — сказал ординатор, перебирая учетные карточки. — Здоров. Здоров. Выписан. Уэбстер. Помните Уэбстера — зараза, наркуша чертов, у него якобы обострение серповидно-клеточной анемии? Сидит на обезболивающих и будет у вас их клянчить. Не давайте. Делайте, как я: берите большую иголку и тяните из него кровищу, как из бочки. Я хочу от него отделаться. — Он взглянул на Тэрана и улыбнулся. — Джимсон. СПИД. Тонет в поносе. Мы колем ему два внутривенных и еле-еле справляемся с его жидкостями. Если внутривенная игла выскочит, понадобится

другая. Силициано. Тоже СПИД. Вместо мозга — сплошная лимфома. Отказ от реанимации он не подписывал, но сделайте ему одолжение — дайте уйти с миром. Кстати, о птичках.

Началась ночная смена. Посетителей отправили по домам; медсестры двигались неторопливо. Развозчики пищи и уборщики сидели и громко разговаривали. Служащие звонили по телефону. Никто не узнал Тэрана, кроме самого старшего, черного как вакса, уборщика. Он отодвинул швабру, давая Тэрану пройти.

— Осторожно, док, пол скользкий.

— Спасибо, — отозвался Тэран.

Даже в коридоре все звуки заглушал телевизор: панические шаги, прерывистое дыхание и напряженная музыка из фильма ужасов. На второго пациента в палате, выжившего из ума старика в подгузниках, фильм явно действовал. Он съежился в кровати, в ужасе разинув беззубый рот и широко раскрыв глаза.

— Мистер Уэбстер! — крикнул Тэран. — Это доктор, я пришел вас навестить.

Ответа он не получил, поэтому раздвинул занавески. Небольшого роста черный мужчина лежал на боку, перед ним висел телевизор. Вылизывает красный джем из пластиковой банки. В тыльную сторону ладони вливается внутривенное. Раздался пронзительный вопль — всполох телеэкрана — и звуки ударов.

— Мистер Уэбстер, вы просили меня прийти. Пожалуйста, сделайте потише, чтобы мы могли поговорить.

Мужчина посмотрел на значок с именем Тэрана, затем с преувеличенным усилием поднялся и убавил громкость.

— Извините за телик, — проворчал он. — Это я себя от боли отвлекаю. Чертова серповидная анемия замучила. — Он оглядел Тэрана. — Тяжело вам приходится, а, док? В этой больнице столько страданий, а вы тут, наверно, один. Чтоб в такое время ночи дождаться доктора, это надо как минимум час промучиться.

— Простите, что вас без ухода оставили. Меня только что вызвали.

Уэбстер откинул одеяло и стал переворачиваться на спину, но вдруг сморщился и схватился за живот, как будто его подстрелили. Корчился на постели, боль, похоже, целиком им овладела. Лицо исказилось, на глаза навернулись слезы. Издал странный захлебывающийся звук и, обняв себя, начал перекатываться с боку на бок.

Это он нарочно, подумал Тэран. А затем виновато самому себе: *Ты не лучше остальных.*

Боль не унималась. Уэбстер на мгновение открыл глаз, — может, он был зол, что Тэран увидел его в таком состоянии? —

и Тэран положил руку больному на плечо, чтобы ему полегчало. Наконец приступ прошел.

— Доктор, помогите. Мне нужно лекарство.

— Мистер Уэбстер, я с удовольствием вам помогу. Первым делом нужно узнать, отчего...

— Слушайте, это все серповидная анемия. Болит так же, как всегда, и ощущение то же, но теперь стало еще хуже, а все потому, что вы не даете мне лекарства, сколько надо. Первое дело — это лекарство. А там слоняйтесь, сколько влезет.

— Мистер Уэбстер, я не хочу, чтобы вы страдали, но...

— А я страдаю. Страдаю. Док, я эту историю, черт возьми, уже проходил с вами, врачами, раз двести. "Надо убедиться, что это не что-то другое". Рентген. Томография. Анализ крови. Пейте больше воды. Наденьте кислородную маску. Каждый раз одно и то же дерьмо. Думаете, мне очень нравится выпрашивать у вас лекарство?

— Во время каждого приступа у вас такая же боль?

— Каждый раз. — Он сел и потянулся к прикроватному столику за бутылкой минеральной воды. — Все пил, как мне велели.

Тэран опять почувствовал, что мужчина притворяется. Демонстрирует изо всех сил, как он выполняет назначения.

— Извините, мне надо помочиться.

Тэран вышел за занавески. Голубой свет телеэкрана заливал палату. За окном падал снег. Старик засыпал, его кулаки были чуть сжаты, как у младенца. Уэбстер громко жаловался при каждом движении — вставая, мочась в утку, ложась обратно в постель. На кресле у него лежал сборничек загадок-вордфайндов, открытый на странице КАНАДА. В списке все слова были обведены и вычеркнуты, кроме слова ДЕРЕВЬЯ.

Пейджер Тэрана пискнул два раза подряд. Он проверил номера.

— Я дам вам еще дозу демерола, — сказал он человеку за занавесками. — Если поможет, скажите.

Ординатор, который предложил Тэрану делать поясничные пункции, ждал в коридоре.

— Ну, сколько сделали? — спросил он.

— Четыре удачных, две неудачных.

— Будет еще возможность. Тело что надо. Очень худая. ВИЧ-инфицированная. — Он вытянул руки в перчатках.

Бледная молодая женщина сидела на краю кровати, лоб блестит от пота. Тэран представился и протянул руку.

— Извините, что я так поздно, — сказал он.

— Боже мой, спина... — чуть не плача произнесла она. — Ладно, ладно. У меня все будет хорошо. Вы со мной. Скажите, что делать.

Тэран уложил больную на бок, лицом к стене, и помог подтянуть колени к животу, придав ей позу эмбриона. Затем расстегнул на ней халат и голыми руками прощупал позвонки. Позвоночник был выпуклый и идеально ровный. Промежутки — в которые войдет игла, достаточно широкие. Вслепую введенная на глубину четырех дюймов, игла попадет в спинномозговую жидкость, чистую и бесцветную, как вода.

Тэран надел перчатки. От щедрых мазков йода светлый пушок внизу спины сделался коричневым. Тэран накрыл спину стерильной голубой бумажной салфеткой, поместив круглое отверстие над продезинфицированным местом. Ввел лидокаин и помассировал место укола.

— Можно начинать?

Пациентка не двигалась. Ординатор кивнул.

Тэран снял колпачок с иглы и проколол кожу, ведя острие по направлению к пупку. Все другие пациенты, которым он делал пункцию, были старыми, их грубые фиброзные ткани протыкались с трудом. Но эта женщина была точно испеченная булочка. Сопротивление было равномерным, ткани плотными, но податливыми. Плавно вводя иглу, он пытался пальцами почувствовать то, что чувствует кончик иглы.

Глаза пациентки были закрыты, лицо сосредоточено. Ее мысли выходили назад, дугой через плечо.

Не выпускай мысли наружу, в воздух, думал Тэран. *Направляй их ко мне, через позвоночник, я почувствую.*

Кончик иглы наткнулся на что-то твердое. Но не на кость.

— Dura[1], — сказал Тэран. Твердая оболочка, выстилающая спинномозговой канал.

Он уверенно толкнул иглу вперед и почувствовал, как что-то лопнуло. Пациентка открыла глаза и рот. Ожидая увидеть капельки спинномозговой жидкости, Тэран вынул зонд.

Но он был сух.

Думая, что не попал в канал, он слегка потянул иглу на себя. Сухо.

Снова ввел зонд. Сухо.

Еще раз.

— *Тча!* — выругался Тэран. Что-то было не так с иглой. Или со спиной пациентки. Он делал что-то неправильно.

— Ничего, — сказал ординатор, — проверьте, верно ли вы выбрали место. Вроде бы все хорошо. Вы идете по средней линии, угол правильный, кость не задета.

— Вы правы, это должно быть здесь, — сказал Тэран. Он вновь вытащил зонд и опять ввел.

1. Твердо (*лат.*). (*Прим. перев.*)

— С первого раза выходит редко, — сказал ординатор. — Главное — уметь исправиться. Вытащите и попробуйте заново.

Ты просто ребенок, корил себя Тэран.

Он снова методично прощупал рельеф спины, расправил бумагу и опять представил, как игла пробивает себе путь к цели. Положил руку на бедро пациентки.

Веди меня, мысленно обратился он к ней.

Дважды ему казалось, что он вот-вот попадет в канал; три раза он ошибался. Теперь, на шестой попытке, его руки теряли уверенность. В тесных перчатках пальцы отказывались повиноваться, ладони дрожали. Пациентка переменила позу, и изменился весь вид ее спины. Он пытался собраться: *море голубой бумаги; круглое пятно кожи; серебряная игла; фарфоровые руки.* Это напоминало Тэрану сон. И теперь, думая о снах, ему вдруг вспомнилось собственное неясное сновидение: он почувствовал, как что-то легко коснулось его бока, испуганно обернулся — это была продавщица из магазина на углу. Ее узкая рука, как деревянная, высовывалась из рукава. Тэрану было это приятно (она всех называла "милый" и, когда брала деньги или давала сдачу, их пальцы обычно соприкасались), но тут одежда на ней распахнулась, и он увидел, что у нее нет нижней части тела — ноги и таз исчезли, живот изувечен, наружу торчат печень и селезенка. Во сне он никак не мог сообразить, что делать.

Он постарался отогнать это наваждение и ввел иглу глубже в тело женщины. Но перед ним маячили бурые органы и открытый обрубленный живот.

Спина пациентки была напряжена, на лице проступило сомнение.

— Еще раз, и я попаду куда надо.

Она вдруг отпрянула и вскрикнула от боли — игла уткнулась в кость.

— Ай! Что это было?

— Ваш позвоночник... — ответил Тэран. — Извините. — Он встал и передал зонд ординатору.

В конце темного коридора, за окном, валил густой снег. Тэран прижался лбом к холодному стеклу. Все было бело. Крыши были белыми, улица была белой, ряд припаркованных машин занесло почти целиком. Он мог проследить траектории отдельных снежинок — тех, что поближе. Сквозь густой белый туман слепящие огни лестничных клеток его дома горели мягко, как свечи.

Иде Пелтон было девяносто два года, она пережила не один инсульт и в больницу попала с инфекцией мочевыводящих путей. Крохотная старушка сидела на постели, седые волосы за-

плетены в косу. Левая рука усохла, она прижимала ее к боку, как перебитое крыло. Со щеки свисал кусок грязного пластыря. Не замечая Тэрана, она смотрела перед собой в одну точку.

Наполовину парализована, догадался Тэран. Хотя в принципе она могла его видеть, но мозг, вероятно, игнорировал все раздражители с левой стороны вследствие того же инсульта, от которого у нее отнялась рука. Тэран перешел в другой конец палаты, и старуха стала за ним следить.

Вошла медсестра с наручниками, назогастральной трубкой и чашечкой с таблетками.

— Придется ее привязать, док. Она опять вытащила трубку.

— У меня нет желания запихивать ей в нос трубку. Давайте оставим ее в покое. Выглядит она нормально.

— Не будет трубки к началу следующей смены, мне скажут: "Почему вы оставляете ее без трубки?" Хотите, чтобы у меня были неприятности, нет уж, сэр. Я написала в отчете — я сказала доктору. Она все равно должна быть с ней, ей положены сердечные.

— Дайте-ка мне таблетки. Может быть, она их примет.

Тэран разгладил халат на плечах больной, поправил выбившуюся из-за уха прядь. Старуха косилась на него злым птичьим взглядом. Он выбрал самую красивую таблетку, светло-голубую капсулу, поднял ее, потом положил на ладонь. Больная вдруг резко подалась вперед и склевала таблетку, коснувшись сухими губами его кожи.

Сестра засмеялась.

— Ей вы нравитесь, док. Попробуйте другую.

Он показал старухе маленькую круглую желтую таблетку, которую та с готовностью проглотила. Но когда он поднес ей белый шестиугольничек и подбросил его на ладони, она и внимания не обратила. Чтобы перехитрить ее афазию, он показал, что она должна положить *эту* таблетку в *свой* рот и *проглотить*.

Словно ничего не видя, она отвернулась.

— О Боже, — произнес Тэран. — Где трубка?

— Я должна получить у вас разрешение на наручники, — сказала сестра.

— Да, конечно, — ответил он, не сводя глаз с пациентки. — Минутку. — Он показал на обрывок пластыря у нее на щеке. — Видите? Трубку вводили не с той стороны. С этой стороны она ее беспокоит. Если ввести в другую ноздрю, ей это будет безразлично: та сторона у нее нечувствительна. Хоть какая-то польза от ее инсультов. Думаю, она сопротивляться не будет.

— Вы доктор. — Сестра выложила все на прикроватный столик и ушла.

— Спасибо за помощь, — сказал Тэран самому себе. Затем — пациентке: — Ну, что скажете? Все хорошо? Ладно, я зайду с другой стороны.

Трубка — длинная гибкая пластиковая змея толщиной с авторучку — должна была войти через ноздрю, пройти в носоглотку и, минуя рот, попасть в пищевод, а затем в желудок. Чтобы размягчить пластик, Тэран свернул и развернул трубку. Затем смазал ее по всей длине анестезирующим гелем. Аккуратно вложил кончик в ноздрю пациентки и начал вводить трубку.

— Так. Так.

Старуха невозмутимо смотрела куда-то вдаль. Ее ключичные впадины были так глубоки, что шея казалась необычно длинной. Халат соскользнул, обнажив одну жалкую грудь. Чтобы удержать равновесие, он положил руку на выступ ее плеча.

Кончик трубки уперся в заднюю стенку носа — старуха расширила ноздри и сузила глаза, но не шелохнулась.

— Вы держитесь молодцом, миссис П. Вы просто умница.

Она улыбнулась тем уголком рта, который мог еще улыбаться.

Трубка внутри носа, как и положено, изогнулась вниз. Тэран приготовился к следующему препятствию.

— Как у вас с рвотным рефлексом, миссис П.? Надеюсь, что пропал, но, боюсь, придется проверить.

Он продвинул трубку еще чуть-чуть, и тут старуха начала давиться пластиком, отчаянно моргая, но по-прежнему не шевелясь. Он быстро втолкнул трубку. Секундное сопротивление — которое не должно было появиться, — но он преодолел его и ввел трубку до конца. Закачал в трубку полный шприц воздуха, приложив к животу пациентки стетоскоп. Сигнала — воздушного звука — он не услышал.

— Вы что, трубку во рту свернули?

Она не раскрывала плотно сжатых губ.

— Попробуем еще раз.

Вытащил трубку обратно в носоглотку и применил другой маневр — нагнул голову старухи вперед, чтобы изменить изгиб глотки. Но она прижала голову к подушкам и опять не далась. Как он только не поворачивал трубку, вводил ее с разной скоростью. И всякий раз, когда он достигал критической точки, — там, где сходятся дыхательное горло и пищевод, — она отклоняла трубку мышцами глотки.

Он приподнял ей губу и засунул палец между десной и щекой. Передернувшись от ощущения твердой беззубой десны, он словно рычагом раздвинул ей челюсти. Там, за языком, были кольца свернутой трубки. Он вытащил ее, и старуха начала вырываться, поэтому он схватил ее за волосы у основания косы, а другой рукой стал проталкивать трубку вниз, в глотку. Он чувствовал, как старуха трется об него лицом, изгибая и напрягая мышцы. Потом дико и коротко вскрикнула. И после этого ее как прорвало. Замотала головой из стороны в сторону: *Нет,*

нет, нет, нет, нет. С неожиданной силой ударила его здоровой рукой. Шипела, отбивалась, плевалась.

— Перестаньте! — закричал он.

Она искоса глядела на него убийственным куриным глазом.

— Прекратите немедленно!

Он подошел к двери, закрыл ее, сел на соседнюю койку и обхватил голову пациентки, зажав заодно и здоровую руку. Рука на лице, похоже, успокоила старуху, точно она была кошкой. Но когда он засунул ей в рот вторую ладонь и кончик трубки коснулся глотки, старуха с остервенением кинулась на него, собрав все оставшиеся силы, — хрупкий череп, казалось, вот-вот треснет у него в руках. Теперь однако он справился с ней и для ее же блага ввел трубку.

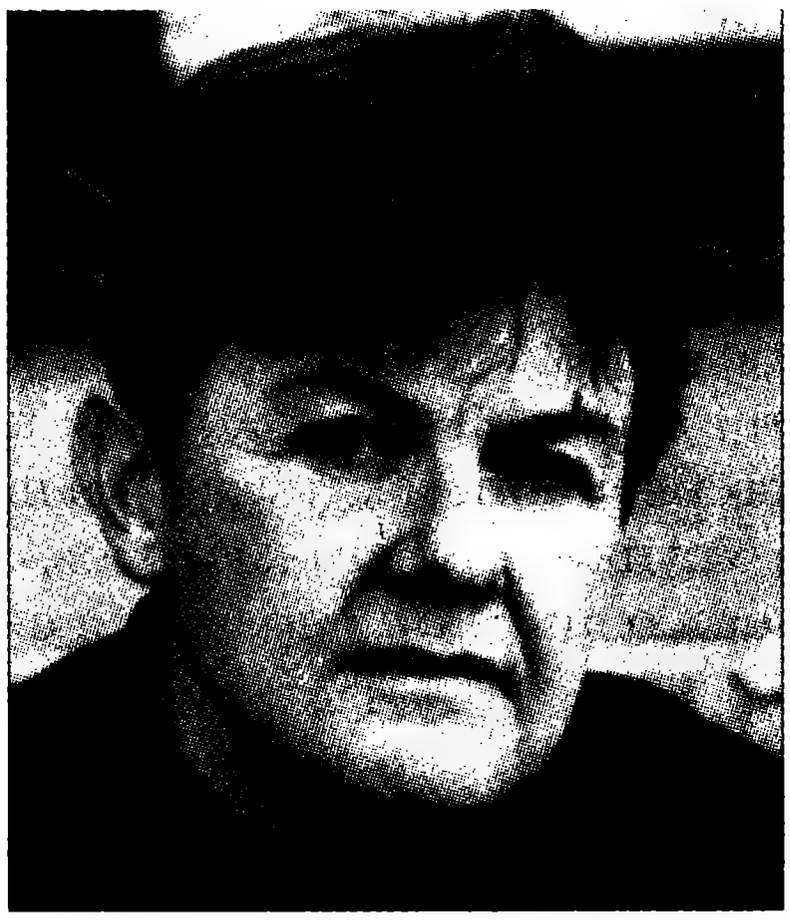
Коридор был пуст, этаж безлюден. Тэран сидел на сестринском посту и заполнял истории болезни. Стенные часы неожиданно вздрогнули, несколько секунд потикали, потом затихли. Он поглядел на часы, но время уточнять не стал.

Он встал. Сам не зная зачем, подошел к окну. Белое кружение снега прекратилось. И мир преобразился: одевшись тяжелым покровом снега, здание через дорогу (до того угловатое, бетонно-блочное) теперь сделалось округлым и изящным. Пожарная лестница стала изысканной нитяной конструкцией. Петля черного кабеля, свисавшего с верхнего этажа, замерзнув, превратилась в идеальную букву “U”. Покрытый снегом город сверкал темным оловом, звездным отсветом. Едва сдерживаясь, чтобы не закричать, Тэран побежал к лифту.

Пока он спускался в пустой кабине, острое желание выскочить прямо в снег улетучилось. Автоматические двери бокового входа услужливо раскрылись. Он ступил на снег и упал лицом вперед, сам удивившись, как глубоко он погрузился. Холодная масса заползла в штанину.

Ни звука. Ни движения. Только обледеневшие машины стояли, погребенные под бесформенными, огромными холмами. Только одна дорожка следов чьих-то ног и отпечатки собачьих лап исказили снежную поверхность. Запахнув свое белое пальто, он пошел по следам, затем повернул и протоптал путь по улице до нетронутой середины перекрестка. Обернулся и посмотрел на проспект. Там, взирая на него сверху — будто в ожидании, — над зданием нависал холодный, осуждающий глаз луны.

Кей Райан



Р*ека* Н*иагара*

Стихи

Перевод и вступление Григория Кружкова

Когда готовилась антология “Современная американская поэзия” (ОГИ, 2007), составленная американской стороной и впервые знакомящая российских читателей с творчеством сорока четырех поэтов послевоенных поколений, мне одному из первых предложили выбрать стихи для перевода. Я выбрал Кей Райан почти не задумываясь, инстинктивно почувствовав что-то близкое: не только то, что мы родились в один год и месяц, под одним созвездием, не только сразу попавшееся мне стихотворение о черепахе (мой тотем!), но и какое-то тихое упрямство, выраженное в этом гимне неуклюжести и тихоходности:

> Ни единого шанса, чтобы горбатый
> стал крылатым; и все-таки невезенье
> черепаху вывезет (слово свято!),
> ибо доблесть праведных душ — терпенье.

Эти строки оказались пророческими: действительно черепаху “вывезло”: мало кому известная отшельница, далекая от поэтических тусовок, много лет преподававшая литературу в провинциальном колледже и лишь в последние десять лет достигшая некоторой скромной известности, неожиданно получает самые престижные литературные награды и становится в 2008 году шестнадцатым поэтом-лауреатом США — пост, который до

© 2010 by Kay Ryan
© Григорий Кружков. Перевод, вступление, 2011

нее занимали, среди других, Роберт Фрост, Энтони Хект и Иосиф Бродский. Что это, как не сбывшаяся сказка о Золушке?

Первым, кто всерьез заговорил о Кей Райан, был поэт и критик Дейна Джойа. Именно он был тем гонцом, который примерил неизвестной поэтессе хрустальную туфельку и нашел, что она ей точно по ноге. В своей статье 1998 года Джойа подчеркивал, что Райан — нехарактерный для американской литературной жизни продукт, что такой поэт мог возникнуть только вне обычной индустрии по производству новых поэтов, вне курсов "креативного письма" и нью-йоркской литературной толкучки.

Действительно, в поэтике Райан есть что-то европейское и отчасти старомодное. Не случайно ее "Черепаха" напомнила мне "Верблюда" Арсения Тарковского: "Горбатую царскую плоть, / Престол нищеты и терпенья / Нещедрый пустынник Господь / Слепил из остатков творенья". А стихотворение "Парные вещи": "Кто бы знал, / что этот ширококрылый / ворон печали, / приземлившись, / окажется простой / неуклюжей вороной?" — конечно же, отзывается "Альбатросом" Бодлера.

В числе своих любимых поэтов Райан называет Джона Донна и Филипа Ларкина, а из американцев — Роберта Фроста и Уильяма Карлоса Уильямса. Но не эти имена первыми приходят на ум читателю ее стихов.

Говоря о Кей Райан, неизбежно вспоминают об Эмили Дикинсон. Правда, сама Райан не признает такого сравнения: "Это все равно, что сравнивать Микеланджело с провинциальным мазилкой". И тем не менее, сходство есть. Ее стихи так же интровертны, замкнуты в себе. В отличие от трех царей, увидевших звезду на востоке, и от трех мудрецов, пустившихся по морю в грозу, Кей Райан не склонна к такого рода авантюрам, ибо море ненадежно, тропа терниста и верблюды упрямы. Она — тот "четвертый мудрец", который, не выходя из дома, странствует по дорогам своего воображения.

Кто-то сравнил стихотворения Райан с яйцами Фаберже: изящные вещицы, внутри которых спрятан секрет. Сама поэтесса сказала проще: "Я бы хотела, чтобы мои стихи были похожи на полупустой чемодан, где лежат всего несколько вещей. Вы достаете их — и тут они начинают множиться у вас на глазах".

Поэтический стиль Кей Райан аскетичен: она заключает свою мысль в двадцать строк или меньше того, редко когда больше. Стихи ее парадоксальны и как бы шутливы. Читая их, ожидаешь, что шуткой все и закончится. Но остроумие и легкость сочетаются у нее с глубиной и неподдельным лиризмом. Перефразируя Фроста, можно сказать, что эти стихи начинаются удивлением, а кончаются мудростью.

Река Ниагара

Как будто
река — это пол,
мы ставим на нее
наши столы и стулья,
едим и беседуем.
По мере того как
она движется, мы
замечаем — без паники,
спокойно, как будто
картины в гостиной
перевесили по-другому,
что пейзажи на берегу
меняются. Мы знаем,
разумеется, что это —
река Ниагара, но
трудно вспомнить,
что это значит.

Неудача

Словно тина
в протухшей
бочке,

цветущая всеми
оттенками
зелени
от лайма
до изумруда,

мокрая
и скользкая,
но не столь
эфемерная,

как удача,
цветущая
день или миг.

Чеширский кот

Остается не кот,
остается улыбка кота
и висит себе
в воздухе —
как бы так,
между прочим.
Вот с чем
трудно смириться —
что на первый план
вместо целого
выходит частица,
что нераздельное
делится, и мы
исчезаем,
и лишь остается
некая часть,
которая прекрасно
без нас обойдется.

Неудачный день

День на день
не похож,
рассуждает
эльфийский
портной.
Иногда
украдешь
лоскуток —
он подскажет
фасон и покрой.
А в другой раз
увидишь во сне
расчудесный жилет,
ищешь, рыщешь везде —
подходящей
материи нет.
А порой —
ни идеи в мозгу,
ни цветного клочка,
и весь день
маета и тоска...

Ох, и тяжко,
эльфийский портняжка!

Акульи зубы

Щепоть тишины
содержится абсолютно
во всем. Всякий шум
приобретает пикантность
благодаря этим
крупицам покоя —
вроде акульих зубов,
впившихся в него. Час
в городе содержит,
может быть, минуту
этих реликвий эпохи,
когда царила тишина —
скользкая и опасная,
словно акула. Порой
в парке можно
почувствовать
прикосновенье
ее хвоста или прохладного
плавника.

Ее деликатность

Раздражает
именно эта ее деликатность;
она ни о чем
не просит, ни на чем
не настаивает, ни к чему
не принуждает —
ненавязчивая гостья,
моя муза, — улыбнулась
и удалилась.
Уже лучше бы
бросилась,
лучше бы в горло
вцепилась.

Крен в голове

Порой в голове
приключается крен,
и те лужайки,
где кони пасутся,
встают на дыбы,
наподобие стен,
и коням приходится
пристегнуться,
чтоб сразу не съехать,
копыта задрав,
по ставшим горами
лугам, по которым
скакали вчера
среди зелени трав...
Они не привыкли
ходить косогором.

Против гравитации

Что нас движет
вопреки силе тяжести?
Откуда в нас
эти импульсы радости
или внезапной
прыгучести
и нашей одежды
летучести?
Может, как рыбок
в аквариуме,
нас какой-то насосик
подбадривает?
И мы просыпаемся
невесомыми,
как будто весь мир
нарисованный.

Терпение

Терпение
шире, чем можно
себе представить,
с лентами рек,
долинами

и хребтами,
с предпринятыми
и оконченными
трудами,
с дымом хижин,
с туземцами
в пестрых платьях.
Кто бы знал,
что терпение
практично
и может приносить
скромные
урожаи —
и что когда-нибудь
бриллианты
терпенья
станут неотличимы
от настоящих
по твердости
и по блеску.

О*стров* П*асхи*

Люди, жившие на этом острове, воздвигли потрясающие каменные статуи, но в процессе их установки истребили весь лес. Не осталось дерева ни для постройки домов, ни для топлива; в отсутствие лесов почва подверглась эрозии, исчезли почти все виды животных...

Джон Кэрролл,
Сан-Франциско кроникл

Чтобы идолов
этих воздвигнуть,
пришлось извести
лес практически весь
на рычаги и катки.
И когда последнюю
каменную башку
вкатили по бревнам
и установили на берегу,
они встали лицом
к океану — хор

монолитных глыб,
готовых стоять до тех пор,
пока не поймут даже
волны и стайки сирен:
жизнь за прочную вещь —
подходящий обмен.

Намерение

Желание от ожидания
слаще не станет.
Сей овощ надо срывать
зеленым. Иначе
за считанные часы
станет мякоть
деревянной.
Грызть будешь
и плакать.

Отлив

Чем ближе к краю,
тем время больше
мелеет.
Время, бывшее
густым и тягучим,
как янтарь
с увязшими в нем
пчелами прежних
желаний,
выпускает их.
Слышится жужжанье
невоплощенных
замыслов,
недовольный гул
упущенных шансов.
Все хотевшее случиться,
но не случившееся,
снова трепещет
и мерцает, как рыба,
оставленная
отливом.

Корочка

Известность —
тонкая корочка
раннего льда
на пруду,
способная выдержать
только птичку.
Хрупкость
этой корочки,
птичий вес
Вордсворта.

Мир слишком тверд

Жизнь должна
оставлять по себе
глубже след:
во дворе, куда
она выходила
вынуть почту
или передвинуть
поливочный шланг, —
изрытые борозды,
перед мойкой на кухне —
ободранный пол.
Ручка ее фарфоровой
чашки должна быть
стерта до пористой
глины; выключатель,
который она нащупывала
в темноте,
должен был
раскрошиться
до основания.
Путь ее жизни
должен был бы сильней
процарапать
пространство,
ее смерть —
оставить заметнее
шрам. Но — увы! —
этот мир
слишком тверд.

Дэвид Седарис

Рассказы

Перевод и вступление Светланы Силаковой

"Трудно ли писать о глубоко личных вещах? Мне — ничуть. Я охотно пишу о своих мерзких, постыдных поступках. Думаю: а ведь отличный материал! Понимаете, когда описываешь мерзкие, постыдные поступки посторонних людей, получается не столь эффектно. А вот когда рассказываешь, какая ты сам сволочь, читатели относятся к тебе милосерднее. О себе писать проще. И, поверьте, во всех моих произведениях самый мерзкий персонаж — это я".

Так признался в интервью Дэвид Седарис, уже будучи известным писателем. Но поверьте на слово: его книги дарят друзьям в качестве лекарства от хандры. Да и нет в его произведениях сугубо черного юмора — лишь самоирония, честность и трезво-философский взгляд на мир.

Гротесковый рассказ Седариса "Чем я обязан университету" — чистая правда. Только не подумайте, будто в Принстоне автор учился еще во времена идолопоклонства (собственно, студентом этого университета Седарис никогда не был, да и высшее образование получил с третьей попытки). Но, как и герой рассказа, он нашел себя в жанре сатирической автобиографии, и первое время его родственники, наверно, краснели, читая о чудачествах героев со своими именами.

Русскоязычные читатели называют Седариса американским Довлатовым. В его рассказах дистанция между повествователем и автором (корректнее будет сказать "предполагаемым автором") — минимальная. Да и

© 2006, 2007, 2009 by David Sedaris
© Светлана Силакова. Перевод, вступление, 2011

откуда ей взяться, если первоначально Седарис выступал со своими текстами на радио! Разумеется, в один прекрасный день появился дотошный журналист, который сличил биографию Седариса с его произведениями и раструбил на всю страну, что многие факты — о ужас! — гротескно преувеличены. "Ну и что? — пожали плечами слушатели. — Читали и будем читать".

Параллели между Седарисом и Довлатовым тоже очевидны: оттенок аутсайдерства, повествование от первого лица, подтрунивание над своими вредными привычками и даже жизнь на чужбине — Седарис проводит много времени во Франции и охотно делится своими впечатлениями от этих странных французов и их фантастического языка. Но по настроению Седарис ближе к другому ленинградцу — лирику и ернику Виктору Конецкому.

"Когда я читаю вслух рассказ о моем брате, то в финале всегда боюсь сорваться на плач. Понимаете, мысли всякие в голову лезут: а вдруг с братом что-то стрясется? Как же я тогда?.. Я вовсе не хотел никого разжалобить, честно. Но когда читаю эту вещь вслух, горло перехватывает от грусти..." — говорит Седарис. Кстати, он прекрасный чтец. Не зря его дважды выдвигали на "Грэмми" — за аудиокнигу "Одень свою семью в вельвет и коттон" и за диск с записью живого выступления в Карнеги-холле. А совокупный тираж "бумажных" книг Седариса на английском языке — более семи миллионов экземпляров.

Своим стилем Седарис, сам того не желая, предвосхитил целое социальное явление — интернет-дневники. В блоге ведь тоже размыты границы между реальностью и ее описанием, хотя здравый смысл подсказывает: "Всей правды не напишут". Между тем сам Седарис сегодня отошел от автобиографии — или, по крайней мере, от произведений, где герои носят имена своих предполагаемых прототипов. Теперь он сочиняет сказки об очеловеченных животных в жанре, который сам называет бестиарием; сказки эти собраны в его новой книге "Белка желает познакомиться с Бурундуком".

Чем я обязан университету

ЗАНЯТНО прогуляться по кампусу, где не бывал со студенческих лет: Принстон просто не узнать! Вот, например, эта церковь: в наше время здесь была лишь расчищенная в лесу площадка, огороженная частоколом. Тогда явка на молитву была обязательной. А попробовали бы вы сачковать, беззвучно шевеля губами! Нет, молитвы полагалось знать наизусть и произносить с подлинным чувством. Боюсь, вы сейчас поймете, что я безнадежно устарел: тогда даже Христа еще не было. Мы поклонялись богу по имени Сейшейтайба, у которого было пять глаз. Один — прямо на кадыке. Никто из нас так его и не повстречал, но нас предупреждали, что пришествие возможно с минуты на минуту, и

мы всегда были наготове. “Главное, не гляди на его шею”, — твердил я себе.

Теперь-то смешно — а тогда подобные вещи меня глубоко волновали. А некоторые однокурсники так нервничали, что у них стала хромать успеваемость. Боюсь, вы сейчас окончательно убедитесь, что я безнадежно устарел, но я вам все-таки расскажу: в наше время учились еще по системе “зачет-незачет”. Получили зачет — дышите спокойно, провалились — пожалуйте на костер для сожжения заживо на месте, где теперь стоит корпус транссексуаловедения. К концу первой сессии весь кампус заволокло дымом, и мы пробирались между корпусами на ощупь. Некоторые говорили: запах как запах, мясной, совсем как от барбекю, но я-то улавливал разницу. Посудите сами: разве на мангалах жарят волосы? Или те уродские тупоносые ботинки, в которых мы все ходили?

Однако нельзя отрицать: эта система нас мобилизовывала. Будь я сожжен заживо за неуспеваемость, родители меня бы убили, отец уж наверняка: побуждения у него были самые добрые, но, на мой взгляд, он чересчур воодушевился. Скупил все, что попалось: латы с гербом Принстона, ночной колпак с гербом Принстона и даже бархатный плащ с головой тигра, висевшей на спине, точно рюкзак. В мои времена талисманом принстонской команды был саблезубый тигр: сами посудите, каким идиотом отец выглядел в плаще и как больно было в нем садиться. А всю свою телегу отец обклеил стикерами: “Тащусь в Принстон, тащусь от Принстона”, “Мой сын поступил в лучший университет США, а мне перепал лишь счет на сто шестьдесят восемь тысяч долларов”. И так далее, и тому подобное, что-то во всем этом было... слегка нездоровое.

В наше время студентов первым делом отправляли на семинар по скромности: восьмичасовое занятие, явка всего первого курса обязательна. Не знаю, как теперь, а у нас семинар проходил в форме ролевой игры: мы с однокурсниками изображали выпускников, а профессор — человека с улицы: солдата, коновала, шлюху с золотым сердцем.

— А скажите-ка, голубчик, вы учились в университете высшего образования?

Нам вдолбили: любому человеку с оружием или рабочим инструментом надо отвечать:

— Чего-о? Мы колледжев не кончали!

Но если собеседник — сам человек с дипломом, позволительно признаться: “Было дело”, а иногда: “Да, как бы учился”.

— А где вы как бы учились?

Ответ на этот вопрос должен был от зубов отскакивать. Главное — правильная интонация. Иностранные студенты мучались страшно.

— А где вы как бы учились?

А ты:

— Э-э-э, в Принстоне? — неуверенно так, словно на устном экзамене плаваешь.

— Да-а? В Принстоне! — восклицал профессор. — Вот здорово!

Дай ему излить восторг, но едва он начнет щебетать, какой ты, наверно, целеустремленный и талантливый, протестующе вскинь руки:

— Да что вы, поступить туда совсем несложно...

Собеседник разевал рот:

— Ну да? А мне говорили...

А вы ему:

— Не верьте. Ничего подобного. Университет не из лучших.

Вот так следовало держаться — умалять себя. Нелегкая задача, когда где-то неподалеку стоит твой отец и зачитывает в мегафон приказ о твоем зачислении.

Чтобы слегка остудить его пыл, я объявил, что буду специализироваться на отцеубийстве. В мое время программа в Принстоне была очень сильная, лучшая в стране, но это не совсем та специальность, которой отцы гордятся. В смысле большинство отцов. Мой, наоборот, просиял.

— Убит выпускником Принстона! — вскричал он. — И вдобавок собственным сыном!

Маме стало завидно, правда-правда.

— А что плохого в матереубийстве? — возмутилась она. — Или я не человек?

Началась перебранка, и, чтобы восстановить мир в семье, я пообещал подумать о двойной специализации.

— Значит, нам придется доплачивать? — воскликнули они в унисон.

В последние месяцы, прожитые в родительском доме, мне пришлось несладко, но вот начался первый семестр первого курса, и меня закружил вихрь интеллектуальной жизни. Моим любимым предметом было идолопоклонство, вот только отец возмущался:

— Черт подери, какое отношение это имеет к отцеубийству?

А я отвечал:

— Ну-у-у... Самое прямое.

Отец не понимал, что все взаимосвязано: одна научная дисциплина выводит тебя на другую, и так получается цепочка, которая поднимает голову и шипит коброй, когда после

трех бессонных суток куришь кальян. А если закинуться кислотой, цепочка еще круче — типа пожирает все вокруг себя. Но мой папа в колледже не учился и совершенно не разбирался во всестороннем гуманитарном образовании. Он думал, что с утра до вечера, даже без перерывов на обед, я должен обучаться убийству. Слава богу, реальный учебный процесс устроен совсем иначе!

Если честно, я и сам не знал, что именно хочу изучать, и первые пять-шесть лет выбирал наугад. Мне понравились мародерство и астрология, но по-настоящему увлекло сравнительное литературоведение. Тогда поле для сравнений было невелико — полдюжины эпических поэм и один роман о даме из детективного агентства, — но как раз это меня и привлекло: направление новое, перспективное. Вот только попробуйте втолковать это моим родителям...

— Значит, ты нас не убьешь? — спросила мать. — Но я уже всем рассказала, что ты получишь дипломы сразу по двум специальностям.

Папа выдал свое коронное:

— Сын, ты меня разочаровываешь, — а затем прочел лекцию о практическом применении диплома: — Значит, будешь изучать литературу? А чем станешь на хлеб зарабатывать — литературщиной?

Все каникулы мы с отцом препирались, а потом, когда я уже собирался возвращаться в университет, отец зашел ко мне в комнату.

— Обещай ничего не отвергать сплеча, — сказал он. И, перед тем как выскользнуть за дверь, незаметно сунул в мой рюкзак кинжал с выгравированным напутствием.

За время учебы в Принстоне у меня было немало прекрасных учителей, но чаще всего я вспоминаю о докторе гадательных наук — форменной ведьме: седые патлы, бородавки величиной с молодую картошку и все такое. Она обучила нас предсказывать погоду на две недели вперед, но расспрашивать ее о более существенных вещах, увы, было бессмысленно.

Студенты с алхимического интересовались, сколько будут зарабатывать после выпуска. “Ну хотя бы приблизительно!” — упрашивали они, но госпожа профессор лишь качала головой и прикрывала свой хрустальный шар кружевной салфеткой, подарком одного из предыдущих выпусков. Когда заходил разговор о нашем будущем, она не сдавалась ни на какие уговоры — а мы, честно говоря, ее беззастенчиво донимали. Я, как и все, страшно досадовал, но теперь понимаю: она оказала нам громадную услугу. Взгляните на себя в день окончания университета и взгляните теперь. Я вот недавно глянул: “Ой-ей-ей! Кто это меня так?” И сам себе ответил: “Жизнь, кто же еще”. Старуха не хотела предсказывать — а мы, будучи уверены, что

у нас все схвачено, и не подозревали, что жизнь непредсказуема. Мало ли какие двери перед тобой откроются. Как знать, во что вляпаешься, на что западешь. Например, блестящий инженер все забросит и станет варить у себя в сарае сидр — и не по необходимости, а из любви к процессу. А лучший спортсмен научит все народы жить в мире и согласии, а распоследний на всем курсе кретин станет президентом США — правда, такая судьба более характерна для выпускников Гарварда или Йейля, куда берут любую шваль.

Некоторые прямо из Принстона вознеслись ракетой в высшие политические и финансовые сферы, но мне была суждена иная судьба — кружной, ухабистый путь. Закончив учебу, я вернулся домой: диплом престижного университета, четырехлетний запас грязного белья и вся жизнь впереди.

— И какие у тебя теперь планы? — спросили родители.

А я сказал:

— Ну... наверно, надо бы трусы постирать.

Это отняло полгода. Затем я перешел к рубашкам.

— А теперь? — спросили родители.

И когда я сказал: "Не знаю", их терпение иссякло.

— Это еще что за ответ? У тебя что — два класса три коридора? — возмутилась мать. — Учился в лучшем университете — и вдруг чего-то не знаешь? Как это может быть?

А я сказал:

— Не знаю.

Шло время. Отец перестал носить доспехи с гербом Принстона. Мать перестала рассуждать о моих "перспективах", и они с отцом завели щенка, рыжего с белыми пятнами. Интеллект у него был не выше среднего, но родители этого даже не замечали. "Ты ведь самый умный песик на свете, правда?" — восклицали они, и щенок пожимал им руки, совсем как я когда-то.

Первый сбор выпускников меня немного приободрил. Отрадно было узнать, что я не единственный в мире безработный с университетским дипломом. Впрочем, радовался я недолго: вернувшись домой, обнаружил, что родители отдали мою комнату щенку. На месте флага Принстона, который они купили мне на первый день рождения, висел транспарант с надписью "Вестминстер любой ценой"[1].

Я смекнул, откуда ветер дует, и выпорхнул из родительского гнезда — переехал в мегаполис, где бывший однокурсник, дипломированный философ, взял меня в свою бригаду старьевщиков. Когда же эта отрасль стараниями другого на-

1. Подразумевается престижная выставка собак клуба "Вестминстер", которая проводится в Нью-Йорке с 1877 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

шего однокурсника была выведена за границу, я остался на насиженном месте и в итоге пристроился свежевать тушки к крысолову — тощему серьезному дядьке с феноменально длинной бородой.

Вечерами я читал и перечитывал несколько книг, прихваченных из родного дома, и в конце концов, скорее всего со скуки, сам стал пописывать. Начал с мелочей: зарисовки характеров, заметки о происшествиях за день, пародии на статьи в газете для выпускников. Со временем, расхрабрившись, принялся сочинять истории о своей семье. Одну я прочел вслух крысолову; он никогда в жизни не улыбался, но над диалогом мамы и щенка смеялся до хрипоты. "У нас с тобой все один к одному, — сказал он. — Я окончил Браун, а через две недели мать начала выращивать соколов в моем углу нашей однокомнатной квартиры!" А повесть о том, как папа испражнялся в соседский колодец, так понравилась моему работодателю, что он снял с нее ксерокопию и послал собственному отцу.

Воодушевленный успехом, я через некоторое время собрал рассказы в книгу, и ее опубликовали. Первое издание я подарил родителям. Они раскрыли книгу на рассказе о соседском колодце и тут же бросились задергивать шторы. На пятидесятой странице они заколотили дверь изнутри досками и стали совещаться, как лучше изменить внешность. Другим нравился мой стиль, и только эти двое ничегошеньки не поняли.

— В чем проблема? — спросил я.

Отец поправил свой самодельный тюрбан, нарисовал у мамы под носом усы:

— В чем проблема? Я тебе скажу, в чем проблема: ты нас в гроб сводишь.

— Я думал, вы этого и хотели...

— Но не в такой же форме! — зарыдала мать.

Только в этот момент до меня дошло, что круг замкнулся. Специальность, выбранная для отвода глаз, нежданно-негаданно стала моим призванием. Но разве я оценил бы иронич-ность ситуации, если бы мои замечательные родители в свое время не отправили меня учиться в Принстон?

Как мы живем

В Париже об отключении воды предупреждают заранее. Но здесь, в Нормандии, считается, что ты и сам как-нибудь узнаешь. И не просто узнаешь, но и запасешься. А с запасами у меня всякий раз выходит осечка. Но ничего, я выкручиваюсь. Для бритья сгодится и вчерашний куриный бульон, а бачок в туалете, если приспичит, я уж придумаю чем наполнить: молоком, или апельсиновым соком,

или шампанским — конечно, если оно не лучшего качества. На худой конец попробую сходить пешком на речку — она у нас за лесом — и там помыться, но до таких крайностей пока не доходило.

Обычно воду перекрывают из-за ремонтных работ в нашей или соседней деревне. Раскапывают землю, меняют трубы, и через несколько часов жизнь возвращается в привычное русло. Беда в том, что отключение воды педантично подгоняют под мой распорядок. В смысле, кран пересыхает, едва я выползаю из-под одеяла — обычно в десять, пол-одиннадцатого. Для меня это ни свет ни заря, а для Хью и большинства наших соседей — позднее утро. Как знать, что за дела у них в шесть утра. Мне лишь известно, что наши жаворонки невероятно собой гордятся, а о рассвете высказываются в таком тоне, словно солнце восходит в награду им лично за беспримерные добродетели.

Последний раз воду перекрывали в начале лета. Я поднялся в привычное для себя время и обнаружил, что Хью куда-то упорхнул по своим неведомым делам. Пришлось в одиночку биться над проблемой кофе — этакой "уловкой-22": чтобы пошевелить мозгами, мне требовался кофеин, а чтобы взбодрить себя кофеином, требовалось пошевелить мозгами. Как-то раз, еле продрав глаза, я сварил кофе на газировке "Перье": теоретически это возможно, но не на практике. В другой раз я вскипятил вчерашнюю заварку и залил ею кофе. Ладно бы черный чай — тогда, возможно, кофе все-таки получился бы, но чай был зеленый, и получилась гадость. Вновь пережить эти ощущения не хотелось. Я шарахнулся от чайника и поспешил к вазе с полевыми цветами, стоявшей у телефона на одном из столиков в гостиной.

Цветы собрал Хью, вчера, и у меня защемило в груди, когда я вообразил, как он идет с букетом в руке по грязному полю. Хью — человек хозяйственный, точно сноровистая фермерша с Дикого Запада: сам варит варенье, шьет из мешков шторы для нашей спальни... Как-то я застал его у речки: он колотил грязным бельем по камню. Верно, тогда у нас еще не было стиральной машины, но почему бы в ванне не постирать? "Ау, вы кто такой?" — окликнул его я, и мне показалось, что, когда он обернется, я увижу у него на груди младенца — и не сидящего в удобном рюкзаке, а висящего безо всякой опоры, багрового от натуги, сжимающего беззубыми деснами сосок.

Когда Хью бьет подштанниками по валунам на речном берегу или решает обзавестись собственной мукомолкой, я вспоминаю одну супружескую пару — случайных знакомых. Дело было давно, в начале девяностых. Тогда я жил в Нью-Йорке, а на Рождество приехал домой в Северную Каролину, и больше всего на свете мне хотелось удолбаться всерьез и

надолго. Мой брат Пол сказал, что знает одного парня, который приторговывает травкой. Мы позвонили, и, как в таких случаях водится, вскоре уже стучались в дверь трейлера в двадцати с гаком милях от Рэли.

Торговца звали Майк-Малёк, а к Полу он обращался — Бром. С виду он походил на старшеклассника, а точнее, на одного из тех ребят, что бросают учебу и целыми днями околачиваются у автостоянки: спортивный костюм, волосы собраны в хвост, в ухе — свежая дырка с продетой ниткой. Обменявшись с моим братом парой фраз насчет его машины, Майк-Малёк провел нас в трейлер и познакомил с женой. Та сидела на диване и смотрела по телевизору рождественское шоу. Ноги в чулках она закинула на журнальный столик, а между коленями у нее сидела плоскомордая персидская кошка. У обеих были широко расставленные глаза и имбирно-рыжие лохмы, разве что у девушки лохмы торчали из-под вязаной шапки. Когда мы с братом вошли в комнату, жена Малька даже не шелохнулась. Вряд ли стоит обвинять ее в негостеприимстве. Сами посудите: только ты присела чуть-чуть посмотреть телевизор за компанию с кошкой, вваливаются какие-то двое, которых ты знать не знаешь.

— Вы на Бет не обижайтесь, — сказал Малёк и шлепнул ее по ступне.

— А-аааай, больно, сволочь.

Он атаковал и вторую ступню, а я прикинулся, будто любуюсь елкой, маленькой, искусственной, на высокой табуретке у двери.

— Очень мило, — объявил я, а Бет испепелила меня взглядом. “Врешь, — говорили ее глаза. — Ты это сказал просто потому, что мой дурак травкой торгует”.

Ей совершенно не хотелось видеть нас в своем доме, но Малёк, похоже, рад был гостям.

— Присаживайся, — сказал он мне. — Вздрогнем?

Они с Полом пошли на кухню за пивом, а девушка крикнула им вслед:

— Ром с колой принесите. — Потом отвернулась к телевизору и злобно глянула на экран:

— Вот тягомотина. Подай-ка мне черномазого.

Я улыбнулся кошке, точно это могло разрядить напряжение, и, только когда Бет указала на дальний угол столика, сообразил, что подразумевается пульт. В другой ситуации я, возможно, указал бы на ряд различий между людьми с черной кожей, которых принуждали трудиться за просто так, и бытовыми приборами черного цвета: приборы не мыслят, не страдают и ничего не имеют против неоплачиваемой работы. Но о сделке пока разговор не заходил, а наркотик требовался мне позарез. Итак, пульт перешел из рук в руки, и я

смотрел, как жена наркоторговца тасует каналы, выискивая что-нибудь по своему вкусу.

Едва она остановилась на каком-то ситкоме, Пол с Мальком принесли выпивку. Бет сочла, что кубиков льда ей недодали. Хозяин, однако, буркнул: "Иди ты в задницу", а сам оттянул резинку своих треников и вытащил пакет с травкой. Пакет вполне мог сойти за небольшую подушку: восемь унций, не меньше; пока я им любовался, Малёк спихнул ноги жены с журнального столика и сказал:

— Эй, сука, поди принеси мои весы.

— Сам принеси — я телик смотрю.

— У, прошмандовка, — сказал он.

— У, сволочь.

— Видите, как тут меня гнобят? — вздохнул Малёк, ушел в задний отсек трейлера — наверно, в спальню — и тут же вернулся с весами и бумагой для самокруток. Запах марихуаны напомнил о рождественской елке — но не о той, что стояла на табурете. Отвесив мне унцию и пересчитав мои деньги, Малёк забил косяк, щелкнул зажигалкой, затянулся и передал косяк Полу. Тот переправил косяк мне, я — хозяину, но тут хозяйка вскинулась:

— Эй, а я, что, не в счет?

— Раздался голос из помойки, — сказал муж. — Ох, бабы. Косяк сосут — не вырвешь, а когда Дяде Медведю охота, чтобы ему в тромбон подудели, у них всегда горло болит.

Бет попыталась огрызнуться, но боялась упустить дым, и получилось:

— Зытнссь, сволчь.

— Вы, ребята, женаты? — спросил Майк-Малёк.

Пол покачал головой:

— Я один раз чуть не обручился, а Дэвид вообще не по этой части — он у нас гомик.

Малёк захихикал. Потом посмотрел на меня с интересом:

— Что, серьезно? Или Бром брешет?

— Да он у нас в этих делах крупный спец, зашибись, — продолжал Пол. — У него и вафлёр свой есть — в смысле парень свой, все дела.

Я бы и сам мог о себе рассказать, но слушать брата было довольно приятно: он мной чуть ли не похвалялся, точно ученой собачкой.

— Ни фига себе! — сказал Малёк.

Тут его жена оживилась и стала почти коммуникабельной:

— А вот насчет парня этого. Можно спросить, кто из вас женщина?

— Собственно, никто, — сказал я. — Поэтому мы гомосексуальная пара. Мы оба мужчины.

— Да нет, — не унималась она. — Ну это... типа как в тюрьме. Один сидит за убийство, другой — за совращение малолет-

них, так? В смысле, один из вас больше похож на нормального мужчину.

Меня подмывало выяснить у нее, кто нормальнее — убийца или растлитель, но я просто взял косяк и сказал: "Ну, мы-то в Нью-Йорке живем", — точно это все объясняло.

Мы пробыли в трейлере еще полчаса. На обратной дороге в Рэли я размышлял о словах жены наркоторговца. Примеры она приводила странноватые, но я понимал, что́ она подразумевала. Люди из моего окружения — те, кто живет в нормальных домах и ни за что не назовет пульт "черномазым", — часто задают подобные вопросы, правда, в основном о лесбиянках, и только за глаза или на почтительном расстоянии: "Кто в их паре мужчина?"

Поразительно, сколько времени некоторые гетеросексуалы уделяют сексу геев: гадают, что куда вставляется и как часто. Они не могут вообразить никаких систем, кроме своих собственных, и им не дает покоя вопрос, как распределены роли в постели и вообще в жизни. Кто кого называет "сукой"? Кто будет больше убиваться по умершей кошке? Кто дольше копается в ванной? Наверно, они думают, что роли расписаны раз и навсегда. На деле же — ничего подобного, конечно. Да, Хью у нас кухарничает (и даже фартук надевает), но он же колет дрова, ремонтирует титан и может, даже не поднатужившись, оторвать мне руку — ему это как одуванчик выдернуть. Но значит ли это, что в нашей паре он — убийца? Или самодельные шторы низводят его до уровня растлителя?

Обо всем этом я размышлял, глядя на полевые цветы, которые Хью собрал за день до того, как нам перекрыли воду. Расцветка одних напоминала знак "Уступи дорогу", а другие были бледно-лиловые, на тонких, как проволочка, стеблях. Я представил себе, как Хью наклоняется или даже встает на колени, чтобы их сорвать. А потом вытащил из вазы весь букет и швырнул в окно. Вазу отнес на кухню, вылил желтоватую воду в кастрюлю, сварил кофе. Когда вернется мой мужчина, мне влетит по первое число. Но к тому моменту мой мозг проснется, и я смогу красноречиво доказывать (и, авось, даже докажу), что скрашиваю его жизнь получше всяких цветочков.

Один мужик заходит в вагон-ресторан

В золотой век американских железных дорог на перронах обычно клубился туман: густой, взрослому по колено. Это можно увидеть в любом черно-белом фильме — словно бы серебряные облака стелются по земле. Я всегда думал, что это паровозный дым, но теперь подозреваю: нет, все-таки табачный. Тогда курить разрешалось повсюду, хоть

в вагоне-ресторане, хоть прямо в купе: лежи себе на полке и попыхивай. Не жизнь, а просто рай! Или ад кромешный, это уж кому как.

В составе, который в 1984 году вез меня из Рэли в Чикаго, был вагон для курящих, но через семь лет его упразднили. Хочешь курить — иди в вагон-ресторан. На первый взгляд, обстановка там вполне пристойная и даже романтичная — "вагон-ресторан экспресса 'Озерный берег'"[1], — но стоит немножко задержаться, с души воротит. Слишком шумно, слишком светло, а вокруг — одни алкаши: угнездились за столиками, едва поезд тронулся, да так и маринуются, точно дешевый кебаб, до своего пункта назначения. Поначалу могло показаться, что переговариваются они весело: интонации были теплые, как у людей, которые сдружились, едва успев познакомиться. Но затем пьяницы впадали в сантименты, начинали повторяться и, наконец, раскисали до слащавости, которая в нетрезвой компании сходит за простосердечие.

В поезде, на котором я ехал из Нью-Йорка в Чикаго в начале января 1991-го, один пьяный приспустил брюки и покрутил голым задом перед барменшей. Мне было тридцать четыре — не самый несмышленый возраст, — но я заржал вместе с остальными. Ехал я целую вечность, — почти девятнадцать часов, не считая задержек в пути, — но душа пела: настроение мне могло испортить разве что крушение поезда. Я ехал к любимому, с которым расстался, переехав в Нью-Йорк. Мы были знакомы шесть лет, разрывали отношения столько раз, что сами счет потеряли, но я лелеял надежду: вот теперь-то мы воссоединимся. Он поселится у меня на Манхэттене, перевернем страницу, и все наши проблемы рассосутся.

Надежда не оправдалась — к счастью для нас обоих, хотя, конечно, тогда я этого не понимал. Оказалось, что приезжал я напрасно: мы окончательно рассорились. Назад в Нью-Йорк я отбывал уже в совсем другом настроении. Поезд отправился с Юнион-стейшен ранним вечером. Январское небо было оловянного цвета, а земля, плоская, как раскатанное тесто, блестела от слякоти. Я смотрел в окно, пока город не скрылся за горизонтом. Потом пошел в вагон-ресторан покурить. Среди дюжины пьяниц, которые в Чикаго еле вползли в вагон, особенно выделялся один. У меня всегда была слабость к мужчинам, у которых словно бы на лбу оттиснуто "пропащий". Именно это привлекло меня в нем (назову его Джонни Райан): судьба с ним особо не нянчилась. К тридцати годам у него возле рта, вероятно, обозначатся злобные

1. Экспресс "Озерный берег" — первый пассажирский поезд класса люкс Нью-Йоркской центральной железной дороги. Курсировал между Нью-Йорком и Чикаго с 1897-го по 1956 г.

складки, а взгляд ожесточится, но в том возрасте — в двадцать девять — Джонни все еще балансировал на грани, был точно бутылка дешевого вина за день до полного скисания.

Наверно, он заговорил со мной первый — я бы ни за что не решился. В иных обстоятельствах я буркнул бы: "Вечер добрый" и сбежал в свое купе, но разрыв с любимым человеком поселил во мне предчувствие, что моя жизнь вскоре кардинально изменится. Вот-вот подвернется небывалый, уникальный шанс, и, чтобы не упустить его, надо смотреть на вещи свободнее, не быть "упертым". Так обозвал меня мой бывший друг. Под горячую руку он прибавил "ханжа": короче, дал понять, что со мной чертовски скучно. Тот факт, что его слова меня уязвили, укрепил мое давнишнее подозрение: да, я вправду такой. Зануда, ханжа, сухарь, закосневший в своих привычках.

По моим ощущениям, Джонни не был гомосексуалистом, но с алкоголиками так сразу не поймешь. Многие из них вроде пастухов и заключенных: им без разницы, с кем сношаться, поскольку, по их разумению, темнота все спишет. А вот на следующее утро — берегись: какими только словами тебя ни обзовут, хлопнут дверью, обвинят, что ты каким-то колдовством заманил бедолагу в койку. Вероятно, я совсем отчаялся, если решил, что человек типа Джонни поведет меня в новую жизнь. Собственно, Джонни вполне мне подходил, но уж больно печально было то, что нас объединяло. Например, безработица. Мое последнее место работы — гномом в универмаге "Мейсиз".

Я предпочел формулировку "личный помощник", надеясь, что Джонни не спросит: "А у кого?"

— Ну-у... как бы это сказать... у Санта-Клауса...

Джонни на последнем месте работы имел дело с вредными химикатами. В День благодарения произошла авария, и на спине у него высыпали чирьи. А еще раньше протекла цистерна с бензолом, и Джонни обожгло руки. Меня это не оттолкнуло, а лишь больше пленило. Я вообразил, как его огромные лапы с гладкой розовой кожей распахивают дверь, за которой — наша совместная жизнь, до гроба.

— Ты что, всю ночь будешь тут стоять и только курить? — спросил он.

Обычно я не брал в рот спиртного до девяти вечера — терпел, но тут сказал:

— А, ладно, выпью пива. Почему, собственно, не выпить?

Мы с Джонни дождались, пока один из столиков освободился, уселись. По другую сторону узкого прохода пышноусый негр постукивал по пластиковой столешнице.

— Приезжает монахиня в город, — рассказывал он, — видит вывеску "Минет — двадцать пять долларов". Монахиня в

непонятках. Вернулась в монастырь, отводит в сторонку мать-настоятельницу: “Извините, вы не подскажете, минет...” А старуха ей: “По двадцать пять. Как в городе”.

В вагоне захохотали, а Джонни закурил очередную сигарету.

— Тот еще комик, — говорит.

Не знаю уж, как разговор зашел об азартных играх, — возможно, я спросил, есть ли у него хобби.

— Я ставлю на футбол, на лошадей, на собак... Посади на стол двух блох, я и на них поставлю — поспорю, какая выше прыгнет. А ты?

В азартных играх я разбираюсь примерно как сурок в телеграфных столбах. Сурок видит столбы, но, хоть тресни, не понимает, для чего они нужны. Друзья толковали мне об азарте, но их объяснения пропали втуне. Ну зачем, скажите на милость, рисковать своими деньгами?

Джонни пошел было к “Анонимным игрокам”, но больше трех собраний не выдержал: столько ноют, никаких нервов не хватит. Он признался, что держит путь в Атлантик-Сити и надеется сорвать там банк на всех столах.

— Ну ладно, — зычно объявил чернокожий по ту сторону прохода. — Слушайте еще один. Молодой сперматозоид просит старого: “Научи, как яйцеклетку различить, а?” — Рассказчик помедлил, закурил. Задул спичку. — “Как только залетишь внутрь — ищи черную точку. Увидишь — сразу к ней и говори: здрасьте, я сперматозоид. Ну а дальше сам поймешь, что делать”. — Красноносая женщина в вышитой толстовке хотела было что-то сказать, но негр цыкнул на нее: — Я еще не закончил. И вот молодой залетел внутрь, смотрит — громадная такая черная точка, подскакивает, говорит: “Здрасьте, я сперматозоид”. А точка ему: “А я — кариес!”

— А это неплохо, — сказал Джонни. — Надо запомнить.

— Я тебе напомню, — сказал я, слегка дрожа от собственной наглости. — В смысле... у меня на анекдоты память хорошая.

Негр угомонился, а я стал расспрашивать Джонни про его семью. Как я и думал, его родители давно разошлись. Обоим было по пятьдесят четыре года, и оба нашли себе кого помоложе.

— Папашина девушка — наверно, положено говорить “невеста” — мне ровесница, — сказал Джонни. — Когда у меня была работа, я себе жилье снимал, а теперь вот у них... Ну, понимаешь, пока на ноги не встану.

Я кивнул.

— А вот маманя — тушите свет, — сказал он. — Скурилась вся, ругачая, как собака, живет с тридцатилетним мудаком: они друг дружки стоят.

Все, что он рассказывал о своей жизни, казалось мне несусветным. Например, еда: он помнил, как мать забивала косяки на кухонном столе, но чтобы хоть раз в жизни сама приготовила еду, даже в праздники? Ужинали они пиццей или гамбургерами, купленными на вынос, а иногда бутербродами, наскоро смонтированными над мойкой. Джонни и сам не умел готовить. И его отец не умел, и будущая мачеха. Я спросил, что они держат в холодильнике.

— Кетчуп, пиво, тоники всякие — а что еще надо-то? — Он не стеснялся называть себя алкоголиком. — Я алкоголик, и это факт, — сказал он. — А еще у меня голубые глаза и черные волосы. Подумаешь, большое дело!

— А вот вам без пошлостей, — сказал чернокожий. — Что такое: четыре ноги, большое, зеленое, с дерева на тебя упадет — задавит?.. Бильярдный стол.

— Ну, этот анекдот с бородой, — сказал один из его собутыльников. — И вообще его про диван рассказывают.

— Это вообще рассказывают про мебель, — парировал негр. — А про какую мебель, я сам буду решать, у тебя не спрошу!

— Аминь, — сказал Джонни, и чернокожий показал ему большой палец.

Следующий анекдот встретили намного лучше.

— Жена уходит в ночную смену на работу, знает, что муж придет пьяный, говорит детям: "Отца разденьте и уложите спать, только трусы не снимайте, там ящерица живет — укусит!" На следующий день дети рапортуют: "Раздели, уложили, опасности больше нет — ящерицу убили, гнездо разорено, яйца раздавлены!"

Я вообразил себе что-то вроде рагу, политого кетчупом. И, прикрыв ладонью рот, расхохотался: аж пиво из носа брызнуло. Пока я подтирал лужу, объявили: "Последний заказ!" — и все ринулись к стойке запасаться. Некоторые алкаши так и просидят до утра, пока бар не откроется снова. Другие разбредутся, немного подремлют на своих местах, а к часу открытия вернутся в вагон-ресторан.

Что касается Джонни, то у него в сумке имелась бутылка "Смирновской", ноль семь литра, а у меня в кармане — две таблетки валиума, и поскольку я никогда особенно не любил снотворные, то легко уговорил себя этим валиумом поделиться. Еще через час мы сообща решили, что неплохо бы покурить травы. Мы оба ехали не пустые, загвоздка была лишь в том, где курить и как выбраться из вагона-ресторана. После таблетки валиума и шести кружек пива, запитых неразбавленной водкой ноги меня не слушались. А вот у Джонни ни в одном глазу: не знаю уж, сколько требовалось, чтобы его свалить. Чем хороши многолетние отложения вредных веществ

в организме — давно следовало бы отключиться, но ты скачешь козлом и идей у тебя невпроворот.

— Все, я придумал, куда пойдем, — сказал Джонни.

Не знаю уж, почему он выбрал женский туалет, а не мужской. То ли было ближе идти, то ли мужской в вагоне отсутствовал. В любом случае, даже теперь, почти двадцать лет спустя, мне стыдно об этом вспоминать. Оккупировать туалет, внаглую, чтобы побыть с человеком, который никогда, ни за что не ответит тебе взаимностью... какая мерзость. Особенно если учесть, что туалет — на нем значилось "Дамская комната" — был единственной претензией железнодорожной компании "Амтрак" на былую роскошь. Каморка чуть просторнее стенного шкафа, с одним окном, со стулом, чтобы присесть перед зеркалом и причесаться, или поправить макияж. Вторая, внутренняя дверь вела в помещение с раковиной и унитазом, но мы ее не открывали. Расселись на полу, прямо на ковролине.

Джонни прихватил из бара наши пластиковые стаканы и, когда мы уселись, налил нам обоим водки. Я уж и костей своих не чувствовал — размяк до состояния филе, но как-то умудрился набить трубку и поднести к ней зажигалку. Подняв глаза, увидел сквозь одурь луну в окне и подивился, какая она плоская и странно-яркая: вылитый чипс "Принглз", только почему-то светится.

— Как ты думаешь, лампочку на потолке можно погасить? — спросил я.

— Легко, командор!

О сексе заговорил он. Не успел я спросить, по какой цене мать продавала ему наркотики — со скидкой или как всем, — а он вдруг начал рассказывать о женщине, с которой недавно переспал.

— Жирная такая, — сказал он. — Всю кровь выпила. — А еще Джонни признался, что с возрастом у него все труднее встает: — Вроде бы все путем, и вдруг — бац... Понимаешь, да?

— Ясное дело, понимаю.

Он подлил себе водки и встряхнул стаканчик — так встряхивают рюмку с изысканным коньяком, чтобы напиток дышал.

— Ты часто цапаешься? — спросил он.

— В смысле... спорю?

— Да нет... Ты как насчет подраться?

Я заново набил трубку и вспомнил, как накануне моего отъезда мы с бывшим любимым схватились. Впервые с пятого класса я ударил человека, который не был мне кровным родственником. Ударил и почувствовал себя распоследним кретином. В основном потому, что и стукнуть толком не сумел — скорее шлепнул. А вдобавок немедленно поскользнулся на обледеневшем тротуаре и рухнул в мягкий серый сугроб.

Вопрос Джонни о драках не предполагал ответа. Джонни просто искал предлог посокрушаться о своих былых бицепсах. В старые времена, когда он занимался боксом, правый бицепс у него был семнадцать с половиной дюймов в обхвате.

— А теперь и четырнадцати не наберется, — сказал он. — Сохну, блин, прямо на глазах.

— А разве нельзя их как-то обратно нарастить? — спросил я. — Ты же не старик. Разве трудно набрать вес?

— Набрать — пара пустяков, но чтобы в правильном месте... — начал втолковывать мне Джонни. — Двенадцать банок пива в день — пузо, может, и раздуется, но плечам ни жарко, ни холодно.

— А ты попробуй поднимать банки и опускать, неоткупоренные, — посоветовал я. — Все-таки хоть что-то, а?

Джонни процедил:

— Да ты у нас настоящий комик, как я посмотрю. Валяй дальше в том же духе, может, возьмут разогревать того мудозвона в ресторане. — Повисла пауза. Джонни заново набил трубку, затянулся, передал мне. — Тьфу на нас, — пробурчал он и тяжело вздохнул. — Два первоклассных неудачника, блин.

Я хотел было сказать что-то в свое оправдание или хотя бы заметить, что едем мы вторым классом, не первым, но тут в дверь постучали.

— Кыш, — сказал Джонни. — Туалет закрыт до завтра.

Через минуту в дверь постучали снова, настойчивее, и не успели мы отозваться, как в замке повернулся ключ и вошел проводник. Отпираться было бы глупо: в каморке воняло табаком и марихуаной. Стояла недопитая бутылка водки, валялись опрокинутые стаканчики. Не хватало только, чтобы на головах у нас были абажуры вместо шапок.

Наверно, проводник мог бы испортить нам жизнь всерьез: конфисковать наркотики, сдать нас на следующей остановке в полицию, — но он просто велел нам: “Катитесь”. По вагонам не очень-то покатишься. Мы с Джонни расстались, даже не пожелав друг другу спокойной ночи. Я побрел в свое купе, а он, вероятно, в свое. На следующее утро я увидел его снова, на том же месте — в вагоне-ресторане. Вчерашний шарм улетучился: теперь передо мной был лишь заурядный алкоголик, начинающий день водкой с прицепом. Пока я заказывал кофе, негр рассказывал анекдот о ведьме с одной грудью.

— Может, хватит, а? — сказала женщина в вышитой толстовке.

Я выкурил несколько сигарет и вернулся в купе, морщась от головной боли: похмелье обещало затянуться на двое су-

ток. Привалившись к окну, тщетно силясь заснуть, я вспомнил август 82-го и Грецию. В то лето мне было двадцать четыре. Из Рэли в Афины я прилетел один. Через несколько дней ко мне присоединились отец, брат и старшая сестра Лайза. Вчетвером мы поездили по стране. Потом я проводил их на самолет в Северную Каролину, а сам доехал автобусом до порта Патрас и оттуда отплыл в Италию, в Бриндизи, всю дорогу гадая, отчего не пожелал возвращаться вместе с родней. Замысел был просто блеск: устроить себе настоящее европейское приключение. Но я был слишком застенчив, чтобы наслаждаться путешествием, слишком робок. И незнание языка тоже сильно сковывало.

Купить железнодорожный билет до Рима мне помог какой-то незнакомый человек, свободно владевший английским и итальянским, но на обратном пути пришлось выкручиваться самому. Кассир предложил мне три варианта, и, видимо, я согласился на тот, который означал: “Спасибо, обойдусь без сидячего места. Пожалуйста, устройте меня в вагон, где в давке даже не повернуться и нет ни мыла, ни крана с водой”.

То была обычная просьба, по крайней мере, для молодого иностранца. Вокруг меня звучали французский, испанский, немецкий и масса других языков, которых я не мог опознать. Что за язык звучит, точно английский наизнанку? Голландский? Шведский? Толпа нагоняла на меня страх, но скорее из-за моей собственной робости — никто мне не хамил. Просто окружающие выглядели как-то достойнее, чем я: выцветшие банданы, раздутые бурдюки из козьих шкур, до краев наполненные вином. Казалось, тут всем дарован талант жить всласть, и только я жду не дождусь возвращения домой.

В молодости волосы у меня были темно-каштановые и намного гуще, чем теперь. И бровей было не две, а одна — сплошная. Почему-то казалось, будто я езжу верхом на осликe. Странно говорить о себе такие вещи — ну прямо самолюбование, — но в том августе, в двадцать четыре года, я был очень хорош собой. Тогда бы я так не сказал, но теперь, пересматривая отцовские афинские снимки, думаю: “Неужели это я? Правда-правда?” Для моей внешности тот август был пиком расцвета, пиком, с которого я вскоре был беспощадно низвергнут.

От Рима до Бриндизи всего триста пятьдесят миль, но поезд ехал целую вечность — останавливался у каждого столба. Отправился он, кажется, в полдевятого вечера, и первые несколько часов все стояли. Потом уселись, вытянув перед собой ноги, а когда кто-нибудь решал прилечь, сдвигались. Все старались устроиться поудобнее, и меня невольно затолкали в угол и вплотную прижали к юноше по имени Башир.

Башир сказал, что родом он из Ливана, а едет в маленький итальянский университет, учиться в магистратуре на инженера. Он прекрасно владел английским, и через несколько минут между нами — как это бывает между путешественниками в чужом краю — сама собой завязалась дружба. А если честно, даже не дружба — роман. Поезд, мерно громыхавший посреди непроглядного мрака итальянских полей, создавал самое подходящее настроение. Башир... как мне его описать? Словно кто-то выпросил у олененка Бэмби глаза и, еще полусонные, вставил в человеческие глазницы. Никакой ожесточенности, никакого клейма испорченности — наоборот, у Башира просто не лицо было, а светлый ангельский лик.

О чем мы с ним так увлеченно беседовали? Возможно, оба расчувствовались уже оттого, что можем общаться и наши языки, одеревеневшие от вынужденного безделья, теперь шевелятся, издают привычные звуки. На четвертом часу разговора Башир предложил мне сойти в городе, где находился его университет, и пожить, сколько мне захочется, в квартире, которую он снял себе загодя. Это было не приглашение, какие делают друг другу собратья-туристы, а скорее предложение руки и сердца. “Будь со мной” — так я его понял.

В нашем вагоне около тамбура была каморка с зарешеченным окном. Примерно в четыре утра оттуда вышли двое растрепанных немцев, и мы юркнули внутрь. Мы с Баширом (совсем как Джонни Райан и я спустя много лет) сели на пол, состояние которого явно удручало Башира. Впрочем, были и различия: мы оба были трезвы, сидели рядышком, соприкасаясь плечами, но главное — влечение было взаимным. Наступил момент, когда нам следовало бы поцеловаться — чуть ли ни зазвучали нежные трели скрипок, — но я был слишком робок, чтобы сделать первый шаг, и Башир, подозреваю, тоже. И все равно я чувствовал, что между нами что-то возникло: не просто вожделение, а любовь с первого взгляда, любовь, которая, точно каша-минутка, достигает готовности мгновенно, но питательна, как настоящая. Вот сейчас, еще немного, и поцелуемся, думал я. Ну ладно, еще немножечко и... вот-вот... с минуты на минуту... Так все и тянулось, с каждой секундой — томительнее.

Когда мы прибыли в город, где Баширу надо было сходить, уже светало; силуэты домов и шпилей чужого города — города, который мог бы стать моим, — отчетливо виднелись на бледном утреннем небе.

— Ну и? — спросил Башир.

Не помню уж, под каким предлогом я отказался — по сути, я просто струсил. Что, собственно, ожидало меня дома? Тачка, которую я толкал на работе, — на стройплощадках в Рэли? Две комнаты в трущобе около “Макдоналдса”?

Башир сошел с поезда со своими тремя огромными чемоданами и превратился в вечный комок, подступающий к моему горлу, едва я слышу слово “Ливан” или вижу смазанные пейзажи этой страны в вечерних новостях. “Вернулся ли ты туда? — спрашиваю я мысленно. — Вспоминаешь ли меня хоть изредка? Или тебя и в живых уже нет?”

Мы так мало времени провели вместе, что просто смешно, как часто и с какой нежностью я думаю о Башире. Всю дорогу до Пенн-стейшн, мучаясь похмельем после ночи с Джонни Райаном, я гадал, как бы все обернулось, если бы я принял предложение Башира. Вообразил нашу квартиру окнами на площадь: журчащий фонтан, аккуратно разложенные на письменном столе чертежи дамб и мостов.

Когда ты молод, легко поверить, что такой шанс представится снова — такой же, если не получше. Вместо ливанца в Италии — нигериец в Бельгии или поляк в Турции. Говоришь себе: раз я путешествовал в одиночку по Европе этим летом, наверняка смогу туда поехать и в будущем году, и еще через год. Но, естественно, никуда ты не поедешь и не успеваешь опомниться — а ты уже стареющий безработный гном, так изголодавшийся по любви, что целый вечер вздыхаешь по пьянице-гетеросексуалу.

Чем ближе мы подъезжали к Нью-Йорку, тем сильнее скребли кошки у меня на душе. А потом я вспомнил о мужчине, у которого мы с моей приятельницей Лили несколько месяцев назад одолжили стремянку. Его звали Хью. Я никогда не доверял людям, которые, завершив один роман, тут же заводят новый, поэтому, когда мой поезд прибудет на Пенн-стейшн и я доберусь домой на метро, я выжду несколько часов или даже до завтра, прежде чем набрать номер Хью и спросить:

— Рассказать анекдот?

Роберт Фрост
Стихи

Переводы с английского
Вступление Леонида Ситника

О стихах Фроста можно написать много правильных слов. Например, о том, как тонко великий американский поэт чувствует настроение природы. Или о том, как твердо верит он в способность человека выдержать холод жизни. И все это будет верно. И все это, низведенное до пословного разбора, превращается в претензионную чепуху, за которую Роберт Фрост так не любил литературных критиков, "видящих фигуры и символы там, где ни у кого не было намерения вывести их, думающих, что им известно не только то, что думал поэт, но и то, что он должен был думать, и — самое главное — портящих своими объяснениями самую суть поэзии — непосредственность восприятия".

В этой подборке есть одно небольшое стихотворение, "Огонь и лед", которое интересно тем, что в нем мерцает нечто достаточно редкое для такого смертельно серьезного поэта, как Фрост, а именно — тень юмора. Впрочем, даже эта тень у него довольно мрачна. Зато до каких только глубин и тонкостей ни дошли комментаторы этого "маленького апокалипсиса", от "волн огненного вдохновения" и "хлада творческих кризисов", в коих конвульсирует жизнь поэта, до неизбежных ассоциаций с Данте, который самых больших грешников в своем аду погрузил по горло в скованное льдом озеро. Девять строк — это, конечно, девять кругов Дантова ада. "И хотя стихотворение Фроста не повторяет в точности форму воронки, как Дантов ад, но оно значительно сужается в конце", — рассуждает американский литературовед Джон Серио. И рассуждает, заметьте, без тени юмора.

Давать несколько вариантов перевода одного и того же стихотворения — старинная забава. Но отчасти это еще и попытка уйти от абсолютных, однозначных решений. Слишком много всего — как светлого, так и темного — чувствуется в стихах Фроста, чтобы лепить из него "цельный образ". Фроста легко принять за певца сельской жизни, который никогда не писал стихов за столом, а использовал все, что попадалось под руку,

© Robert Frost, 1957
© Леонид Ситник. Перевод, вступление, 2011
© Лев Оборин. Перевод, 2011
© Марина Бородицкая. Перевод, 2011
© Григорий Кружков. Перевод, 2011

включая подошвы собственной обуви. А можно разглядеть в нем "трагического философа", поседевшего не от старости, а от ужаса. Он еще при жизни стал "голосом нации", и в то же время составители оксфордской "Антологии" упрекали его за "немотивированный пессимизм и опасные обертоны". В этом поэте свободно угадывается стопроцентный "тихий американец", считавший, что художественное воображение способно "одолеть русских", но с не меньшей легкостью его можно записать и в "пионеры духа", который без малого сорокалетним отцом большого семейства взял и уехал в Англию, чтобы "жить в бедности и писать стихи". По числу премий и почетных званий Фросту впору претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса, но на своей могиле этот человек просил написать: "У меня была любовная ссора с миром".

Поэтов часто не понимают. Но меньше всего те, кто говорят, что поняли.

На русский язык стихи Фроста переводили много и охотно, однако охватить весь массив его творчества еще предстоит.

I*n* H*ardwood* G*roves*

The same leaves over and over again!
They fall from giving shade above
To make one texture of faded brown
And fit the earth like a leather glove.

Before the leaves can mount again
To fill the trees with another shade,
They must go down past things coming up,
They must go down into the dark decayed.

They must be pierced by flowers and put
Beneath the feet of dancing flowers.
However it is in some other world
I know that this is way in ours.

В лиственном лесу

С тенистых крон летит листва!
Осенней выхвачена хваткой,
Спешит земную наготу
Облечь коричневой перчаткой.

И прежде чем вернется вверх
И мир одарит новой тенью,
Листва лежит мертвым-мертва
В тяжелом мраке погребенья.
Но не навеки этот мрак.
Цветы прорвут покров из листьев,
Себе — и им! — путь вверх расчистив.
В мирах — не знаю, в нашем — так!

Перевод Виктора Топорова
В кн.: Роберт Фрост *Неизбранная дорога.* —
СПб.: Кристалл, 2000 —
(Библиотека мировой литературы. Малая серия)

В *роще*

Вновь и вновь плещут листья вверху,
Чтобы осенью пасть без остатка,
Обратиться в коричневую требуху
И расползтись, как перчатка.

Перед тем, как им снова одеть
Лес до нового листопада,
Они должны облететь,
Должны дойти до распада.

Они должны умереть в цветах,
Сгнить под танцующими цветами.
Быть может, в каких-то иных мирах
Все это иначе, но так будет с нами.

Перевод Леонида Ситника

В *лесу*

Все листья, листья, опять и опять!
Из щедрой тени они летят,
Чтоб светло-бурою тканью стать,
Одеждой, пригнанной в аккурат.

Пока народится опять листва,
Чтоб заново влить в деревья тень,
Она пройдет путем естества,
Она пройдет через тлен и темь.

И ей лежать под ногами цветов —
Пронзив ее, они пустятся в пляс.
Возможно, в мире другом не так,
Но именно так бывает у нас.

Перевод Льва Оборина

Под *деревьями*

Всё те же листья — который год!
Итог всей роскоши и упадка
Теперь пластом побуревшим льнет
К земле, как кожаная перчатка.

Опавшим листьям вновь суждено
Подняться ввысь, но сперва им надо
Спуститься вниз, на самое дно,
Росткам навстречу — во мрак распада.

И будут они пронзены насквозь,
И лягут по́д ноги первоцветам:
Уж как там в иных мирах повелось —
Не знаю, но так происходит в этом.

Перевод Марины Бородицкой

В *роще*

И снова в роще листопад!
От крон с тенистою листвой,
Как сброшенный на землю плащ,
Остался листьев бурый слой.

Пред тем, как заново одеть
Весенний лес в зеленый дым,

Листва должна сойти во мрак
И перегноем стать лесным.

Ее должна пронзить трава,
Цветы должны над ней взойти.
Не знаю, как в других мирах,
А здесь — другого нет пути.

Перевод Григория Кружкова

F*ire and* I*ce*

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favour fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

О*гонь и лед*

Кто говорит, мир от огня
Погибнет, кто от льда.
А что касается меня,
Я за огонь стою всегда.
Но если дважды гибель ждет
Наш мир земной, — ну что ж
Тогда для разрушенья лед
Хорош,
И тоже подойдет.

Перевод Михаила Зенкевича
В кн.: *Из американских поэтов.* —
М.: Гослитиздат, 1946

Огонь и лед

Как мир погибнет? От огня
Иль ото льда погибель ждет?
Сомнений нету у меня:
Огонь опаснее, чем лед.
Но если мировой пожар
Земной наш не погубит шар,
То даст достаточно нам льда
Холодная вражда.

Перевод Владимира Васильева
В кн.: Роберт Фрост *Неизбранная дорога.* —
СПб.: Кристалл, 2000. —
(Библиотека мировой литературы. Малая серия)

Огонь и лед

Одни считают, мир погибнет от огня,
Другие говорят, что лед
На нас судьба в конце времен пошлет.
Сгорать от страсти мне привычно,
И я — среди поклонников огня.
Но если мир погибель дважды ждет,
Добавлю, что и ненависти лед
Отлично
Подойдет.

Перевод Леонида Ситника

Огонь и лед

Есть мнение, что мир найдет
Конец в огне.
Другие предлагают лед.
Я помню страсти вкус, и вот —
Смерть от огня по нраву мне.
Но знал я в жизни и вражду,
И понимаю, что в войне
Конец во льду
Хорош вполне.

Перевод Льва Оборина

Огонь и лед

Кто говорит, что мир сгорит,
Кто говорит — остынет.
От страсти я сгорал и сам,
Огню я первенство отдам,
Но если мир не сразу сгинет,
Я с ненавистью ледяной
Знаком: вот выход запасной,
И я вас уверяю, лед
Не подведет.

Перевод Марины Бородицкой

Огонь и лед

Замерзнет мир или сгорит —
Два мнения у мудрецов.
Не знаю, что мне больше льстит.
Я бы избрал в конце концов,
Скорее, огненный финал.
Но если льдом захочет Бог
Закончить — кто бы возражал?
Огонь хорош,
И лед неплох.

Перевод Григория Кружкова

D*ust of* S*now*

The way a crow
Shook down on me
The dust of snow
From a hemlock tree

Has given my heart
A change of mood
And saved some part
Of a day I had rued.

Снежная пыль

Ворона в небо
С ветвей взлетела
И в хлопья снега
Меня одела.

И полегчало
Мне под лавиной —
Не все пропало,
А половина!

Перевод Виктора Топорова
В кн.: Роберт Фрост *Неизбранная дорога.* —
СПб.: Кристалл, 2000. —
(Библиотека мировой литературы. Малая серия)

Снежная пыль

Полет вороны,
В безмолвье дня
Стряхнувший с кроны
Снег на меня,

Согрел мне душу,
Ободрил ум
И чуть нарушил
Ход скучных дум.

Перевод Леонида Ситника

Снежная пыль

На ветке небрежно,
Расправив два крыла,
Ворона пылью снежной
Меня обдала,

И это примирило
С прошедшим меня
И сердцу сохранило
Остаток дня.

Перевод Льва Оборина

Снежный прах

Ворона ветку
Качнула взмахом,
Меня осыпала
Снежным прахом

И скрылась в чаще,
Взглянув без страха, —
И день пропащий
Восстал из праха.

Перевод Марины Бородицкой

Горстка снега

То, как на плечи мне
Ворона
Стряхнула снег,
Взлетая с клена,

С души моей
Стряхнуло сон —
И день погибший
Был спасен.

Перевод Григория Кружкова

The Cocoon

As far as I can see this autumn haze
That spreading in the evening air both ways,
Makes the new moon look anything but new,
And pours the elm-tree meadow full of blue,
Is all the smoke from one poor house alone
With but one chimney it can call its own;
So close it will not light an early light,
Keeping its life so close and out of sight
No one for hours has set a foot outdoors
So much as to take care of evening chores.
The inmates may be lonely women-folk.
I want to tell them that with all this smoke
They prudently are spinning their cocoon
And anchoring it to an earth and moon
From which no winter gale can hope to blow it, —
Spinning their own cocoon did they but know it.

Кокон

Осенняя мгла плывет над травой,
Наливая вяз во дворе синевой,
Поднимаясь вверх, словно дым,
Месяц делая на небе молодым.
И, похоже, туман голубой
Плывет из дома с одной трубой.
В нем ставни закрыты, не виден свет.
Живет ли там кто-нибудь или нет?
Никто не покажется из дверей,
Чтобы на ночь прибрать во дворе,
Никто не глянет из темных окон,
Но кто-то прядет этот дым, как кокон.
Наверное, женщины, и они,
Мне кажется, там живут одни.
Оттого туман и встает стеной,
Что, растянув меж землей и луной,
Чтоб не сорвал его ветер,
Они плетут вечер.

Перевод Леонида Ситника

Кокон

Я понял, что такое этот дым,
Который воздух делает седым,
Который старит новую луну
И льет в лесистый дол голубизну.
Он может лишь из той лачуги течь,
Где зажжена единственная печь.
Не загорится раннее окно.
Жизнь затаилась, залегла на дно —
Ее за дверь не выгоняет труд.
Наверное, здесь женщины живут,
Безмужние — а будь я им знаком,
Я им сказал бы, что своим дымком
Они себе вьют кокон в вышине,
Один конец к земле, другой — к луне,

Откуда ветры пряжи не сдувают,
Свивают кокон и о том не знают.

Перевод Льва Оборина

Кокон

Похоже, этой призрачною дымкой,
Что в сумерках осенних невидимкой
Скользя, туманит юную луну
И на поляну льет голубизну,
Одела мир одна труба печная;
К ней прилагалась хижина лесная:
Уже почти стемнело, но пока
В оконцах не зажглось ни огонька,
Никто с ведром во двор не вышел — или
Хотя бы на крыльцо. Но печь топили.
Быть может, в доме женщины — одни?
Я лишь сказать хотел им, что они
Вокруг дверей, и стен, и темных окон
Из дымных нитей вьют надежный кокон:
К луне привязан, прикреплен к земле,
Незыблем будет он в предзимней мгле.

Перевод Марины Бородицкой

The Investment

Over back where they speak of life as staying
('You couldn't call it living, for it ain't'),
There was an old, old house renewed with paint,
And in it a piano loudly playing.

Out in the plowed ground in the cold a digger,
Among unearthed potatoes standing still,
Was counting winter dinners, one a hill,
With half an ear to the piano's vigor.

All that piano and new paint back there,
Was it some money suddenly come into?
Or some extravagance young love had been to?
Or old love on an impulse not to care—

Not to sink under being man and wife,
But get some color and music out of life?

Инвестиция

В городе, где ложатся спать рано,
Старый дом выкрашен без изъяна,
И в нем слышится рьяно
Играющее фортепьяно.

На замерзшем картофельном поле
Звуки разносятся глухо,
И сосед с лопатой вполуха
Слушает поневоле.

Откуда все эти звуки и краски?
Может, богатство вдруг свалилось?
Молодая любовь поселилась?
Или старая с новой страстью

Бьется с тоской быть женой и мужем
Музыкой изнутри и краской снаружи.

Перевод Леонида Ситника

Вложение средств

В поселке, где ветшали день за днем
Дома и люди, всё одни и те же,
Был домик, подновленный краской свежей,
И пианино громко пело в нем.

Какой-нибудь копальщик, враг бурьяна,
Что клубни, извлеченные на свет,
Слагает в кучки (каждая — обед),
Прислушивался к звукам фортепьяно.

Откуда это здесь — и для кого?
Влюбленных дурь, шальные деньги — или
Старик с женою всё, что накопили,
Вдруг отдали — вот так, на баловство,

Чтоб эту жизнь, отмеренную строго,
Раскрасить и озвучить хоть немного.

Перевод Марины Бородицкой

Современное американское эссе

Пенни Вулфсон

Луна восходит

Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

МЫ с Джо, моим мужем, стоим посреди Центра художественной фотографии в Тусоне, штат Аризона, и рассматриваем работу Анселя Адамса под названием “Луна восходит. Эрнандес, Нью-Мексико”. Худенький юноша принес по нашей просьбе три варианта этого знаменитого кадра. Он надевает белые перчатки и осторожно вытаскивает снимки из пластиковых конвертов. Потом открывает проекционный столик и аккуратно, даже нежно, размещает на матовом стекле все три копии. Мы смотрим, а он ждет рядом, чтобы потом повторить всю процедуру в обратной последовательности.

Не знаю точно, где находится этот Эрнандес, Нью-Мексико, но он немного похож на индейское поселение Сакатон, городок в девяноста милях к северо-западу отсюда. Там Джо работает врачом муниципальной больницы, и там мы живем с июля 1983 года. На дворе декабрь. Мы приехали сюда ненадолго, только чтобы посмотреть на знаменитое фото Анселя Адамса. Нам и в голову не могло прийти, что мы увидим столько разных отпечатков одного негатива.

Две трети композиции занимает глубокое черное небо, по которому плывет выпуклая, похожая на воздушный шар, луна. Пейзаж совершенно неземной, и все же природа типична для юго-запада. На горизонте — полупрозрачная полоска облаков, а может, просто игра света. Вершины гор вдали окрашены заходящим солнцем или восходящей луной. И только в нижней части снимка на выжженной земле среди редких деревьев притаились постройки: россыпь глинобитных домишек и такая же глинобитная церковь. По краям деревни то и дело белеют покосившиеся кресты. Поначалу они кажутся просто столбиками с бельевыми веревками, на которых сушатся носки и чулки, и только потом, приглядевшись, понимаешь, что видишь могилы.

Эти отпечатки разительно отличаются от репродукций “Луны...” Отличаются они и друг от друга. Этот — темнее,

© Penny Wolfson, 2004
© Екатерина и Сергей Шабуцкие. Перевод, 2011

этот — контрастнее, этот — зернистее. Неизменным остается смысл произведения, смысл, о котором никогда не забывают люди, живущие на юго-западе: Природа властвует над миром. Человеческая жизнь ничтожна, хрупка и коротка. И все же прекрасна.

Падение, 1998 год

Я приехала в магазин "Гранд Юнион" на Доббс-Ферри в Нью-Йорке с сыном Анселем, ему тринадцать лет. Идет дождь. Ансель так просился со мной, что пришлось уступить, хотя мне ужасно не хотелось брать его электроколяску. В ней — двести фунтов с лишним и закатить ее в мини-вэн непросто, даже по откидному пандусу. Нужно втащить ее в салон, а потом, извиваясь между сиденьями, закрепить ремнями. Уже после первого раза начинаешь бросаться на людей. А поездка в супермаркет означает, что нам предстоит дважды погрузиться и дважды выгрузиться.

Ну да ладно. Все, что нужно, куплено, и мы покидаем магазин. Ансель отказался надевать плащ, потому что плащ носят только маленькие дети, и это не круто. Он боится, что над ним станут смеяться в школе. Может, он и прав, но все равно мокнуть глупо. Впрочем, этот спор, ясное дело, мне не выиграть.

Прежде чем разгрузить тележку, я открываю дверь, чтобы Ансель мог забраться на переднее сиденье — он всегда там ездит, если Джо не с нами. Ансель останавливает коляску у пандуса и начинает с трудом подниматься. Нет, "подниматься" — это слишком просто, поднимается тесто в кастрюле или дым по трубе. Ансель не поднимается. Он с размаху подается вперед и вверх, и, вцепившись в подлокотники, переносит на руки восемьдесят фунтов своего веса. Сгибает левый локоть, приподнимает правое плечо и отрывается от сиденья. Вот он уже почти стоит, согнувшись и опершись на кресло. Пытается удержать равновесие. Топчется на месте, чтобы поставить ноги ровно. Выпрямился наконец. Шатаясь, на цыпочках идет к машине. Сколиозная спина, выпяченный живот, торчащие в стороны локти, растопыренные пальцы.

С равновесием у Анселя так плохо, что его пятилетний брат Тоби легко мог бы сбить его с ног. Иногда Ансель орет: "Сколько раз говорить, чтоб не бросали вещи на пол?! Достали! Я же упаду!" Мы и правда частенько об этом забываем. Он спотыкается обо все что угодно — выбоину на тротуаре, собачью миску, рассыпанный корм, обо все, что можно и нельзя, а иногда и просто на ровном месте. И падает.

Вот и сейчас он падает на площадке перед магазином. Может, потому что асфальт мокрый. Падает на узеньком пятач-

ке между нашей и соседней машиной. Он падает, дождь льет, а я швыряю в багажник пакеты с продуктами.

— Мам! — он чуть не плачет. — Я упал.

Всякий раз, как это происходит, в его голосе появляется такое отчаяние, такая злость, такая беспомощность. Ему кажется, что я ничего не слышала.

Почему я вдруг так рассердилась? Откуда это внезапное раздражение? Неужели я в самом деле такая гадина, такая плохая мать, что не могу оторваться от пакетов и помочь сыну? Чего я бешусь?

— Подожди секунду, — говорю я. — Сейчас подойду.

Он сидит в луже между машинами. Тренировочные штаны наверняка уже промокли насквозь. И коляска у пандуса тоже. Ее надо загнать в машину. Обивка нейлоновая, потом придется сушить.

Мимо нас катит тележку блондинка средних лет.

— Вам помочь?

"Ты нам не поможешь", — думаю я. Это и правда, и неправда. Мне гораздо проще поднять его самой. Двоим тут развернуться негде, да еще и с Анселем в придачу.

Стиснув зубы, я улыбаюсь.

— Нет, не надо, спасибо большое! Я сама.

Люди почему-то очень расстраиваются и удивляются, когда видят, как он падает. У них на глазах человек складывается без всякого предупреждения. Откуда им знать, как слабы его мышцы, как разболтаны тазобедренные суставы. Наверное, так падают, получив удар под дых. Не знаю, не пробовала. Ноги подгибаются без видимой причины, и Ансель оказывается на земле.

Тетка меня услышала, но все равно торчит поблизости. Стоит со своей тележкой и смотрит то на Анселя в луже, то на пакеты, то на меня. Понятно, что она просто хочет помочь. Я и сама чего-то жду от нее, может, сочувствия? Признания, что я лучше? А больше всего мне хочется, чтобы она ушла. "Хватит пялиться!"

— Мам! Ну где ты?!

Я отворачиваюсь, тетка исчезает.

— Иду!

Пытаюсь протиснуться между машинами и поднять Анселя. Его нужно уметь поднимать: подходишь сзади, хватаешь под мышки, толкаешь вверх, чтобы ноги оторвались от земли и ставишь так, чтобы ступни оказались в строго определенном положении.

Я в хорошей физической форме, но Ансель не просто тяжел. Обычно дети помогают вам, обнимают вас за шею, они подскакивают сами, только чуть приподними. Ансель висит мешком, да еще лангетки, да еще набрякшие штаны

и кроссовки. Не удержать. Ноги разъезжаются на мокром асфальте.

Хаос, 1999 год

Район вокруг медицинской академии Нью-Йорка, конечно, не трущобы, но и не центр Манхэттена. Утро. Серое и дождливое. Я паркуюсь в гараже музея Метрополитен и иду по Мэдисон мимо дорогих магазинов. "Банана репаблик", "Энн Тейлор", французские булочные, мясные лавки, магазинчики с европейской детской одеждой. В витринах — платьица с ленточками и вышитыми вручную кокетками. Ближе к 96-й улице и больнице "Маунт Синай", пейзаж меняется. Все вокруг старое и потертое. С лотков торгуют подержанными книжками, батарейками, кепками с надписью "Янки", дешевыми шарфиками, синтетическими шапочками, сумками за пять долларов. Чернокожий толстяк тяжело опирается на палку, усталые сотрудники больницы выходят из вращающихся дверей, женщина несет костыли.

Анселю было три года, когда врачи поставили диагноз: мышечная дистрофия Дюшенна. Одиннадцать лет назад. Эта болезнь стремительно разрушает мышечную ткань. Ее жертвы оказываются в инвалидном кресле к десяти годам. Исход один — ранняя смерть. Как и гемофилия, болезнь передается сыновьям здоровой матерью. Я выросла в большой семье, в которой на протяжении двух поколений рождались одни девочки. Так что узнать о существовании мутировавшего гена, который не позволяет организму вырабатывать нужное количество протеина, мы никак не могли. Носителями были все — моя мать, сестра и я сама. Никто не подозревал о такой наследственности.

Мы с Джо назвали сына, зачатого и рожденного́ в Аризоне, Анселем в честь великого фотографа Анселя Адамса, чьи работы мы так любили. Адамс умер в год, когда родился наш сын. Имя казалось нам вполне подходящим. Все вокруг твердили, что Ансель красивый, как с картинки. Золотистые волосы, большие глаза, любопытные, но удивительно спокойные, телосложение футболиста. Два года он развивался нормально, всему учился вовремя, по возрасту. Ансель рос обаятельнейшим, очаровательнейшим мальчишкой и, по всей видимости, очень одаренным. И вдруг воспитательница в детском саду заметила, что у него нарушены речевые и моторные навыки. Он не мог освоить простейшую грамматику, не мог подняться по лестнице. Мы отказывались признавать, что он задерживается в развитии. Так трудно было осознать, что этот чудесный малыш, само совершенство, вовсе не так уж совершенен. Что он физически неполноценный, и с возрастом эта неполноценность будет только увеличиваться.

Лишь через год мы поняли, что он не такой, как все. Показали его врачам, и те поставили диагноз. И хотя с тех пор мы десятки раз бывали в больнице и научились справляться со всеми сопутствующими явлениями его болезни, только через одиннадцать лет у меня хватило духу прийти сюда, в медицинскую академию, и постараться понять, что ждет Анселя в будущем. В будущем, принять которое я была не готова.

В огромном читальном зале тихо, на стене позади меня — выцветший гобелен. Под гигантской люстрой стоит длинный дубовый стол, с полок глядят бюстики великих ученых. Я волнуюсь. Сижу за столом и жду заказанные книги. По-моему, вполне справедливо, что Луи Пастер здесь на голову выше тех, кто знает меньше него.

Но даже Пастеру не удалось бы вылечить мышечную дистрофию. Не удалось бы и французскому неврологу Дюшенну.

Молоденькая библиотекарша приносит книги.

Я открываю том Алана Эмери "Мышечная дистрофия Дюшенна", и мир вокруг меня исчезает. Я читаю между строк, текст завораживает. Впервые за одиннадцать лет я вижу фотографии мальчиков на разных стадиях болезни. Толстых мальчиков и высохших, похожих на жертв Освенцима. Спины искривлены, тонкие ручки и ножки висят плетьми. Вот фотография малыша с неестественно большими мышцами, он напоминает культуриста-карлика, надувную куклу, воздушный шарик. У многих детей даже не закрыты лица. На голых телах отчетливо видны все изменения, которые принесла с собой болезнь. Видеть эту беззащитную наготу неприятно. Недоразвитые гениталии показаны во всех подробностях. Дома я не часто вижу сына голым. Мне заметны лишь внешние признаки атрофии — вздувшиеся вены на ляжках, синяки на ногах, скрюченные пальцы, спина, которая искривляется все сильнее, пятки, которые теперь не достают до пола. Я вижу лишь его лицо. Щеки набухли от стероидов, но для меня он все так же красив. Внимательные глаза, полные любопытства, изогнутые брови, упрямый рот, который так часто кривится от раздражения или неприязни, но и так часто смеется, прямой широкий нос с едва заметными веснушками, чудесные каштановые волосы.

Некоторые страницы я проглядываю быстро — мы уже прошли ранние симптомы. С возрастом, говорится в этой книге, регресс становится все более очевидным. Позвоночник деформируется, сдавливая грудную клетку, мышцы, отвечающие за дыхание и биение сердца, ослабевают, и в конце концов ребенок задыхается. Реже останавливается сердце. Так погибают все с болезнью Дюшенна, обычно годам к двадцати пяти.

Каждый вечер Ансель ковыляет по коридору между спальней и гостиной, заставляет себя ходить. Руки в карманах шта-

нов, чтобы легче было сохранять равновесие, челюсть выдвинута вперед, походка шаркающая, он идет на цыпочках, припадая на правую ногу. Просто неслыханно — мальчик с болезнью Дюшенна в пятнадцать лет еще может ходить. Поразительно, говорю я ему, просто поразительно — и он падает в кресло. Мы знаем, так будет не всегда, и тихонько скрещиваем пальцы.

Утро воскресенья. Я встаю, спускаюсь на кухню, ставлю воду для кофе. Оказывается, вчера Джо починил шкафчики — их дверцы поотлетали, потому что Ансель часто задевал за них колесами. Несколько недель шкафчики стояли открытыми, и каждый мог насладиться царящим там беспорядком. В субботу Джо наконец починил их, просверлил новые дырки, повесил новые дверцы. Немножко криво, словно зубы у школьника, но ничего, все-таки держатся.

Нет, на одной дверце уже опять оторвалась петля. А внутри — тьма и хаос.

Луна восходит, 2000 год

Мы с Анселем на 165-й улице, в Вашингтон-хайтс, идем к невропатологу. Я забрала Анселя из школы, и он сказал, что любит меня. Он так каждый день говорит. Паркуемся на нижнем этаже стоянки. Вообще-то это запрещено, но у нас табличка "Инвалид" на стекле, и нам разрешили.

Когда-то мы с Джо жили в этом районе, в общежитии возле башен-близнецов, с видом на мост Вашингтона. Мы тогда только поженились. С соседями не ладили, да и друг с другом тоже, и все-таки это был наш первый дом, и с ним связано много воспоминаний. Утренние лекции, анатомичка, воскресные вечера, когда я разыскивала Джо, а они с его приятелем Питером в это время готовились к экзаменам в тихом закутке библиотеки. Сверкающий белизной мир пресвитерианской больницы Колумба, через который я возвращалась домой из метро. Парня моей сестры, микробиолога из той же больницы, пырнули ножом в сердце на станции метро недалеко отсюда. Его спасли, потому что быстро привезли в приемное отделение, но на месте удара остался страшный уродливый шрам.

Хорошие воспоминания тоже есть, в основном они связаны с едой. Поджаренный тост в кофейне у гавани, козий сыр из молочной лавки за углом (остатки былой роскоши еврейской общины), старая-престарая забегаловка у форта Вашингтона, где делали вкусные коктейли из содовой и шоколадного мороженого. Здесь, в нашей комнате, мне удалось устроить для Джо сюрприз — вечеринку в честь его дня рождения, даже торт ухитрилась испечь незаметно. И здесь же мне пришлось сказать ему, что его отчим неожиданно умер в сорок восемь лет от инфаркта.

Нам полагается показываться доктору Девиво по крайней мере раз в год. Прошло больше года. Нас оставляют в пустой приемной, Ансель делает задание по математике, а я листаю журнал "Здоровые дети". Появляется Джо, в костюме, поскольку он сейчас старший терапевт в католическом медицинском центре (клиники в Бруклине и Квинсе), и секретарша говорит, что мы не там ждем. Еще двадцать минут сидим в другой приемной, где полно народу. Маленький мальчик в детской коляске плачет, он устал и перевозбудился, мать утешает его на иностранном языке. У него на ножках малюсенькие лангетки. Не могу понять, что с ним. Я никогда не спрашиваю, что с ребенком, хотя очень хочется знать. Но уж очень это похоже на "А ты за что сидишь?"

Приходит Девиво, постаревший, поседевший, пополневший. Его не узнать — давно не виделись. Но раз в белом халате и всеми командует, значит, он. Мы идем за ним в большой кабинет в конце коридора. Я хорошо помню, что в последний раз Ансель прошел всю дорогу от приемной до кабинета сам. И помню, как удивленно вытянулось лицо врача: надо же, четырнадцать лет, а ходит. Теперь Ансель едет в коляске, и уже моя очередь удивляться — еще так недавно он мог пройти это расстояние.

Девиво устраивается за большим столом, мы втроем садимся напротив. Я вдруг вспоминаю, что Джо почти провалил неврологическую практику в институте. Очень уж ему не нравились невропатологи — высокомерные наукообразные зануды. Девиво сдержан. Он обращается к Анселю, расспрашивает его о школе, об уроках игры на кларнете (сам он играет на тромбоне). В ответ слышно обычное подростковое бурчание. Врач переходит к делу:

— Скажи, пожалуйста, появились ли какие-нибудь изменения по сравнению с прошлым годом, когда ты приходил ко мне?

— В кресле стал больше сидеть, — отвечает Ансель. — Встаю раза три-четыре в день, чтобы размяться, делаю несколько шагов. И все. Больше не могу.

Никакой печали в голосе. Он просто излагает факты. Только врач и мы с Джо знаем, как это печально. Я помню Анселя пятилетним. Он потащил меня в магазин, потому что ему вдруг захотелось испечь печенье, и мы искали формочки для теста. Ансель шел медленно, но ведь шел всю дорогу, километр туда и обратно.

С минуту мы молчим. А что тут скажешь? Все хуже и хуже. Ансель умрет. Даже если процесс удастся замедлить, остановить его невозможно. Это не начало жизни, это конец. Изменить ничего нельзя.

Одно хорошо: Ансель говорит, а мы с Джо слушаем. Он больше не ребенок, для нас важно его мнение. От него ждут от-

ветов на вопросы. У него уже взрослый басок, и над верхней губой пробиваются усы. Ансель обсуждает с невропатологом курс лечения, выбирает лекарства (согласен ли он принимать три таблетки энзимов в день, а не одну, как раньше). Они выясняют, как организм реагирует на диету с низким содержанием соли и жиров.

Джо, Девиво и Ансель выходят в соседнюю смотровую. Ансель не может взобраться на кушетку для маленьких детей. Я остаюсь в кабинете — сыну не хочется, чтобы я видела, как доктор его щупает, не хочется отвечать при мне на личные вопросы. Мне тоже не хочется видеть, как жировые складки нависают над резинкой его трусов, видеть страшные мозоли на ногах, видеть, как он снимает лангетки, ботинки, носки. Я лучше полистаю журнал, полюбуюсь на роскошные интерьеры, прочитаю названия книг на полке, поразглядываю фотографии спортивных яхт (наверное, врач ими увлекается). За давно не мытыми окнами наш родной квартал. Чудно вот так смотреть из настоящего в прошлое, когда Анселя еще и в проекте не было. Почему я не могу представить себе будущее без него?

В воскресенье днем мы с Джо шагаем по улице. Черемуха уже зацвела, повсюду висят желтые грозди. Небо темное, только над скалами у Гудзона полоска света. Джо расспрашивает, о чем я пишу. О том, как Ансель одновременно взрослеет и деградирует, о том, как неестественно, что человек начинает умирать тогда, когда его жизнь в самом расцвете.

Джо сердится, он не согласен.

— По-твоему, если жизнь не такая длинная, как у всех, то это неестественно? Тогда гомосексуализм тоже неестественен? — Глаза за стеклами очков пылают гневом. — Что тут неестественного? Природа задумала такой порядок вещей, это природная генная мутация. Так бывает.

— Значит, тебе все равно, что Анселю хуже? — Я почти в слезах.

Джо сердито выдыхает.

— Конечно, не все равно. Я только не понимаю, почему смерть молодого человека трагичнее, чем смерть старика? Что, Анселю должно быть тяжелей умирать, чем девяностолетнему деду, который ничего в жизни не сделал и не добился? И потом, Ансель жив. Я не могу оплакивать его заживо. И я отказываюсь считать свою жизнь трагедией.

— Ну вот, об этом я и пишу, — отвечаю я. — Жаль, что ты не видишь в этой ситуации ничего печального.

Десять минут я не могу выдавить из себя ни слова. Мы поднимаемся по улице к супермаркету, от обиды я даже не смотрю на мужа. Как у него язык поворачивается говорить, будто умирающий ребенок не разрывает его сердца? А как же

тот восьмилетний мальчик, Заки, сынишка его коллеги по работе? Умер от опухоли мозга. Неужели его смерть не печальней, чем смерть моего отца в семьдесят два года? Отец прожил достаточно долго. А Заки недостаточно.

Мы поднимаемся на вершину холма. Я думаю о родителях Заки, правоверных евреях. Семь дней они сидели в квартире и смотрели на коллекцию бейсбольных карточек сына. Гнев уходит. Разумеется, Джо страдает, как страдаю и я. Он пытается отыскать хоть какой-то смысл в этом страшном невезении, пытается найти утешение, ведь умирает его первенец. Ему просто нужна моральная поддержка. Джо привык к потерям — сначала отец, потом отчим и мать, и все ушли молодыми, всех их он любил. Ему просто нужно успокоить себя, объяснить, почему мы умираем. Так часто успокаивают себя дети. Джо — моя вторая половина.

Через полгода Ансель сможет получить права. В сентябре ему исполнится шестнадцать. В штате Нью-Йорк дети становятся взрослыми в шестнадцать. Мы еще не выясняли, какие надо собрать документы в автошколу, и Джо не понимает, как Ансель сможет управлять машиной, и все же мы с сыном говорим об этом, как о чем-то очевидном. Я отдам ему свой мини-вен, в который помещается коляска, а себе куплю красную "миату", я о ней всегда мечтала. Ансель не так увлечен автомобилями, как его сверстники, и все-таки, когда однажды мимо нас проехала желтая, словно такси, "шевроле-камаро" шестидесятых годов выпуска, он вытаращил глаза и мечтательно вздохнул, едва машина скрылась за поворотом. Да, Ансель готов водить.

В книгах о мышечной дистрофии описаны три стадии: начало болезни, инвалидное кресло, смерть. Скоро Ансель уже не сможет обходиться без коляски. Скорее всего, в шестнадцать лет, он уже не будет передвигаться самостоятельно.

Почти каждую ночь у меня случаются панические приступы. Меня будит малейший шорох. Дочка Диана заходит в нашу комнату, чтобы узнать, который час. Я сажусь в кровати, и внезапно наваливается ужас. По-другому и не назовешь. Я моргаю — мне кажется, что я ослепла. Тру пальцы на ногах — а вдруг меня парализовало? Щупаю пульс, но от страха не могу сосчитать удары. Я словно отделилась от тела, меня несет по длинному коридору, я тону. В общем, примериваю на себя всевозможные описания смерти.

Семь лет назад, когда я рожала Тоби, медсестра сделала мне укол обезболивающего, и вот тогда со мной случилось то же самое. Я сжимала руку Джо — так утопающий цепляется за спасателя. Снова и снова спрашивала: "Я точно не умру?" Мне про-

сто нужно было слышать собственный голос и голос Джо. И думала: какая глупость — умереть, давая жизнь другому.

Сердце стучит в висках, а холодная кровь по-прежнему плавно течет по венам. Все, я наконец слетела с катушек. Страх нарастает. Я одеваюсь, чтобы не терять времени, если понадобится вызывать "скорую" и ехать в больницу. Сижу на краю кровати, уверенная в том, что обречена, и вдруг спрашиваю себя: может, я пытаюсь пережить собственную смерть вместо Анселя? Приношу себя в жертву?

Середина марта. Я разрываюсь — столько дел. Мы сидим на складных стульчиках в церкви всей семьей. Для концерта отдали одну из больших задних комнат, зрители заходят через сцену и садятся в "партере". В концерте будет принимать участие Ансель. На сцену он проехать сможет, но не сможет спуститься в зал, так что Джо придется отнести его на место рядом с нами. Выступает сборный оркестр музыкальной школы.

Рассаживаются духовые. Ансель кажется выше остальных ребят, хотя на самом деле он совсем маленький. В первый раз наш сын будет играть в инвалидном кресле. Обычно Ансель переползает на стул, но перерывы между выступлениями совсем маленькие, и ждать никто не будет. Я смотрю на сына, который появляется и исчезает за спиной дирижера. Ансель изо всех сил надувает толстые щеки, словно трубач Диззи Гилеспи. Сын очень любит играть на кларнете. Когда в пятом классе начались уроки музыки, он сам выбрал этот инструмент. Джо был против. "Какой в этом смысл, — спрашивал он, — если все равно потом разовьется легочная недостаточность? Он всего-то пару лет поиграет, а столько расстройства потом будет". Ансель, как всегда, настоял на своем, и слава Богу. Кларнет — это тебе и дыхательная гимнастика, и удовольствие. Вполне возможно, что именно потому его легкие все еще в отличной форме.

Пока Ансель занимался в обычной школе, дело шло туго, но как только мы записали его в музыкалку, он сразу начал играть хорошо. Учительница ему попалась талантливая, и мальчик занимался прилежно. Играл день и ночь, ошибался, и снова играл, играл, играл. И добился великолепного звучания. Иногда, когда Ансель не закрывает дверь в свою комнату, я наслаждаюсь концертом для кларнета Вебера или сонатой Гиндемита. Мой сын, конечно, не виртуоз, он берет усердием, но усердия его хватает с лихвой. Он научился решать трудные задачи и радоваться красоте решения.

Ансель — украшение концерта, и все же я не могу не расстраиваться из-за того, что он в кресле. Это поражение, которое чувствуется особенно остро тогда, когда сердце переполнено любовью. Стоит ребенку начать пользоваться коляской, как его грудная клетка и легкие сжимаются. И первой уходит

сила выдоха. Я очень стараюсь не плакать, очень стараюсь радоваться успехам сына, любоваться его сосредоточенным, упрямым, вдохновенным лицом, и все же в глазах стоят слезы. Я поправляю очки, чтобы Диана ничего не заметила. Она все равно замечает.

— Мам, ты что, плачешь? — Я отрицательно качаю головой. — Из-за Анселя? — шепчет она.

Я киваю и молча обнимаю ее за плечи. Голые, прохладные плечи подростка. Я взвалила на них слишком тяжелое бремя. Мы прижимаемся друг к другу. После выступления Анселя садится рядом со мной, а Диана пересаживается на пустой ряд. Джо повел Тоби на улицу: тот ныл, что ему скучно. Оркестр "Фестиваль" играет Баха. Очень неплохо играет, хотя их дирижер нервно и непрофессионально машет руками. Публика собралась на редкость чопорная и серьезная. А мы с Анселем прихлопываем и подтанцовываем в такт музыке. Ближе к концу Ансель шепчет:

— Ты заметила, что кроме нас вообще никто не двигается?

Заметила.

Я все время ношу с собой письмо от знакомой знакомых. Ее мальчик умер от болезни Дюшенна в двадцать четыре года. Я с этой женщиной ни разу не встречалась, и все же она мне близка. Парнишка держался до последнего, наверное, был такой же боец, как и Ансель, иначе бы столько не прожил. "Мой сын для меня был центром Вселенной, — писала она. — А теперь я похожа на даму с картины Хоппера[1] "Утро на Кейп-Коде". Смотрю в окно на море и не знаю, что будет дальше".

Мы не видели Анселя почти все выходные. Он занимается в кружке моделистов в соседней школе вечером по пятницам, всю субботу и утром в воскресенье. Мы не привыкли к тому, что сына нет дома, и нам с Дианой грустно. Главный вопрос, который я себе задаю, не что мы будем делать, когда сын уедет в колледж — а вот так и будет, когда он умрет?

"Как-то уютнее, когда Ансель тут", — говорит Диана.

А я вспоминаю, как он родился. Звук был такой, будто открыли бутылку шампанского. Думаю о его имени, уменьшительном от Ашера, что на иврите значит "Счастливый".

Мы рассуждаем, почему с Анселем так весело.

— Просто он сам веселый, — считает Диана, что довольно странно, поскольку Ансель — еще и ужасный нытик.

— Он выдумщик, — вставляю я. — Помнишь, как он сочинил историю про монстра-подростка? Про то, что он никого

1. Эдвард Хоппер (1882–1967) — американский художник, выдающийся представитель жанровой живописи. (*Прим. перев.*)

не мог испугать как следует, потому что ему в крови "страшилотонина" не хватало?

— Он думает не как все, — говорит Диана.

И правда, я всегда считала, что Ансель — мастак делать неожиданные выводы из обычных фактов. Бывает, обсуждаем что-нибудь самое обыкновенное. Ну, например, что "Омар" — единственное заведение, в котором можно поесть в Хемптоне. И кажется, тема уже исчерпана, и речь уже идет совсем о другом. Скажем, о книге, которую мне велели прочитать на курсе психологии, или о том, что Тоби скучно учиться во втором классе. Но через полчаса, а иногда и через полдня Ансель скажет: "Есть же еще этот мексиканский ресторанчик". И так, словно бы мы и не прекращали говорить на эту тему. И боится он забавных вещей. Например, что начинается глобальное потепление, всякий раз, как зима теплее обычного. Все вокруг радуются солнышку, а Ансель переживает. И еще переживает, что много переживает. "Может, не стоит переживать?" Он так на меня похож, и на моего отца тоже, даже смешно.

Я понимаю, что Ансель свободнее нас. Это потому, что у него меньше времени. На следующий год он решил записаться на экспериментальную программу для одаренных детей, несмотря на то, что сейчас он занимается по обычной. Будет учиться кулинарному искусству, так ему захотелось. Он и правда все время думает о еде. Может часами говорить о вкусе апельсина или финика. Ансель выбрал "изысканные блюда" темой сочинения на уроке английского. Написал о том, как трудно отыскать трюфели, о том, как фасуют икру, о том, как приятно наблюдать за работой продавцов в дорогой кулинарии. Ансель прилежно читает все статьи о ресторанах в "Нью-Йорк таймс" и выписывает кулинарный журнал.

И плевать ему на то, что остальные предметы пойдут лесом, ведь вместо них каждое утро он будет заниматься кулинарией. Не хочет он еще год учить физику, хотя для аттестата и поступления в колледж физика гораздо важнее. Он не может позволить себе терять время. Ансель, его завуч и я собираемся на совещание. К нам присоединяется директор экспериментальной программы. О решении Анселя он узнал последним. "Зачем я буду делать что-то, если это мне неинтересно", — говорит мой сын. Директор рассказывает о программе по кулинарии. Там надо все время работать руками. Ансель тихо улыбается.

— Нечасто я вижу его в таком настроении, — говорит завуч.

Всем ясно, что Ансель будет заниматься в этом классе. Поскольку программа муниципальная, школе придется предоставить Анселю помощника, чтобы снимать горячую кастрюлю с плиты и для прочей ерунды. Мальчик доволен, хотя он

пропустит и физику, и химию, и французский, и математику — все эти уроки идут по утрам. Я очень беспокоюсь. Надо остаться, чтобы поговорить с завучем.

— Может, ему хватит года на кулинарию вместо двух?

Ансель хочет приступить к учебе с сентября, с одиннадцатого класса, но мне кажется, было бы лучше, если бы он подождал до двенадцатого, выпускного.

— Вообще-то, я и имела в виду один год, — отвечает завуч. — В одиннадцатом классе.

— Почему в одиннадцатом? — я удивлена.

— Ну, во-первых, во второй половине дня английский и история, они ему нужнее. А во-вторых...

Я знаю, что во-вторых. Она ждет, когда я скажу это сама:

— Мы не знаем, как он будет двигаться через год. Вполне возможно, в двенадцатом классе Ансель уже не сможет пройти этот курс.

Мы с давней подружкой собрались пообедать. В ресторан идем пешком, и она всю дорогу трещит без умолку о рассказе, который пишет. А у меня слезы к горлу подступают. Я уже две недели не сплю — болит плечо, позвоночный диск сместился. Вчера на кухне мы учинили разгром, вернее, ремонт, чтобы Анселю удобнее было передвигаться. Теперь из каждой половицы торчат гнутые гвозди.

Подруга рассказывает про последнюю встречу с психотерапевтом. Он спросил ее, чего бы ей хотелось. Прямо, как в жизни.

— Хотелось, — фыркаю я, и тут меня прорывает. На весь китайский ресторанчик на Третьей авеню я кричу: — Кому какое дело, чего бы мне хотелось? — Реву, злюсь и сама пугаюсь этой неприкрытой злости. — Я хочу, чтобы мой сын дожил до старости. И что теперь? — последние слова даются с трудом, язык словно распух, горло саднит. Зачем вообще чего-то хотеть?

Два сна преследуют меня. В первом — две встречные машины несутся по нашей полосе. Мы видим их издалека, но останавливаться поздно. Машины врезаются в поток перед нами, я вижу, как вылетают через лобовые стекла водители, как корежится металл. Но мы целы. Просто объезжаем этот ужас и едем дальше. Даже не останавливаемся. А что тут можно сделать?

Во втором сне мы с Анселем идем по пустыне и набредаем на каньон в красных скалах. Не то, чтобы нас это сильно удивляет, потому что мы его и искали. Вход в ущелье закрыт огромным камнем, и что там, дальше, мы не видим. Пробираемся внутрь и вдруг слышим плеск воды, видим песок, пляжные зонтики. Перед нами океан. Ансель может ходить. Мы раскладываем на песке полотенце. У нас с собой еда, мы садимся обедать.

Хрустящая французская булка, пармезан из любимой сырной лавки, тонкие ломтики манго. Мы счастливы.

Вечером Ансель пересаживается из-за стола в коляску. Его ноги дрожат. В доме царит хаос — микроволновка, холодильник и обеденный стол переехали в гостиную, потому что на кухне идет ремонт. На книжных полках расположились шурупы, куски утеплителя, сахарница, столовое серебро в синем мешочке (купили когда-то в "Блумингдейле"). Тут же — банка из-под леденцов (в ней скрепки), скотч, гвоздодер, бисер, обломки игрушек, карточки с покемонами и фишки из "Монополии".

После ужина Ансель сидит за столом, пьет чай и читает "Остров сокровищ". Читает с трудом, во-первых, потому что язык устарел, а во-вторых, потому что Тоби и Диана все время ему мешают — им скучно. Я тоже читаю, в соседней комнате. И вдруг слышу, как Ансель кричит и всхлипывает: "Хватит, да хватит же, сил моих больше нет, хватит!" Это уже не крик человека, это скорее визг животного. Вбегаю в гостиную. Ансель лупит чашкой по столу. От ужаса я не могу двинуться с места. Он отшвыривает чашку и монотонно бьется лбом о столешницу.

— Что случилось? — ору я на Диану. — Что ты сделала?

— Да ничего я не сделала! — орет она в ответ. — Он опять рыгал, он всегда так делает! Я ему сказала, что рыгать — отстой, а его взбесило! Блин! Вечно я у тебя виновата!

Ансель продолжает визжать:

— Я идиот! Я идиот! Я рыгаю, потому что я идиот!

Толстые щеки покрылись пятнами, он задыхается, и визг переходит в хныканье. Мне стыдно. Я начинаю понимать, что случилось. Обычная ссора между братом и сестрой. Вот только кончилась она необычно. Пятнадцатилетний парень повел себя, как трехлетний.

— Неси его в комнату, — говорю я вбежавшему Джо.

Перед сном я спрашиваю Анселя:

— Ну что, выплеснул? И как тебе? Как будто на другой планете, да? У меня в детстве были такие истерики, и мне казалось, что я на другой планете.

Мне давно известно, что гнев живет в запертом ящичке, и, когда он вырывается наружу этакой белой молнией, становится легче.

— Не знаю, — отвечает сын. — Мне просто кажется, если долго орать, перестанешь сердиться. Я из себя злобу выдавливаю.

— А что, в тебе столько злобы? На что ты злишься?

— Мам, ну пожалуйста! — он отворачивается. — Хватит уже об этом.

Ансель возвращается из школы расстроенный.

— Боюсь умирать, — говорит он.

И что на это скажешь? Я что, самая умная, чтобы знать все ответы? Я устала, я сама боюсь умирать. Иногда, превышая скорость по дороге домой, я думаю: что будет с детьми, если я умру? И каждый раз вижу лицо Анселя. Он не простит.

Тогда я ему ничего не ответила. А вечером, собирая кларнет, он вдруг трагически взвывает:

— У меня настроение ни к черту, а вам наплевать! — Вот теперь отступать уже некуда. Захожу к нему. Он продолжает: — И с утра было паршивое, а тут еще биологичка записала на доске "стадии отчаяния". Мы сейчас смерть проходим. Совсем тошно стало. А потом вообще показали куски из "Списка Шиндлера".

— Про девочку в красной куртке, которая ходит по гетто? Которую потом застрелили? — Может, он из-за этого расстроился?

Ансель поворачивается ко мне.

— Ее не застрелили, мам. Она спряталась в бараке.

— Застрелили, Анс. В конце концов ее застрелили.

— Не-а. Ты забыла, мам.

Не хочется с ним спорить, хотя я точно знаю, что права. Удивительно, как он умеет отрицать очевидное. Джон Бах, врач, написал в своей статье: "Успешность процесса адаптации не зависит от адекватности восприятия реальности".

Сегодня утром я смотрела на Тоби, пока он одевался. Ему семь с половиной. Маленький, стройный. Фигурка танцора. Широкая грудь, такая, какая и должна быть у мальчишки, прямая спина. Ансель тоже должен был стать красивым, может, даже еще красивее. Есть его фотография, летом, до того, как он начал принимать преднизолон, чтобы замедлить дистрофию. Он тогда еще мог, хоть и с трудом, подняться на крыльцо, не держась за перила. Темно-сиреневая футболка, загорелая мордашка. Очень симпатичный молодой человек одиннадцати лет от роду. Не было еще огромных щек, они появились от гормонов. И коляски еще не было. Сыночек. Красивый мой сыночек.

Мы с Анселем сидим в гостиной. Уже поздно. Все разошлись — спать. Он выполняет ежедневное упражнение: упирается ладонями в диван и сгибает-разгибает голеностопы, чтобы не укорачивались ахилловы сухожилия. Чтобы как можно дольше сохранять подвижность. День выдался тяжелый, и мальчик очень устал. Вечером он попросил Джо отнести его в ванную. Обычно он ходит туда сам. В ванной он упал, пока ковылял к унитазу.

— Что-то у меня сегодня плохо получается. Устал что ли? А с чего вдруг?

— Не знаю, Анс. Может, болезнь прогрессирует? Паршиво, да?

Ансель не отвечает. Он сосредоточенно стрижет ногти на ногах, — нужно не просыпать обрезки мимо кофейного столика.

— Ансель! — снова зову я.

Он поднимает голову:

— Мне кажется, у всего есть своя причина.

— Это потому, что ты веришь в Бога.

— Я раньше очень расстраивался, когда об этом думал, — он словно не слышит меня. — А потом понял, что толку расстраиваться? Так что я об этом больше вообще не думаю.

В другой раз я спрашиваю его:

— Ты когда-нибудь думаешь о том, что, возможно, проживешь меньше других?

— Нет, мам, я просто хочу быть счастливым.

Ансель говорит, что у всего есть своя причина. Посреди ночи он спускает воду в туалете, от этого звука в подвале в своей клетке просыпается наша колли. Она начинает лаять, будит меня. Без четверти четыре.

Спать больше не хочется, спускаюсь в подвал. Колли уже подпрыгивает, словно ждала этого свидания. Она бодает меня под коленки, толкает носом в пятки, пытается пробраться между ног, пока мы поднимаемся по лестнице. Вылетает на улицу, я за ней.

Снаружи тепло и очень тихо. Огромная, щербатая луна желтеет в небе, висит над кварталом, почти сливается с горизонтом. Странное, почти неземное зрелище. Смешно звучит, правда? Ну да, она такая и есть — далекая, нездешняя, чуждая всему человеческому.

Не знаю, восходит она или садится. Джо с утра скажет, а до тех пор я этого не знаю. Я стою под луной и радуюсь, что причастна ее волшебной таинственной красоте. Пока собака обнюхивает кусты и палую листву, ища, где пописать, эта красота принадлежит только мне.

Колли сделала все свои дела, я веду ее обратно в подвал и даю миску с водой. Собака жадно лакает. Я ложусь и быстро засыпаю. Почему-то мне спокойно. Ансель говорит, что у всего есть своя причина. Ему пятнадцать. Через два часа взойдет солнце.

Джералд Уокер
Убить дракона

Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

ОДНАЖДЫ я праздновал Рождество в компании человека, который хотел, чтобы я его ненавидел. Он считал, что я просто обязан ненавидеть всех белых за то, как они со мной поступили. Я честно попытался сообразить, что же такого они сделали. К сорока годам я, конечно, успел столкнуться с расовыми предрассудками, и ничего приятного в этом не было. Но припомнить хоть одно серьезное происшествие мне не удалось. Мой собеседник был потрясен. "А как же рабство?" — спросил он. Я вежливо ответил, что не был в рабстве. "Но вы же должны ощущать последствия! — рассердился он. — В этой стране проблемы расизма, дискриминации и ксенофобии никуда не делись. Ведь белые угнетают вас!" Я оглянулся. Одна из угнетательниц подошла к нам с подносом закусок и предложила мне тартинку. Я спросил своего собеседника, не стоит ли мне в отместку за годы унижений взять у нее две тартинки.

Я уже третий год преподавал в Академии. Справился с тоннами бумаг, ленью студентов, приноровился к вздорному характеру коллег и скуке заседаний, научился мало спать, повстречался с двумя психопатами, и вот теперь разговаривал с человеком, который волшебным образом перенесся сюда из 1962 года. Он даже внешне похож был на шестидесятника — огромные бакенбарды и очки в тяжелой черной оправе. На преподавателя он не тянул, скорее пришел с кем-то из родственников. Оказалось, он вообще нигде не работает и тем самым, по его мнению, бросает вызов заскорузлому капиталистическому обществу. Говорить с такими — одно удовольствие, особенно если вы, как и я, любитель доводить белых либералов до соответствующего каленья. А вернейший способ этого добиться — не дать им вас пожалеть, лучшего негру не придумать.

Он углядел меня получасом раньше, пока я в одиночестве пасся у стола с закусками. Моя жена Бренда куда-то отошла, до меня доносились обрывки чужих разговоров и смех. Пред-

© Jerald Walker, 2002
All rights reserved. This essay may not be reproduced without written permission of the author.
© Екатерина и Сергей Шабуцкие. Перевод, 2011

ложил выпить джина с тоником. Я согласился. Мы немного поболтали о политике, вернее, болтал он, а я слушал, потому что не очень в этом деле разбираюсь. Потом речь зашла о футболе, о детях и, наконец, о моей преподавательской работе. Его очень заинтересовал курс афроамериканской литературы, который я читал.

— А черные студенты у вас есть?

— Сначала было двое, а теперь их двадцать восемь человек. — Я полюбовался очумелым выражением его лица и съел маринованный гриб. — Каждый, кто приходит ко мне в семинар, обязуется быть черным до конца семестра.

— Серьезно? — он хохотнул. — И что, они для этого сажей мажутся?

— Хорошая мысль, — ответил я. — Пока от них требуется всего лишь думать, как черные, правда, в несколько неожиданном для ребят направлении. — Я объяснил ему, что черную литературу обычно считают летописью угнетения негров, однако моим студентам приходится больше внимания уделять не зверствам белых, а обратной стороне — мужеству черных. — Ведь рабы и их потомки, это борцы, которые достойны восхищения, а не жалости, иначе я никогда бы не выбился в люди.

Мой собеседник пришел в ярость.

— Вы помогаете белым избежать наказания, — сказал он. — Вы освобождаете их от ответственности, от необходимости искупить свои прошлые и нынешние грехи...

Он говорил и говорил, а я не без удовольствия подавал реплики, стараясь распалить его посильнее, пока он не бросился от меня прочь к своей жене. Он что-то сказал ей, она оглянулась, наверное, хотела посмотреть на предателя черной расы. Жаль. Я тешу себя мыслью, что для белых я тоже предатель.

Точнее, я разрушаю веру в то, что черные — в первую очередь жертвы, веру, которую разделяют и те и другие. Я и сам долго так думал. Мне было лет двадцать, и я только-только начал писать неумелые рассказы про негров, которые знали лишь ярость и боль. Местом действия всегда становились гетто, потому что я хорошо знал эту жизнь, а сюжет обязательно основывался на муках и испытаниях, потому что об этом я тоже знал немало. Еще я знал, что белое общество в ответе за несправедливость мира, и как черный писатель, я обязан донести эту мысль до всех и каждого. Именно с такими тремя рассказами меня приняли в литературную мастерскую в Айове. И там я осознал свою ошибку.

Сначала я попал на лекции к Фрэнку Конрою[1], директору программы, человеку прямому и грубоватому, воинствующе-

1. Фрэнк Конрой (1936–2005) — американский писатель, эссеист, джазовый пианист. За мемуары "Стоп-тайм" был номинирован на Национальную книжную премию. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

му поборнику ясности изложения. Каждое занятие два часа подряд он безжалостно топтал наши опусы и наше самомнение. Кукожась за партами, мы потели от страха, а он разбирал строчку за строчкой и смеялся над формулировками, которые искажали смысл сказанного или вовсе не имели никакого смысла. Лучше Конроя никто не учил ремеслу. К началу второго семестра я был уверен, что уж теперь-то умею писать гораздо лучше и что самое трудное позади.

Совершенно не представляя, куда иду, я записался в класс к Джеймсу Алану Макферсону[1]. На каникулах я впервые прочитал его сборники "Караул!" и "Личное пространство", и они меня поразили. Макферсон тоже писал о жизни афроамериканцев, причем писал, как и я, рассказы. Он стал для меня образцом для подражания, примером, которого мне так не хватало. Я перечитывал его снова и снова, убежденный в том, что обрел литературного "отца".

Трудно представить себе людей более разных, чем Конрой и Макферсон. Конрой был громадным шумным европейцем, Макферсон — невысоким застенчивым негром. Конвой ругался, кричал, хохотал, язвил. Макферсон вообще говорил очень мало, а если и говорил, то еле слышно. На его мастер-классах верховодили студенты. Я был разочарован. Мы ведь пришли не к кому-нибудь, а к лауреату Пулитцеровской премии, первому афроамериканцу, получившему ее за литературные заслуги. Он удостоился стипендии Макартура "Гений" и бессчетного количества наград. Я хотел вкусить плодов его мудрости. Я хотел откровений. И я их получил в середине семестра, когда пришло время разбирать мой рассказ.

— Прежде чем мы начнем, — сказал Макферсон, — предлагаю небольшое вступление.

Такого раньше не бывало, он никогда не предварял разбор своими комментариями. Я невольно улыбнулся, представляя, как он сейчас похвалит меня за точное изображение наркопритона. Описать жизнь героинщиков непросто — нужно хорошо знать предмет, а уж воспроизвести их речь может только человек с недюжинным языковым чутьем.

— Вы слышали гангста-реп? — спросил Макферсон.

Конечно слышали, несмотря на то, что все мои однокурсники были белыми, к тому же из вполне обеспеченных семей. Мы дружно закивали. Макферсон вытащил из пакета журнал, открыл его на заложенной странице и продемонстрировал фотографию реппера, обвешанного драгоценностя-

1. Джеймс Алан Макферсон (р. 1943) — афроамериканский писатель, эссеист, автор сборника рассказов "Караул!", первый афроамериканский лауреат Пулитцеровской премии (1978) за книгу "Личное пространство".

ми и оружием. Артист сидел на капоте полицейской машины, позади тянулись кварталы трущоб.

— Он читает реп про гетто, — сказал Макферсон, — но живет-то он не там. У него дом в богатом белом пригороде, жена, дочка. Дочка ходит в белую частную школу. Собственно, статья как раз об этом. — Он сунул журнал обратно в пакет. — Гангста-репперы часто так поступают — используют стереотипы, рассказывают белым про жизнь черных, а те покупаются. Но ведь стереотипы эти не имеют ничего общего с реальностью. Некоторые репперы просто продают собственный народ ради личной наживы. — Он снова замолчал и открыл мой рассказ. — Именно так поступает и автор этого произведения, — Макферсон бросил бумаги на стол. — Вот и все, что я хотел сказать. Начинайте обсуждение.

Несколько секунд в полной тишине раздавалось только мое сопение. Потом кто-то сказал:

— Макферсон прав. Отстойный рассказ.

— Полная хрень, — откликнулся второй.

И пошло.

Той ночью я так и не заснул. В восемь утра сил терпеть у меня не осталось, я позвонил Макферсону домой и потребовал аудиенции. Он предложил встретиться у него в кабинете через десять минут.

Когда я пришел, он уже был на месте. На столе ничего не было, кроме моего рассказа. Голые стены, два стула и стол, пустые книжные полки. Ни занавесок, ни телефона, ни компьютера. Типичная каморка уборщика, где тот передыхает, пока сохнут полы. Да и сам Макферсон сильно смахивал на полотера. Жеваная голубая рубашка, покрасневшие глаза. Знаменитая соломенная шляпа съехала набекрень, непокорная тесемка болталась за правым ухом. Макферсон заметил, как я пялюсь на эту тесемку, и заправил ее обратно под шляпу.

— Ну как вы? — мягко спросил он. — Голос у вас по телефону был такой, будто вы совсем с катушек съехали.

— Да нет пока. — Я постучал пальцем по пачке бумаги с отпечатанным рассказом и начал стенать и кричать, словно и правда съехал с катушек. — Я же это не придумал, — уверял я Макферсона. — Я сам из гетто. — Я перечислил своих персонажей и объяснил, что каждого списал со своих родственников. Упомянул о том, что неделю назад моего младшего брата ранили в спину в “Макдоналдсе”. Рассказал про другого брата, который то и дело попадал за решетку, о героиновой наркоманке-невестке, о том, что меня однажды арестовали за кражу машины (я ничего не крал, но дело не в этом), что многие из моих друзей по-прежнему живут в той самой ужасной обстановке, в которой вырос я. — Вы не поняли мой рассказ, — в заключение сообщил я, — и не поняли меня, как человека.

Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, ожидая извинений. Неожиданно Макферсон выскочил из кабинета, пронесся налево по коридору, а через секунду — в обратном направлении. Его окликнул Френк Конрой, они уже вместе опять помчались влево, к ним присоединилась Конни Бразерс, администратор нашей литературной школы, и так, табором, они еще пару раз пробежали мимо двери, пока не исчезли из виду окончательно. Конни, однако же, осталась. У нее, похоже, как и у меня, голова кружилась от этих перемещений.

— Джим — добрейшее существо, — тихо сказала она. — Зачем вы его обидели?

На секунду я вернулся в детство. Мне двенадцать лет, и я гляжу на дверь, за которой живет моя первая любовь. Она только что бросила меня и оставила стоять на крыльце. Я изо всех сил стараюсь не зареветь.

Конни, как фокусник, извлекла откуда-то носовой платок. Она трепала меня по плечу, а я бессвязно бормотал что-то насчет недосыпа и своего литературного отца.

— Не расстраивайся, зайчик, — сказала Конни. — Я с ним поговорю.

Макферсон вскоре вернулся. Я попросил прощения. Он ответил, что все это пустяки, на мастер-классах люди часто нервничают и срываются. Ему тоже было нелегко, когда он учился в университете в семидесятые годы. Возникла пауза, и Макферсон спросил:

— Так откуда ваши родители?

Все равно не верит, решил я и пробормотал:

— Из Чикаго.

— Нет, они там живут. А откуда они приехали?

— А, простите, не понял. Из Арканзаса.

— А мои — из Джорджии, — улыбнулся Макферсон и добавил: — Жопа, а не место.

Вся суть афроамериканской культуры заключалась в этом ответе. Сила духа, чувство юмора, человеческая трагедия. В тот момент я ничего этого не видел, а видел только человека, который раскритиковал мой рассказ. Я сухо поблагодарил его за то, что он согласился со мной встретиться, и встал. Макферсон тоже поднялся и пожал мне руку. Я был уже в дверях, когда он окликнул меня.

— Стереотипы важны, — сказал он. — Но только если уметь ими правильно пользоваться. Стереотипы помогают читателю сориентироваться, увидеть что-то знакомое, но они же втягивают читателя в пространство, где ему уютно, где все узнаваемо. И вот тогда нужно отвлечь его от стереотипа и показать ему настоящую жизнь.

— Настоящую это какую? — спросил я.

Он мгновенно откликнулся:

— Твою жизнь.

Бывают такие моменты, когда ученик вдруг осознает, что мудрый учитель поделился с ним откровением, и старается забыть его слова как можно скорее, потому что не до конца понял смысл сказанного. Но забыть слова Макферсона было тяжело. Они устроились у меня в подсознании, время от времени напоминая о себе, хотя задумывался я над ними не больше, чем пролетающая мимо муха. И только через год все переменилось. Тогда я снова пошел поговорить с Макферсоном.

— Я тут хотел спросить, вы не согласитесь быть моим руководителем?

— Зависит от того, чем надо руководить, — ответил он. — Что вы хотите изучать?

— Себя, — ответил я. — Хочу изучать собственную жизнь.

Мы начали с фольклора и истории. Потом перешли к джазу и блюзу, потом по зернышку перебрали черную литературу и культуру. Мы изучали интеллигентов, философов, социологов, антропологов, политических активистов, режиссеров и бывших заключенных. За четыре года мы успели препарировать почти все возможные аспекты жизни и творчества черных и в процессе задумались над, в общем-то, очевидным фактом: жизнь — дерьмо, а чтобы остаться человеком, нужно научиться жить и хоть иногда над этой жизнью смеяться.

О себе же я узнал следующее: я превратился в собственный стереотип, героя одного из моих рассказов. Герой этот желал, чтобы его рассматривали в первую очередь как сосуд скорби и несчастий, не обращая внимания на обстоятельства, свидетельствующие об обратном. И пострадали от моей близорукости те самые люди, чьи интересы я твердо решил представлять в своей прозе. Я писал о наркоманах, расизме, нищете, убийствах, преступности, насилии. И не писал о силе духа, которая помогала справиться со всеми неудачами и продолжать борьбу за лучшую жизнь. В старой песне рабов “Все преодолеем” об этом замечательно сказано.

Работа, которую мы проделали с Макферсоном, помогла мне написать междисциплинарную докторскую диссертацию. На моей защите Макферсон возглавлял аттестационную комиссию. Я начал преподавать, уже понимая, что теперь просто обязан правильно построить курс черной литературы. Обязан своему учителю. “Надо меньше думать о драконе, — как-то сказал мне Макферсон, — а больше о мече и технике удара”.

Ричард Прайс и Энн Хадсон-Прайс[1]

О чем говорят на улицах

Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких

Такси, сцена № 1. 13 сентября

Такси останавливается напротив полицейской академии на углу Двадцатой улицы и Третьей авеню. С заднего сиденья выбираются двое накачанных светловолосых парней.

Таксист, пакистанец, вытирает лоб бумажной салфеткой и шумно выдыхает. Такое ощущение, что он не дышал с того самого момента, как эта пара села в машину пять с половиной долларов назад.

Новый пассажир подходит со стороны мертвой зоны водителя, молча проскальзывает на заднее сиденье и что есть сил хлопает дверью. Таксист подпрыгивает до потолка.

— Угол Бродвея и Сорок четвертой, пожалуйста.

— Одну минуту, сэр, — испуганный голос водителя едва слышен. — Я только в себя приду.

Дети, сцена № 1. Магазин "Камуфляж", 18 сентября

— Пап, а где купить камуфляжные штаны? В школе сказали завтра всем прийти в камуфляже.

— Зачем?

— Не знаю. Сказали. Завтра будем играть целый день, и все должны одеться одинаково.

— А в камуфляж-то почему? Тут такое творится, а они — камуфляж.

— Пап, — голос звенит, она почти плачет, слишком много всего случилось за последние восемь дней ее жизни, — ну не я же выбирала!

— Ладно, — тотчас сдается он. — Придумаем что-нибудь. Поехали в "Камуфляж"? Он на Двадцать третьей, только я им позвоню сначала.

В магазине отвечают после первого же гудка.

— Извините, респираторы закончились, — и вешают трубку.

© Richard Price, 2002
© Екатерина и Сергей Шабуцкие. Перевод, 2011
Печатается в сокращении.

1. Энн Хадсон-Прайс — дочь Ричарда Прайса. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Такси, сцена № 2. 19 сентября

Водитель — здоровенный бородач. На зеркале заднего вида висит брелок с арабской надписью “Аллах велик”. Рядом болтаются фотографии двоих детишек. На машине американских флажков больше, чем на всем мотоциклетном эскорте президента.

— Угол Лексингтон и Тридцать третьей, пожалуйста.

— Хорошо, — водитель включает счетчик. — Как день?

— Да так себе, — пассажир видит глаза водителя в зеркале. — Это ваши?

— Мои, — отвечает водитель. — Сын и дочка. Парень ходит в школу в Стайвезанте, а туда сейчас не доехать. У них занятия перенесли в Бруклин, в матшколу. А старшая учится в Сент-Джонсе[1], туда добраться — без проблем. А у вас дети есть?

— Да, две девочки. — Ободренный доброжелательностью собеседника, пассажир решается спросить: — Скажите, трудно вам сейчас приходится?

Лицо водителя каменеет, словно ворота захлопываются перед взбунтовавшейся толпой.

— А? — пассажир пытается поймать взгляд водителя в зеркале, но тот молча смотрит на дорогу. На углу Тридцать третьей они останавливаются. Водитель не глядит на пассажира, даже когда берет чаевые.

Дети, сцена № 2. 20 сентября

До другого конца города он доехал за час. Надо было забрать старшую дочку — их школу эвакуировали. Еще полчаса он искал ее на улице, потом полтора часа пробирался через пробки по центру города домой.

— Жесть, — рассказывала дочка. — Сидим такие в столовой и тут сирена. Еле-еле слышно. Ну, мы друг на друга посмотрели, типа, ну не козлы — сейчас учебную тревогу устраивать? Все и так в шоке. Ладно, чо, встали, пошли на выход, напихались в коридор и все — пробка, стоим. За пять минут три метра проползли.

Потом объявляют, типа сирена случайно сработала. Пошли доедать, у всех такой вид, типа ни разу не прикольно. Через минуту говорят: выметайтесь, реально учебная тревога. Подъем.

Мы — обратно в коридор, толпень еще хуже, кто-то думает, что бомба, ну, потому что из-за Близнецов. Я тоже подумала, бомба. Выходим на улицу, подхожу к училке, спрашиваю, тревога-то учебная или как?

1. Университет “Сент-Джонс” — частный католический университет в Бруклине.

Она такая: “Не знаю. Считай, что настоящая, иди отсюда быстро”.

Я ей: “Нам к площадкам эвакуации идти, как тренировались?”

А она: “Не знаю ничего. Иди давай”.

Тут саперы подъезжают. Наши, у кого сотики были, сразу начали родителям звонить. А потом — я вообще офигела — они тем, кто без телефона, даже не одноклассникам, стали свои давать, чтобы те тоже позвонили. Сами предлагали. Там еще ребята были, которые недалеко живут, так они народ к себе позвали, чтобы на улице не торчать. Все такие щедрые стали. Прям даже радуешься, что тревогу объявили, а то б такого и не увидела никогда.

А еще, пап, представляешь, там одна девчонка была, моя ровесница, не то, чтоб взрослая какая, мы ее вообще мелкой считали. Ну вот, эта девчонка — никогда не забуду — подходит к училке и спокойно так: “Я хочу сестру из ее класса забрать”. Училка говорит: “Нельзя. Я не разрешаю”. А девчонка: “Ей страшно, ей шесть лет всего. Она меня ждет, я знаю, так что я ее заберу”. Училка говорит: “Она же в своей группе, с учительницей, там все в порядке. Ей наверняка сказали, что это просто пожарная тревога”. И тут, пап, эта девчонка говорит: “Но я-то знаю, что происходит. Я хочу забрать сестру!”

Девочка судорожно вздыхает, в глазах стоят слезы.

— Прикинь, была обычная глупая девчонка, вдруг — раз! — и она взрослая. Прямо железная стала. Четко говорит, чего хочет. Я ее и не знаю совсем, а все равно аж гордость распирает за нее... Только грустно как-то. — Слезы покатились наконец по щекам. — Жалко, что не могу объяснить...

Через три недели она все-таки подобрала нужные слова. Отец нашел у себя на столе листок. Эту записку она оставила, собираясь в школу.

“Папа, я поняла. Теперь есть только взрослые и дети. Только два лагеря, а между ними — никого, никаких подростков, вроде меня. Если ты знаешь, что происходит, понимаешь, что творится в мире, — ты взрослый, и не важно, сколько тебе лет. А все остальные — дети.

Эти новые взрослые знают столько же, сколько и настоящие взрослые. Вроде нам хочется пойти к родителям и пожаловаться, чтоб они защитили и на все вопросы ответили, а никак, потому что мы знаем о жизни столько же, сколько и вы.

Так что многие выросли за одну ночь, как та девочка, о которой я тебе рассказывала. Ну и я, наверное, тоже.

И от этого не только страшно, потому что мы вроде взрослые, а взрослого опыта пока не накопили, но и ужасно грустно, потому что мы могли бы еще быть детьми несколько лет, а стали, как вы, чтобы разделить с вами ваше бремя”.

Такси, сцена № 3. 3 октября

— Угол Пятьдесят девятой и Мэдисон, пожалуйста.

Такси едет по Манхэттену, флажки хлопают на ветру. Еще один паровоз Янки-Дудл[1].

— Как дела, все путем? — спрашивает пассажир.

— Да плохо, не ездит никто, — отвечает водитель. — Часов в девять-десять город вообще вымирает.

— Сильно вам достается?

— Да нет, не очень, — водитель останавливается на красный свет и оборачивается. — В основном все вежливые, вроде вас. Расспрашивают: откуда вы, что дома делали, почему приехали.

Загорается зеленый свет, водитель снова глядит на дорогу.

— И откуда вы? — спрашивает пассажир. — Просто интересно.

— Из Бангладеш.

— То есть все мирно? Приятно слышать.

— Знаете, чего мне больше всего не хватает? — водитель смотрит на пассажира в зеркало. — Болтовни. Мне так болтать нравилось. А теперь все садятся, говорят, куда ехать, и все. Ну, и вот вроде вас, вежливые, которые расспрашивают.

— Очень сочувствую.

— Вроде вас, — водитель снова оглядывается, — вроде вас.

Дети, сцена № 3. 9 октября

— Пап! Обещай, что не будешь ругаться.

— Не обещаю.

— Я телефон в унитаз уронила, — сказала младшая дочка. — И он сломался.

— Не переживай. Держи мой.

— Чего, правда? — голос виноватый и довольный одновременно. — А ты как же?

— Ерунда. После всего, что случилось, мне надо, чтоб до тебя всегда можно было дозвониться.

Он не хотел ее пугать, но девочка застыла.

— Ты не поняла, — он взял ее за руку. — В городе сейчас нужно глядеть в оба. Думать головой, короче. Но еще очень важно жить, как жили раньше. По возможности.

Дамбу прорвало.

— А если они нас бомбить начнут?

— Кто начнет? Никто нас бомбить не собирается. И вообще, кто “они”?

— А если они еще самолет угонят?

— Давай договоримся. Ты ходишь в школу. Учишься как следует. Делаешь уроки, готовишься к экзаменам. Ходишь на

1. Янки-Дудл — англоамериканская песенка, символ американского патриотизма.

тренировки по футболу. У вас ведь скоро чемпионат? Только смотри не надорвись. В выходные можешь устроить с сестрой соревнование, кто дольше проспит, а потом сходить куда-нибудь с друзьями. Надо жить, понимаешь?

— Ладно. — Она оживилась, кивнула и бросилась к дверям.

— Ты куда?

— Пойду с Коул погулять.

— Только не заходи в большие магазины, договорились?

— Что? — она словно споткнулась. — А почему?

— Да ладно, шучу.

— Хорошо, мы не пойдем.

— И на Вашингтон-сквер не ходите.

— А туда почему?

— Мне вообще не нравится, что вы туда ходите.

— Ну почему нельзя?

— Да ни почему. Просто не надо сейчас болтаться в толпе.

— Ладно, не пойдем. — Она опять испугалась, но что тут поделаешь?

— И еще метро, — он поморщился, — про метро вообще забудьте... Извини.

Девочка вышла на улицу, сгорбившись, словно взвалила на плечи тяжелый мешок. А отец стоял и гадал, где опаснее — дома или на улице.

Райкерс[1]*. 21 октября*

Рафик Абдулла, урожденный Торрин Уильямс, в сером комбинезоне с застежками на липучках входит в комнату для свиданий и обнимает посетителя. Сначала говорят об адвокатах и проволочках, потом разговор сворачивает в привычное русло.

— В такие времена лучше с моим именем на людях не появляться, ты ж понимаешь.

— Что, совсем худо тебе тут?

— Ну как сказать? Я не жалуюсь, но... Вот смотри, десять минут назад, ведет меня сюда охранник и пристает: “Абдулла-Абдулла, признайся, что ты пособник террористов!” Я ему: “Ты на меня-то посмотри! Ты послушай, как я говорю! Какой из меня пособник?”

Хотя настоящие мусульмане, которые здесь родились, вроде не парятся. Они еще мусульманам-неграм тычут, дескать, не так молитесь и Коран не так понимаете, и все такое... Когда в пятницу на намаз идем, такие терки начинаются, мама не горюй! Наши почти все в шоке от того, что случилось. Они ж нормальные люди. А есть такие, у которых на полити-

1. Райкерс — самая большая тюрьма в Нью-Йорке; расположена на острове Райкерс в устье Ист-Ривер.

ке крышу сорвало: типа правильно, так и надо. Вообще, не понимаю, как такое можно говорить.

Я ж видел все тогда, я тебе писал? Отсюда все небоскребы видно. Когда первая башня накрылась, у меня так чавка и отпала.

Хуже-то, наверное, не будет, но знаешь, на улицах такая чума творится! Я хоть и не фанат тут сидеть, сам понимаешь, но Райкерс сейчас самое безопасное место в городе.

Сцена не из Нормана Роквелла[1]*. 24 октября*

Под пронзительно синим небом Нью-Йорк еще старательнее, чем обычно, трудится над своим духовным возрождением. В магазинах прибавилось народу, больше стало пустой болтовни о милых пустяках, повсюду хохочут, неизвестно над чем. Однако не будем себя обманывать, все напряжены, словно ждут еще какого-нибудь кошмара.

— Знаешь Лорда Бакли[2]? — спрашивает одна подруга другую, гуляя между огромными полками книжного магазина. — Это такой комик был в пятидесятые. Он читал монолог про Хрущева и водородную бомбу. Так вот, он там говорит что-то вроде: "Когда все рушится, юмор позволяет нам не умереть раньше, чем нас убьют".

— М-да. Ты какие-нибудь новые анекдоты хорошие слышала? Я — нет.

— Как тебе этот? "На стенде рядом со справочным компьютером выставлены шесть книжек. Верхняя полка: 'Режим террора. Бен Ладен: человек, объявивший войну Америке', 'Терроризм. Современная угроза свободе'. На нижней полке в дальнем левом углу 'Оживший ужас. Что необходимо знать, чтобы пережить биологическую катастрофу'. В правом углу — 'Джихад'. А в центре — путеводитель по Нью-Йорку". Годится?

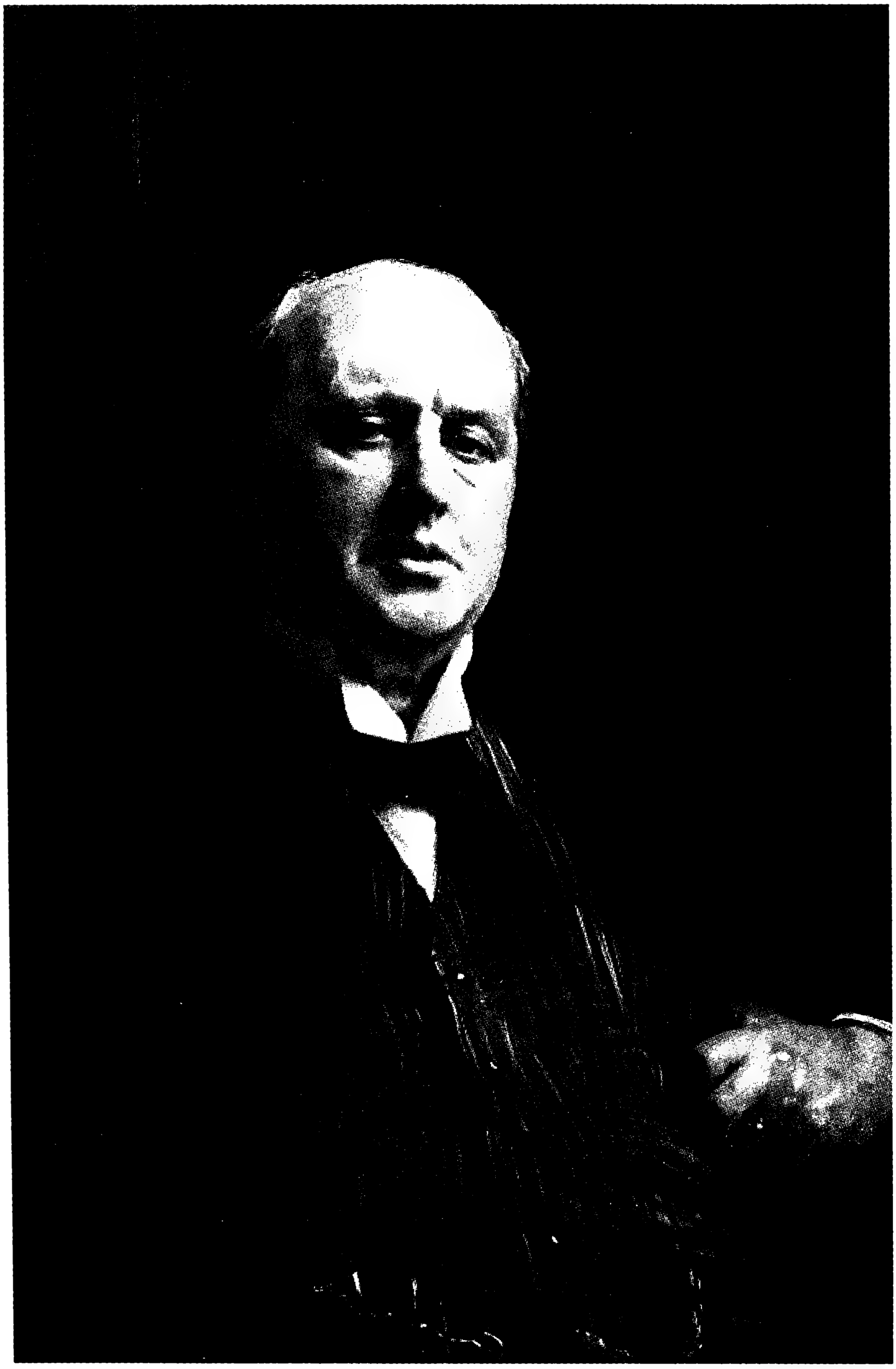
Они выходят на улицу, идут по Бродвею. Внезапно люди впереди останавливаются. Все смотрят на дорогу. Из гаража выезжает пожарная машина.

Некоторые начинают хлопать. Некоторые — махать. Пожарные машут в ответ.

— Нет, ты только глянь! — говорит одна подруга. — Прямо как в пятидесятые. Картина Нормана Роквелла.

— Да ладно тебе, — отвечает вторая и тоже хлопает пожарным. — В том, что они пережили, романтичного мало. — Она свистит в два пальца. — И наивным наш город сейчас никак не назовешь. Самый ненаивный город в мире.

1. Норман Персиваль Роквелл (1894—1978) — американский художник-иллюстратор. Стал известен благодаря журналу "Saturday Evening Post", где проработал сорок лет. Основная тема его творчества — каждодневная жизнь маленьких людей разных профессий, "лубочная" Америка.
2. Лорд Ричард Бакли (наст. имя — Ричард Майрл Бакли, 1906—1960) — американский эстрадный артист.



Генри Джеймс
Записные книжки, дневники, письма, эссе

Перевод и вступительная статья А. Ливерганта

В записных книжках, дневниках, письмах, критических статьях, очерках, эссе, составляющих немалую часть огромного и многообразного наследия классика сразу двух — американской и английской — литератур Генри Джеймса (1843—1916), можно выделить несколько "навязчивых", постоянно повторяющихся идей.

Американец по рождению и англичанин, так сказать, по творческому призванию, Джеймс — как, собственно, и многие герои его романов, повестей и новелл — постоянно сводит счеты со своей нелюбимой родиной, настаивает на преимуществе культурной Европы (и в первую очередь, конечно, Англии, где Джеймс прожил большую часть жизни) над бескультурной и самодовольной Америкой. "...Трудно себе представить народ более самодовольный... чем американцы, — пишет матери из Италии двадцатипятилетний Джеймс в октябре 1869 года. — К ним (соотечественники для Джеймса, заметим, всегда "они", а не "мы") применимо только одно слово: пошлость, пошлость, пошлость... В глаза бросается их невежество, их вызывающее, снисходительное, завистливое отношение ко всему европейскому... Чего им не хватает, так это культуры". Европейскому интеллектуалу Джеймсу, при всей его привязанности к семье — культурной, широко образованной, к Бостону, Гарварду, Новой Англии, на родине делать, по существу, нечего: "Я чувствую, что трачу здесь время понапрасну", — записывает он в своем Американском дневнике 25 ноября 1881 года. Для него американцы не только не представляют никакого интереса (в том же Американском дневнике, вспоминая о своих встречах в Париже с представителями тамошней американской колонии, Джеймс называет парижских американцев "отзывчивыми, очень славными... но какими-то унылыми и неинтересными"), но таят в себе некую неясную, но осязаемую угрозу грядущим цивилизациям. "Американцы маячат вдали; неприметные, зловещие... варвары Римской империи" — читаем мы запись, датированную 15 июля 1895 года. С точки зрения Джеймса, будущее Америки, если ее обитатели не хотят стать "варварами Римской империи", не представимо без Европы; американцы, по Джеймсу, должны не снисходить до Старого Света ("Я выбрал Старый Свет — это мой выбор, моя потребность, моя жизнь... с этим бескрайним Новым Светом у меня нет ничего общего"), а боготворить его, преклоняться перед ним, перенимать европейскую культуру за отсутствием

© А. Ливергант. Перевод, вступительная статья, 2011

своей собственной. "Американец обязан... иметь связь с Европой, — записывает Джеймс в дневнике 25 ноября 1881 года, — тогда как европейцу нет, да и не должно быть до Америки никакого дела".

Это намеченное в дневниках и письмах противопоставление (традиция, культура, образование Старого Света — пошлость, бескультурье, заносчивость, варварство Света Нового) порождает магистральную тему в художественных произведениях Джеймса: англичанин в Америке, американец в Европе. Джеймс-художник, впрочем, эту тему решает не столь однобоко, прямолинейно, как Джеймс-очеркист, и, кстати сказать, далеко не всегда в пользу Европы. В раннем романе "Американец" (1877) вполне цивилизованный представитель Нового Света вступает в единоборство с предрассудками аристократической Европы. В повести "Европейцы" (1878), где описывается столкновение американского пуританства, деловой сметки и европейского эпикурейства, "достается" в равной степени и Европе, и Америке. В повести "Дейзи Миллер" (1879) юная американка отстаивает свою независимость от кастового европейского общества. В романах и повестях Джеймса, о чем не раз говорится и в дневниках, описываются смешанные англо-американские браки, где англичанин (американка) попадают в чуждое, подчас враждебное окружение, вынуждены считаться с непривычными, на их взгляд диковатыми, обычаями, традициями, условностями. Попадающие в Европу американцы из книг Джеймса (та же Дейзи Миллер) компенсируют недостаток образования и культуры естественностью, непосредственностью и безрассудством, которых так порой не хватает выдержанным, "правильным" европейцам.

Европа, впрочем, Европе рознь. Еще в семидесятые годы, сделав выбор в пользу Старого Света ("Дело моей жизни — там"), Джеймс поначалу решает осесть в Италии, однако затем, разочаровавшись в итальянцах (но, конечно же, не в итальянской культуре), переезжает в Париж. Писателю импонирует красота и гармония великого города, а главное — "высокая концентрация" крупнейших европейских писателей и художников. В бытность свою в Париже, Джеймс охотно посещает литературные салоны, водит дружбу с Тургеневым и Флобером, с Гюставом Доре, братьями Гонкур и Ипполитом Тэном. Однако вскоре писатель ощущает, что "Париж стал меня утомлять и разочаровывать", что "своим мне здесь не быть никогда", и перебирается в Лондон — "величайшее средоточие человеческих жизней". Париж, в представлении Джеймса, легок для жизни, беззаботен, красив, весел, но, возможно, именно поэтому — "утомляет и разочаровывает". Лондон, напротив, "легким для жизни не назовешь... он не радует глаз, невесел, неудобен для жизни" и при этом "...стал моим якорем на всю жизнь". Так, Лондон и Париж для Джеймса — примерно то же, что Старый и Новый Свет. Писателя "утомляет и разочаровывает" то, что беззаботно и весело, легко для жизни, ни к чему не обязывает, и, наоборот, притягивает все, требующее отдачи, неутомимой умственной и творческой работы. То, что теперь назвали бы "вызовом". Ни Америка, ни Париж вызовом для Джеймса так и не стали, и в Париже, и в Америке работалось ему плохо.

Слово "работа" в дневниках, записных книжках, письмах Джеймса — едва ли не самое часто встречающееся. "Здесь и сейчас у меня только одно

чувство, одно желание — вновь сесть за работу; затянувшееся безделье раздражает и угнетает меня...” — записывает он в Америке 26 декабря 1881 года. “Я часами злюсь на себя за то, что мало пишу, за вечную неспособность сосредоточиться, вникнуть... И все же, по-моему, работать я научился...” (11 ноября 1882 года). “Наконец-то, после стольких проволочек и неудач, сижу... в слабой надежде, что удастся опять взяться за работу” (17 апреля 1894 года). “Работа — вот оно, высшее благодеяние!” (21 апреля 1894 года). “Ты молился, надеялся, что научишься работать больше... — обращается он к самому себе. — Это все, о чем я прошу” (14 февраля 1895 года). Вообще, возникает порой ощущение, что Джеймс — автор романов и новелл — и Джеймс — автор записных книжек, дневников, писем — люди разные. Первый — тонкий психолог, безукоризненный стилист, для многих даже — стилист по преимуществу (“Слишком сильно заточено перо, — заметил по поводу ‘Писем Асперна’ В. Набоков. — Чернила водянисты, и тех в чернильнице на донышке”). Писатель сдержанный, суховатый, даже несколько рассудочный, пишет он в строгом соответствии со своей заранее продуманной концепцией, до деталей просчитанным замыслом: итальянское слово “concetto” (концепция, замысел) встречается в дневниках Джеймса очень часто. Второй — эмоционален, нередко даже экзальтирован, наивен, порой прекраснодушен, неуверен в себе; в своих дневниках и записных книжках он постоянно вступает с собой в диалог, себя словно бы подстегивает, воодушевляет: “Начни — и все получится”, “Но — смелее, смелее, и вперед, вперед...”, “Какая-то часть из задуманного обязательно сделана будет...”, “...главное — держать себя в руках, не волноваться и не нервничать...”, “...необходимо только одно — дать себе волю...”, “...я владею всем необходимым, я полон сил”, “Вперед, мой мальчик, вперед и ни шагу назад... берись за все, делай все, преображай все”.

Самовнушения довольно часто перемежаются в дневниках с самокритикой, писатель часто недоволен собой, к себе строг, взыскателен. Автор десятков больших, растянувшихся на многие сотни страниц романов, таких как “Родерик Хадсон” (1875), “Женский портрет” (1881), “Бостонцы” (1886), “Княгиня Казамассима” (1886), “Крылья голубки” (1902), “Послы” (1903), “Золотая чаша” (1904), Джеймс вместе с тем — еще один забавный парадокс — всегда стремится, по крайней мере на словах, к краткости, сжатости, немногословию, завидует Мопассану: “Из страха написать мало, я написал много...”, “...стремиться буду к разнообразию и краткости...”, “Был, как всегда, излишне многословен...”, “увлекся описательностью...”, “в подробности вдаваться не следует — их достаточно лишь коснуться”, “... надо приложить все силы к тому, чтобы с успехом, с триумфом написать очень много очень коротких вещей...”. “Никогда не сяду я больше за длинный роман!..” — клятвенно обещает он себе и своему корреспонденту, известному американскому писателю Уильяму Дину Хоуэллсу в письме от 22 января 1895 года, а спустя несколько месяцев, вновь завязнув в длинном романе, в очередной раз отложив “большое число безукоризненно выполненных мелочей”, с горечью восклицает: “И откуда только берется мое злосчастное многословие?!”

Как и многие художники, Генри Джеймс не всегда правильно оценивает свои сильные стороны. В истории литературы он останется главным образом

автором большой прозы — романов и повестей, в которых искусно, с высоким формальным мастерством, как мало кто в англо-американской литературе рубежа веков, "держит в руках многообразные нити жизни". Между тем сам Джеймс считает, вопреки всем литературоведческим теориям, да и собственной практике, что "держать в руках многообразные нити жизни получаешь возможность, только если пишешь короткие вещи". Примерно та же самая "неувязка" происходит у Джеймса и с театром. Прекрасный прозаик и посредственный драматург, Джеймс, тем не менее, всю жизнь, невзирая на неудачи (самой чувствительной из которых оказался провал его пьесы "Гай Домвилл" в январе 1895 года), искренне полагал, что создан для театра, для воплощения драматической формы, "самой прекрасной из всех существующих", что язык театра — это его язык. "После долгих лет ожидания, — записывает Джеймс 26 декабря 1881 года в Американском дневнике, — я готов воплотить в жизнь самое желанное из всех моих начинаний — писать для сцены". "Жить же я буду ради того, — пишет он с еще большей патетикой спустя почти десять лет, — чтобы добиться в театре прочного... и безусловного успеха". Ни прочного, ни, тем более, безусловного успеха Джеймс, как известно, в театре не добивается, однако через еще пять лет, 21 декабря 1896 года, через неполные два года после провала "Гая Домвилла", как ни в чем не бывало, замечает: "Наконец-то я уяснил себе, что сценический метод для меня — высшая ценность, главная цель, мое единственное спасение".

От чего, собственно, должен был "спасти" сценический метод прославленного писателя, зарекомендовавшего себя к тому времени во всех жанрах художественной и документальной литературы, было бы не вполне понятно, если бы не присущий Джеймсу постоянный поиск, стремление любой ценой расширить творческие горизонты. "Высшая ценность" сценического метода — это в данном случае не более чем фигура речи. Сценический метод Джеймс называет "моим единственным спасением" только потому, что для него, человека, прожившего жизнь "в мире созидания", писавшего, что "без искусства мир был бы выжженной пустыней", творческая экспансия, освоение неосвоенного была вещью более чем естественной. В "рае искусства" (словосочетание Джеймса) проторенных путей не бывает, и Джеймс, всегда считавший, что только ради искусства и стоит жить, полагал, что театр вдохнет в его "созидательную жизнь" новые силы. Отчасти это и произошло: после провала "Гая Домвилла" Джеймс начал шире использовать в своей прозе драматические приемы, пытаясь добиться сплава повествовательного и сценического принципов. Художнику, сказавшему про себя: "Я верю, я вижу, я творю", было, видимо, невдомек, что есть жанры, даже ему неподвластные. Возможно, впрочем, Джеймса-драматурга еще предстоит открыть будущим режиссерам, актерам, зрителям...

Российскому же читателю, знающему Г. Джеймса пока лишь как прозаика, да и то лишь по двухтомнику его повестей и рассказов и роману "Женский портрет", предстоит знакомство с непривычным Джеймсом — автором дневников, писем, эссе и записных книжек, в которых писатель — повторимся — раскрывается совсем в новом, непривычном качестве; мы проникаем в творческую лабораторию классика, в тот самый "мир созидания", который Джеймс ценил превыше всего.

В настоящую подборку вошли отрывки из записных книжек Г. Джеймса, которые писатель вел на протяжении почти всей своей творческой жизни, и из Американского дневника. Мы включили также несколько его писем, в том числе три программных — старшему брату писателя, философу Уильяму Джеймсу, писателю и критику Уильяму Дину Хоуэллсу и Герберту Уэллсу, — и эссе "О литературной критике", где Джеймс сводит счеты с рецензентами из литературных журналов, которые, впрочем, по большей части не были к нему столь уж пристрастны.

Из Записных книжек 1879–1901

1879

18 января

А. Вы ненавидите англичан?

Б. Ненавижу англичан?! Как это?

А. Ненавидите англичан как нацию?

Б. Ненавидеть целую нацию — дорогое удовольствие. Я слишком верю в человечество и позволить себе этого не могу. Меня такая ненависть разорит.

А. Ничуть. Главное — научиться экономить на эмоциях.

22 января

Недавно я слышал, что у Энтони Троллопа[1] была теория, согласно которой литературному труду можно научить точно так же, как и любому другому. Он и сам пытался вырастить своего сына писателем — а тот стал фермером-овцеводом в Австралии. На днях мисс Теккерей[2] сообщила мне, что они с мужем приучают к занятию литературой свою маленькую дочку, и мне пришло в голову (посещала меня эта мысль и раньше), что про это можно было бы написать небольшой рассказ. Литературная дама (писательница весьма средняя) или же посредственный литератор (кто из них — еще предстоит решить) признается рассказчику, что таковы их планы

1. Энтони Троллоп (1815–1882) — английский писатель. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Энн Изабел Теккерей (1837–1919) — писательница, дочь Уильяма Мейкписа Теккерея. Мужем Энн И. Теккерей был заместитель министра по делам Индии Ричмонд Ритчи (1854–1912).

в отношении малолетнего сына или дочери. Потом, на протяжении нескольких лет, рассказчик встречает родителей и их ребенка в разных странах, воспитание сына в этом направлении идет меж тем полным ходом. Наконец, мальчик вырастает, действительно становится писателем и... сочиняет сатиру на своих родителей и их идеалы.

27 января

Сюжет для рассказа. Генри Ирвинг порывает с сестрами Бейтмен и, чтобы привлечь зрителя, ставит "Гамлета" с Эллен Терри вместо бедной Изабел[1]. Эллен Терри играет с невероятным éclat[2], и спектакль имеет огромный успех; Изабел же благополучно забыта. Вообразим далее, что Эллен Терри внезапно заболевает, и Ирвингу некем ее заменить. Он вспоминает про Изабел Б., всеми позабытую, разобиженную, ущемленную триумфом соперницы. Предположим, что после короткой борьбы со своей уязвленной гордостью она все же соглашается на предложение Ирвинга: приносит в жертву свою обиду, унижается и берется за роль, в которой Эллен Т. ее затмила. Жертва поистине героическая, ибо на алтарь кладется самое дорогое, что есть у женщины, — тщеславие. Объяснить, что за этим поступком кроется. Она втайне влюблена в великого актера. Все вышесказанное ничего не стоит поменять, однако основная канва остается: жертва, на которую идет женщина, и чем эта жертва вызвана.

Рассказ в письмах[3], которые пишут мать и дочь и в которых одна и та же ситуация воспринимается ими совершенно поразному. Мать и дочь очень между собой близки, их отношения ни разу ничем не омрачались. И та, и другая — особы нежные, утонченные, обе при этом проницательны и решительны и к тому же честны и добросовестны. Дочь безумно влюблена в молодого человека, который, в свою очередь, влюблен в нее, однако объяснения до сих пор не произошло. Наконец молодой человек сообщает о своих чувствах матери

1. Джон Генри Ирвинг (1838–1905) — английский актер и режиссер. Эллен Терри (1848–1928) — английская актриса. Сестры Бейтмен: Кейт (1843–1917), Вирджиния (1853–1940), Изабел (1854–1934) — американские актрисы; выступали как в британских, так и в американских театральных постановках. Вирджиния и Кейт играли в спектакле по роману Г. Джеймса "Американец" (1877).
2. Блеском (*франц.*).
3. К этому времени относятся два эпистолярных рассказа Джеймса: "Связка писем" ("Паризьен", декабрь 1879) — рассказ впоследствии вошел в сборник "Дневник пятидесятилетнего мужчины", и "Точка зрения" ("Сенчури Мэгэзин", декабрь 1882) — рассказ, вошедший в "Осаду Лондона" (Бостон, 1883).

девушки и просит ее руки. Мать не считает молодого человека завидной партией, своего согласия на брак не дает и убеждает его, а заодно и себя, что дочь его не любит. Он заявляет, что это не так, что она его любит, что он это чувствует, знает. Мать, однако, настаивает, что свою дочь она знает лучше него, что она слишком хорошо ее изучила и что сердце девушки совершенно свободно. Молодой человек пишет своей возлюбленной трижды, однако мать его письма перехватывает. Дочь же, ни о чем не подозревая, хранит свою любовь в тайне и — из гордости и скромности — делает вид, что ничего с ней не происходит, отчего мать лишний раз убеждается в своей правоте. Отношения между матерью и дочерью: обе о происходящем ни слова, при этом любят друг друга по-прежнему. Сделать упор на поведении дочери: не хочет причинять матери *боль*.

21 февраля

Кто-то из действующих лиц рассказа говорит[1]: “О да, Соединенные Штаты — страна без монарха, без судов, без аристократии, без армии, без Церкви и священнослужителей, без дипломатической службы. Страна без живописного крестьянства, без дворцов, замков и усадеб, без руин, без литературы, без романов, без Оксфорда и Кембриджа. Без соборов или увитых плющом церквей, без обнесенных решеткой сельских коттеджей и деревенских пивных, без политического общества, без спорта, без сельских сквайров и лисьей охоты, без Эпсома и Аскота, без Итона и Рагби...”[2].

16 марта

Американка в Лондоне: молодая, хорошенькая, обаятельная. Не глупа, самолюбива, знает себе цену, изо всех сил стремится попасть в общество, чему мешает заурядный, вульгарный, *невыносимый* муж. Борется — взывает к американскому пастору и т. д.

1. Этот список американских “недостатков” Джеймс почти дословно приводит в написанной им биографии американского писателя Натаниеля Готорна (1804–1864).
2. Эпсом — город в английском графстве Суррей, где находится ипподром “Эпсом Даунз”. Аскот — ипподром близ Виндзора, где в июне проходят ежегодные четырехлетние скачки; впервые были проведены в 1711 г. и являются важным событием в жизни английской аристократии. Итон, Рагби — закрытые, привилегированные частные средние школы для мальчиков в английских городах Итон и Рагби. Итонская школа основана в 1440 г., школа в Рагби — в 1567 г.

1881

17 января

Вчера узнал про эпизод из жизни мадам де Севинье[1]; может послужить основой для рассказа. Миссис Ритчи (Теккерей), написавшая о ней небольшую книжку, рассказывает о том, как недостойно повела себя мадам де Севинье, встав на сторону своей дочери против бедной demoiselle de Grignan[2], которую заставили уйти в монастырь из-за того, что ее отец растратил все ее имущество и не пожелал держать за это ответ. (Не помню, как будто это был все же не отец, а отчим.) Получается любопытный сюжет; к сожалению, здесь никак не обойтись без монастыря — темы довольно избитой. Опекуну молодой девушки (он может быть ее дальним родственником) поручено осуществлять надзор над ее имуществом, однако он его растрачивает. Когда девушка достигает совершеннолетия и вступает в права наследства, он отказывается дать ей отчет в том, куда делись ее деньги, и решает упечь ее в монастырь, чтобы от нее избавиться и чтобы она не подняла шума. К его удивлению (у него есть все основания полагать, что девушка, несмотря на юный возраст, подозревает его в вероломстве), она соглашается со всей присущей ей кротостью, с какой-то грустью и прелестью, которые его трогают. Из-за отсутствия всякой обиды с ее стороны, готовности его простить он испытывает столь сильное душевное потрясение, что осознает свою вину и в конечном счете в нее влюбляется. Влюбившись же, пытается отговорить от ухода в монастырь, умоляет, заклинает этого не делать. Она, однако, стоит на своем и с той же растрогавшей его печальной прелестью навсегда от него отворачивается. И тут только он узнает, что любила его и она, отчего простила то зло, которое он ей причинил. В то же время его бесчестный поступок заставил ее устыдиться своей страсти, которую она хоронит за монастырской стеной.

1884

19 июня

На днях миссис Х. Уорд[3] поделилась со мной идеей рассказа. Небезынтересно — с точки зрения психологии актера.

1. Мадам де Севинье (урожд. Мари де Рабютен-Шанталь, 1626–1696) — французская писательница; известна прежде всего своим эпистолярным наследием. Английская биография мадам де Севинье, написанная дочерью Теккерея Энн Изабел Ритчи, вышла в 1881 г.
2. Демуазель де Гриньян — внучка мадам де Севинье Мари Бланш (1670–?), чей отец граф де Гриньян промотал ее наследство.
3. Хамфри Уорд (урожд. Мэри Августа Арнолд, 1851–1920) — автор романа "Мисс Бретертон" (1884), героиней которого является актриса.

Юная актриса становится объектом резкой критики со стороны обратившего на нее внимание молодого человека; он любит театр (но *профессиональным* критиком быть не должен) и в конце концов, хотя как актриса она его не устраивает, в нее влюбляется. Ему кажется, что из нее может что-то получиться, хотя и не вполне понятно, что именно; он над ней "работает", дарит ей идеи и т. д. Наконец (она амбициозна, но прогрессирует медленно) актриса начинает прислушиваться к его советам, "растет" и становится знаменитостью. Теперь уже он смотрит на нее снизу верх и не устает удивляться ее метаморфозе. Для нее же он попросту перестает существовать. Интерес, повторяю, в изучении nature d'actrice[1], существа весьма причудливого и трудно воспроизводимого. Эту актрису я представляю себе очень незрелой и т. д. Она является подтверждением теории миссис Кембл[2], согласно которой драматический дар — вещь в себе, он не предполагает *общего* развития, значительного ума и пр. Крепкие корни, личные качества, тщеславие и пр. этой девушки; ее артистическая сущность, ум очень живой, но чисто интуитивный. Невежественна, неграмотна. Рашель[3].

9 июля

Про леди Эшбертон[4] мне на днях рассказали, что однажды она пригласила одну юную особу погостить у себя в Шотландии, заверив мать девушки, что будет идеальной дуэньей и глаз с нее не спустит. На этих условиях девушку отпустили — одну. Она приезжает и обнаруживает, что леди Э., позабыв про свое приглашение, накануне уехала кататься на яхте. Железная дорога далеко, и у девушки нет иного выхода, кроме как остаться, тем более что хозяйка дома должна вернуться уже через пару дней. Она остается, а на следующий день приезжает молодой человек — точно так же приглашенный и точно так же забытый. Beau jeune homme[5] и девушка остаются один на один — ситуация, из которой кое-что можно извлечь. Возможны разные варианты: они вступают в переписку, и к их письмам прибавляются письма, адресованные молодым людям хозяйкой дома, когда та, катаясь на яхте, про

1. Природы актрисы (*франц.*).
2. Фанни (Фрэнсис Энн) Кембл (1809–1893) — английская актриса; переиграла множество трагических и комических ролей классического женского репертуара в лондонском "Ковент-Гарден".
3. Рашель — сценическое имя французской трагической актрисы Элизабет Феликс (1820–1858).
4. Особняк Эшбертонов находился напротив лондонской квартиры Г. Джеймса на Болтон-стрит.
5. Красивый молодой человек (*франц.*).

них вспоминает. Молодой человек смущен — но хочет остаться и пр. Девушка боится, что он останется, но в душе на это надеется. Интрига, прямо скажем, довольно избитая, но что-то в ней, быть может, и есть.

9 июля

Эта идея пришла мне в голову, когда я читал книгу сэра Лепела Гриффина про Америку[1]. Капризный, надменный англичанин, консерватор, умен, ведет замкнутый образ жизни, ненавидит Соединенные Штаты, считает их вызовом Англии, ее funeste[2], страной, социально обреченной. Он влюбляется в американскую девушку, а она — в него; сближение, само собой разумеется, должно быть естественным — насколько это возможно. Сообщает ей со всей прямотой, что ее страну он ненавидит так же сильно, как любит ее. И умоляет выйти за него замуж. Она, эта настоящая маленькая американка, — истинная патриотка и к родине относится с глубоким чувством. Но англичанина она любит и, хотя поначалу из патриотических соображений упорствует, в конце концов уступает и за него выходит. У нее должен быть близкий родственник — скажем, брат, — который настроен про-американски, ведет себя в обществе как убежденный anglophobiste[3] и к которому она очень привязана. Брат не доволен ее браком, умоляет развестись и т. д. Они с англичанином на дух не переносят друг друга. После женитьбы англичанин вынужден гораздо чаще иметь дело с американцами, отчего его враждебность к Соединенным Штатам возрастает еще больше. Душевное состояние жены: угнетена, впадает в меланхолию, угрызается и стыдится, оттого что вышла замуж за врага своей страны. Кончает с собой? Сложность выбора. Смирится? Но ведь тогда придется порвать с братом и т. д. Разумеется, дух интернационализма может показаться утрированным, избитым. Это соображение в каком-то смысле подрывает всю идею; но оно слабо, несущественно. Если замысел нравится автору — этого вполне достаточно.

6 августа

Крайне угнетен и подавлен, оттого что забросил роман, то бишь его первые главы, которые при посредстве Осгуда я

1. Лепел Генри Гриффин (1840–1908) — историк, писатель; автор книг о путешествиях.
2. Пагубой (*франц.*).
3. Англофоб (*франц.*).

договорился напечатать в “Сенчури”[1]. Сегодня потрачу 36 часов на дорогу в Уоддсдон, а 9-го отправлюсь с визитом к Рэмисам. Все это давние светские обязательства, которые выполняю à contre coeur[2]; куда с большим удовольствием сидел бы сейчас за столом и водил пером по бумаге. Но уж лучше побыстрей скинуть с себя все это; зато какое дивное облегчение наступит 11-го, по возвращении от Раллисов, когда у меня останется на весь это проклятый светский сезон только *одно* приглашение — в воскресенье 16-го поеду в Бассет, и впереди ничего, кроме долгожданного, ничем не заполненного рабочего времени. Тогда-то ко мне вновь вернутся душа, способности, воображение, тогда-то я вновь испытаю чувство, что жить стоит, и буду (уверен) приемлемо спокоен и счастлив. *Могучая воля* — вот что самое главное! Союз воли, цели, веры. Ждать, когда нельзя не ждать, и действовать, когда можно действовать!

10 августа

На этом этапе совершенно необходимо уяснить для себя дальнейшее развитие “Княгини Казамассима”[3]. Никогда еще не приходилось мне работать над романом, который я не только начал писать, но даже отослал [В журнал. — *А. Л.*], и при этом в нем оставалось бы столько непрописанного. Объясняется это отчасти — по большей части — тем, что до самого последнего времени я был ужасно занят злосчастными “Бостонцами”, родившимися под несчастливой звездой[4]. Сама по себе идея “Книягини” великолепна, и, если бы мне удалось отдаться книге в полной мере, вложить в нее душу, поверить в нее, — форма не уступила бы содержанию, ему бы соответствовала. Пока же я еще не нащупал главного, у меня переизбыток действующих лиц, но, если набраться терпения и все как следует продумать, герои займут причитающиеся им места. Ах, искусство, искусство, что может сравниться с тобой по сложности и в то же время что более утешает и вдохновляет, чем ты! Без тебя мир был бы для меня выжженной пустыней. Чтобы закончить “Княги-

1. Роман Джеймса “Бостонцы” (1886) печатался в 1885–1886 гг. отдельными выпусками в американском ежемесячном журнале “Сенчури илластрейтед мансли мэгэзин”, основанном в 1870 г.
2. Скрипя сердце (*франц.*).
3. Роман Джеймса “Княгиня Казамассима” печатался с продолжением в ежемесячном американском журнале “Атлантик мансли” с сентября 1885-го по октябрь 1886 г.; отдельной книгой роман вышел одновременно в Лондоне и в Нью-Йорке в 1886 г.
4. Своим сатирическим настроем “Бостонцы” вызвали нарекания у старшего брата писателя Уильяма Джеймса, а также у поэта и критика Джеймса Расселла Лоуэлла (1819–1891), который в 1857 г. основал “Атлантик мансли” и до 1861 г. был его главным редактором.

ню", мне понадобится еще много месяцев тяжелой, напряженной работы, но ведь и радостей она мне доставит столько, что грех жаловаться. <...>

22 августа

Выписки из живой речи:

"...подноготную захочешь, не скроешь!"

Мясник о своем постоянном покупателе: "Отрубит — не поздоровится...", "Нынче он здесь, а завтра еще где-нибудь — так и живем".

22 августа

В искусстве, в литературе не добьешься ничего стоящего, если у тебя нет общих соображений. Если же таковые имеются, если знаешь, *что* писать и *как*, — подначки и пошлости (оскорбительные рецензии в газетах) — это последнее, о чем стоит беспокоиться.

1887

12 января, Флоренция

Гамильтон (брат В. Л.)[1] рассказал мне интересную историю про капитана Эдварда Силсби — бостонского искусствоведа и страстного почитателя Шелли, а вернее — про его забавное приключение. Мисс Клермонт, ci-devant[2] любовница Байрона (мать Аллегры), дама весьма почтенного возраста, лет восьмидесяти, жила до последнего времени здесь, во Флоренции, вместе со своей племянницей, младшей мисс Клермонт, которой шел шестой десяток. Силсби было известно, что у них хранятся ценные бумаги — письма Шелли и Байрона; знал он об этом давно и не первый год вынашивал мысль получить к этим письмам доступ. С этой целью он решает поселиться у тетки и племянницы в надежде, что старуха, ввиду своего преклонного возраста и слабого здоровья, умрет до его отъезда, и тогда у него появится возможность завладеть письмами, с которыми она не расстается ни на минуту. Силсби воплотил свой план в жизнь и все се passerent[3] именно так, как он задумал. Тетка действительно умирает, и он обхаживает пятидеся-

1. Юджин Ли-Гамильтон (1845–1907) — литератор, единокровный брат английского прозаика Вернона Ли (наст. имя Вайолет Пейджет, 1856–1935).
2. В прошлом (*франц.*).
3. Произошло (*франц.*).

тилетнюю племянницу, излагает ей свою просьбу, на что старая дева отвечает: "Я отдам вам все письма, но при условии, что вы на мне женитесь". По словам Г. [Гамильтона. — *А. Л.*] Силсби court encore[1]. Из всего этого может получиться любопытный сюжет: две увядшие, нелепые, бедные, всеми забытые, пережившие свое время старые англичанки живут на задворках чужого города, храня, как зеницу ока, знаменитые письма, которые couvers[2] фанатично преданный Шелли американец. Финал вовсе не обязательно должен совпасть с печальной судьбой, постигшей бедного Силсби, — интересна скорее ситуация в целом, меня она очень занимает. Интересна тем, какую цену нужно заплатить, чтобы старуха или ее наследница рассталась с бумагами. Его колебания, его борьба — ведь он и в самом деле готов был отдать за эти письма почти все. Там [во Флоренции. — *А. Л.*] я встретился с графиней Гамба[3]; ее муж — племянник Гвиччиоли. Вышеописанную историю Г. рассказал мне à propos[4], что у них хранится много писем Байрона, они их никому не показывают и не дают публиковать. Однажды графиня даже рассердилась на Г. - тот попытался внушить ей, что ее долг — в особенности перед английской читающей публикой — эти письма, по крайней мере, предъявить. Elle se fiche bien[5] на "английскую читающую публику". Она утверждает, что письма, написанные Гвиччиоли на итальянском языке, дискредитируют Байрона; Г. же она под большим секретом сообщила, что одно из них сожгла.

1888

5 января

Вчера вечером, когда я разговаривал с Теодором Чайлдом[6] о воздействии женитьбы на художника, литератора, у меня родилась еще одна идея. Чайлд привел несколько случаев, свидетелем которых он был в Париже: женитьба всякий раз фатально сказывалась на качестве произведения, оттого что, вступив в брак, художнику приходилось слишком много трудиться, за-

1. Обхаживает ее по сей день (*франц.*).
2. Высиживает (*франц.*).
3. Графиня Гамба — дочь тосканского поэта-сатирика Джузеппе Джусти; вышла замуж за племянника последней любовницы лорда Байрона Терезы Гвиччиоли.
4. Здесь: в связи с тем (*франц.*).
5. Ей наплевать (*франц.*).
6. Теодор Чайлд — английский журналист и издатель; в 80-е годы XIX в. был корреспондентом ряда лондонских газет в Париже, издавал англо-французский журнал "Паризьен" ("Парижанин").

рабатывать на жизнь, заботиться о своем реноме и т. д. В ответ я упомянул несколько случаев, известных мне. В качестве примера Чайлд заговорил о Доде, о "Trente ans de Paris"[1]. "Не женись он, никогда бы такого не написал". Вот мне и пришло в голову изобразить крах пожилого художника или писателя, который, женившись, сочиняет что попало и как попало; его отношение к своему младшему confrère[2], которого подстерегает та же участь и которого он пытается спасти: вмешивается в его личную жизнь, разводит супругов, губит жену, сеет между супругами рознь.

Воскресенье, 11 марта

Вот сижу; не терпится поскорей взяться за дело, желание одно: сосредоточиться, втянуться... Идей, амбиций, способностей — всего в достатке, так мне кажется. Иногда, впрочем, разочарования поглощают все остальное; отсрочки, заминки, eparpillement[3] и т. д. Но — смелее, смелее, и вперед, вперед. Если уж обобщать, то только это. Сделать предстоит немыслимо много, и, скажу без ложной скромности, какая-то часть из задуманного сделана будет. Но для этого потребуется мужество...

1889

2 февраля 1889, Девир-гарденз

Последнее время никак не могу сесть за длинный роман для журнала "Атлантик". Просто напасть какая-то! Должен заняться им, не откладывая ни дня. С осени, когда я последний раз за него брался, мне пришлось написать четыре статьи[4] (соглашаться было, прямо скажем, глупо, да и незачем), и посетившее меня озарение угасло. А ведь было же оно, и какое! Теперь надо изо всех сил постараться, чтобы оно ко мне вернулось. И оно вернется, было бы хоть немного attention suivie[5]. Главное, держать себя в руках, не волноваться и не нервничать, и, самое главное, — *думать*, пусть хоть немного,

1. "Тридцать лет в Париже" (*франц.*) — воспоминания Альфонса Доде (1840–1897).
2. Собрату по перу (*франц.*).
3. Разбросанность (*франц.*).
4. С октября 1888-го по июнь 1989 г. Джеймс написал большую статью-рецензию на "Дневник братьев Гонкур" для "Лондонского двухнедельного обозрения", а также очерки "Оживленный разговор" ("Скрибнерс мэгэзин, март 1889 г.), "Наши художники в Европе" ("Харперс нью мансли мэгэзин", июнь 1889 г.), "После спектакля" ("Нью ревью", июнь 1889 г.).
5. Здесь: собранности (*франц.*).

не больше обычного! А еще — вновь вжиться в заданные условия. Озарение, дай-то бог, придет, надо только дать ему хоть какой-то шанс. Ведь оно здесь, оно живо, оно ждет; картина вновь заиграет красками, стоит мне обратить на нее свой взор. На этот раз сюжет, мне кажется, и впрямь хорош — разве что пока слишком размыт. Я взялся рассказывать и описывать — с учетом собранного материала — чересчур подробно, так как боялся, что история получится худосочной. Из страха написать мало написал много. Это, впрочем, ошибка простительная — как выйти из положения, знаю. Когда возьмусь дописывать, стремиться буду к двум вещам — разнообразию и краткости; к быстрому развертыванию событий. Разумеется, я, как всегда, в первой главе был излишне многословен, увлекся описательностью, иллюстративностью. Но этот недостаток можно устранить, стоит мне только *захотеть*; стоит только заставить себя быть кратким и собранным. Если же этого не добиться, все сцены рассыплются, собрать их в единое целое не удастся. Этот роман я должен писать так, словно это не роман, а рассказ — другого выхода нет. Мне есть что рассказать, но в подробности вдаваться не следует, их достаточно лишь *коснуться* — каждую на свой лад. À la Maupassant[1] — вот каким должен быть мой постоянный девиз. <...>

19 мая, воскресенье

Вчера — очень интересная встреча с Тэном на обеде, который давал в ресторане "Бристоль" Жюссеран[2]. Присутствовали: г-н и г-жа Тэн, их дочь, доктор Джессоп — славный человек, священник, приятель Жюссерана, а также Джордж Дюморье[3] и я. Впечатление Тэн производит на редкость приятное; в нем куда больше bonhomie[4], мягкости и радушия, чем можно было бы ожидать от автора сочинений, отличающихся изысканным, строгим стилем, интеллектом и логикой. Очаровательный собеседник; французы, в чем я лишний раз убедился, искусством беседы превзошли всех. Он слегка косит и, тем не менее, собой хорош: красивая голова, загорелый, статный, сильный, правильные черты лица — тонкие и в то же время по-мужски суровые. Говорил о многом — и обо

1. Как у Мопассана (*франц.*).
2. Ипполит Тэн (1828—1893) — французский литературовед, критик, философ. С мая 1868-го по июль 1876 г. Джеймс опубликовал — в основном в журнале "Нейшн", нью-йоркском еженедельнике, выпускавшемся с 1755 г., — несколько рецензий на произведения Тэна. Жюль Жуссеран (1855—1932) — французский историк литературы и дипломат; с 1902-го по 1925 г. посол Франции в Вашингтоне.
3. Джордж Дюморье (1834—1896) — английский художник-карикатурист и писатель; известен прежде всего романом "Трильби" (1894).
4. Добродушия (*франц.*).

всем хорошо; про Англию — дружески и со знанием дела, с *большим* знанием дела. Особо надо отметить, как высоко он ставит Тургенева, его глубину, многообразие, стиль, незаметные, в совершенстве выписанные детали, которые сохранятся в литературе благодаря своей законченности, непредвзятости и т. д. Тургенева он очень ценит — как стилиста даже больше, чем я. То, как он говорил о Тургеневе, дало мне очень многое — оживило, освежило, укрепило, я бы даже сказал, возвысило мое желание, которое последнее время преследует меня как никогда раньше. Желание, чтобы то скромное литературное наследие, какое я, может статься, по себе оставлю, состояло из большого числа безукоризненно выполненных мелочей, nouvelles[1] и историй, показывающих жизнь во всем ее многообразии; жизнь, которую я вижу, знаю и чувствую; всю глубину и непознаваемость жизни Лондона, искусства, всего вообще. И чтобы мелочи эти были тонкими, необычными, запоминающимися и, как знать, быть может, — общепризнанными.

Тэн очень точно подметил, что Тургенев безукоризненно точно отрезал пуповину, соединявшую рассказ с самим собой.

1890

6 февраля

Вчера отправил второй акт "Калифорнийца"[2] Е. Комптону. Быть может, лучшая формула для создания драматического произведения, telle qu'il nous faut en faire[3] в наши дни, выглядит так: действие, которое никогда не превращается в диалог, и диалог, который всегда является действием.

Валломброза[4], 27 июля

Сюжет для небольшого рассказа. Молодой человек или молодая женщина в далеком городе на Западе, в Колорадо или в Калифорнии, окружает себя европейской "атмосферой" с помощью французских и английских книг, читает Мопассана, "Revue des deux Mondes"[5], Анатоля Франса, Поля

1. Новелл (*франц.*).
2. Так первоначально называлась пьеса Джеймса по его роману "Американец".
3. Такого, каким ему следует быть (*франц.*).
4. Валломброза — деревня близ Флоренции.
5. "Ревю де де монд" — французский литературно-исторический журнала; основан в 1828 г.

Бурже, Леметра[1] и пр. В результате он целиком в эту атмосферу погружается, живет в своем замкнутом мирке литературных ассоциаций, вне жизни. Его посещает рассказчик, он бывал в Европе и знает людей (предположим, рассказчик — современный художник-импрессионист); все эти прекраснодушные фантазии вступают в противоречие с кричащим западным уродством, газетчиками, вульгарностью и демократией. Должна тут быть и литературная дама из Новой Англии, "чистая и утонченная", худая и пылкая. Набросок, картина, взгляд — à la Maupassant. Суть рассказа в том, что, даже когда появляется возможность переплыть океан и воочию увидеть европейскую реальность, поехать в Париж и узнать хоть что-то о жизни, известной лишь по романам, — герой не двигается с места, никуда не едет. Он заворожен тем, что знает из литературы, тем, что ему известно давно и лучше всех. Сама по себе идея не так уж и хороша, но ее можно заострить. Главное тут — сама ситуация, то, что за ней кроется.

1891

13 июля, отель "Марин", Кингстаун, Ирландия

Надо приложить все силы к тому, чтобы с успехом, с триумфом написать очень много очень коротких вещей. Последнее время с полдюжины таких набросков уже написаны, но, чтобы войти во вкус, потребуются время и сноровка. Прежде я никогда не пытался ставить себе такую задачу; впрочем, предельная краткость — необходимое условие для создания лишь некоторых произведений, остальные могут быть одни короче, другие длиннее. Не стану вновь пускаться в объяснения, чем я при этом руководствуюсь; достаточно будет сказать, что причины, меня к тому побудившие, более чем серьезны и убедительны. Если я и в самом деле хочу развязать себе руки, чтобы всерьез писать для театра, ни в коем случае нельзя связывать себя обещаниями сочинять романы. И это лишь одна из многих причин; довольно, впрочем, будет и ее, ведь задача, которую я перед собой ставлю, — творческая. Под творческой задачей я понимаю par excellence[2] соображение о том, что, если писать короткие вещи, получаешь воз-

1. Поль Бурже (1852–1935), Жюль Леметр (1853–1914) — французские писатели.
2. В основном (*франц.*).

можность касаться многих тем, сюжетов, держать в руках многообразные нити жизни...

Все это давно продумано, прояснено, переварено и вылилось в глубокое и чистое вдохновение. В результате подобных раздумий я пришел к выводу, что необходимо только одно — дать себе *волю*! Это я твержу всю жизнь, то же самое я говорил себе в далекие дни бурной и страстной юности. А меж тем так ведь себе волю полностью и не дал. Насущность этой воли я ощущаю почти физически, она давит на меня, преследует, мне начинает казаться, что в ней — мое спасение, мое будущее (если оно мне суждено). Ведь я владею всем необходимым, я полон сил — нужно лишь использовать эти силы, настаивать на своем, упорствовать, делать больше, много больше, чем уже *сделано*. А для этого поверить в себя sur la fin[1], коснуться, насколько это возможно, самых разнообразных сторон жизни, добиться глубокого, мощного, чистого звучания. Ведь жизнь в моем-то возрасте, при моей художественной отзывчивости — у меня, так сказать, в кармане. А потому — вперед, мой мальчик, вперед и ни шагу назад, тебя поджидает долгая и счастливая золотая осень. Берись за все, делай все, преображай все — будь творцом, будь знаменит, сражайся до последнего. Тебя подстерегают сомнения и разочарования, но ведь они всего лишь многочисленные и неотвратимые отклонения от наших идеалов. Передо мной поле, которое мне предстоит вспахать; оно засажено цветами, которые мне предстоит сорвать. Но — довольно общих слов, они носятся в воздухе, ими полнится творческая и даже частная жизнь. Вникай в *частности*. Мне нужно лишь жить и трудиться, смотреть и чувствовать, *собирать* и наблюдать. *Подрамник* под рукой — остается только вставить в него портрет. Пиши же их, эти портреты, пиши и впредь, не останавливаясь.

22 октября, Девир-гарденз, 34

Вчера закончил нелегко давшуюся мне статью про Д. Р. Л. для январского номера "Атлантика"[2] и должен сразу же садиться за рассказ, обещанный Кинлоку-Куку[3]. Понемногу прихожу в себя от deboires[4] после спектакля Эдварда Комптона[5] по моему "Американцу". Не стану воз-

1. До конца (*франц.*).
2. Джеймс писал эссе-некролог о Джеймсе Расселле Лоуэлле, который был напечатан в январском номере "Атлантик мансли" за 1892 г.
3. Рассказ, обещанный издателю лондонского "Инглиш илластрейтед мэгэзин" сэру Клементу Кинлоку-Куку, так и не был написан.
4. Неприятного привкуса (*франц.*).
5. Эдвард Комптон (1854—1918) — английский актер и режиссер; основатель театра "Комптон комеди компани" (1881—1918), известного своим классическим репертуаром (Шекспир, Шеридан, Голдсмит и др.).

вращаться здесь к этому печальному эпизоду, которого я еще не пережил и который, чувствую, еще скажется на моей будущей жизни. Жить же я буду ради нескольких вещей и прежде всего ради того, чтобы, в соответствии со своей давней, твердой и непоколебимой решимостью, добиться в театре прочного, почетного (если в театре есть хоть что-то почетное) и безусловного успеха. Пока же, дабы зализать полученные раны, утешиться и обрести неприкосновенное прибежище от всех этих пошлостей и страданий, я скрылся от мира в этой тихой, благословенной обители в благородном стремлении отдаться целительному и всепобеждающему творческому порыву. Возвращаюсь к творчеству наделенный бесценными опытом и мудростью, необходимым материалом, а также решимостью и возросшими способностями. Мерзости, с которыми я столкнулся, ныне воспринимаются мною как благодеяние — теперь-то я понимаю, что не мог, не должен был пытаться их избежать. Ах, этот ужасный закон художника — закон плодоношения, оплодотворения. Закон, в соответствии с которым художник из всего извлекает истину; закон, иными словами, приятия всякого опыта, всякого страдания, *всякой* жизни, *любых* возможностей, ощущений и истолкований. Держаться за все это, стремиться к совершенству, ко всему полноценному и самому лучшему; неустанно идти на свой собственный свет, идти терпеливо, мужественно, последовательно; жить в стремлении к идеалу, оправдывать свое существование — это и только это тот *единственный* урок, какой я вынес из жизни. Слова эти слабы и туманны, зато опыт и цели сродни золотому слитку или алмазу. Разочарования и упущения становятся утешением, достоинством, радостью жизни — угнетенное состояние испытывает лишь тот, кто лишен светоносного рая — рая искусства. Стоит мне опять войти в сей райский чертог, переступить через обожаемый порог, вступить под его высокие своды, в небесные сады — и царство истины вновь откроется мне, передо мной вновь предстанут его необъятные просторы. Воздух жизни наполняет мои легкие, свет победы озаряет все вокруг, и я вижу, я творю.

23 октября, Девир-гарденз

Жить в мире созидания, проникнуть в него и остаться в нем, посещать его, обитать в этом мире, думать сосредоточенно и плодотворно, вызывать вдохновение глубоким, внимательным и неустанным созерцанием — вот то, что единственно необходимо. Я же — увы, слишком часто — пре-

небрегаю всем этим от лени, от рассеянности, от невнимания, а еще от странного страха дать себе волю. Если я справлюсь с этой робостью, мир — мой.

1892

5 февраля

С точки зрения темы, предмета изображения, пьеса и рассказ — одно. Форма у них, безусловно, разная, но enquête[1] один и тот же, то же отношение к миру. Вдумчивый, внимательный, целенаправленный, постоянный поиск будет той прочной сетью, которой ловится и тот, и другой жанр.

16 марта

Рассказ о слуге, которого заподозрили в чем-то дурном, в том, в чем обычно подозревается в Лондоне прислуга: в чтении писем, дневников, в подглядывании, слежке. Ни в чем не повинный, не способный ни на что дурное слуга обвиняется в грешках, совершенных, как выясняется, его хозяином или хозяйкой[2].

27 декабря

Сказано в защиту молодого человека, которого обвиняют в эгоизме: "Он не *себя* любит — он любит свою *молодость*", или: "Это не *себя*, а свою *молодость* он любит. Его вины тут нет!" "Самое красивое слово в языке? — Молодость!"

1893

7 мая, отель "Националь", Люцерн

Язык театра, неотразимая драматургическая форма волнуют меня уже очень давно, однако у меня выдалось несколько свободных дней (не стану вдаваться в подробности, отче-

1. Здесь: подход (*франц.*).
2. Тема подозреваемой прислуги постоянно встречается в записных книжках Джеймса (записи от 21 декабря 1895 г., 16 мая и 5 октября 1899 г.).

го так получилось, об этом обстоятельно говорится в другом месте), и мне бы хотелось обмакнуть перо в *другие* чернила — в священную влагу, что зовется прозой. В минуты горьких разочарований, тягот устрашающей театральной профессии более всего утешает мысль о том, что литература терпеливо ждет меня у дверей, и стоит мне только отодвинуть засов, как войдет изящная литературная форма, которая, что там ни говори, мне больше всего по душе и порывать с которой я вовсе не собираюсь. Я впустил ее, и опять потянулись счастливые часы, переживаю их вновь, кладу еще один камень в основу скромного литературного памятника, который дано мне было воздвигнуть. Размер прозаической вещи значения не имеет — нужно возделывать свой собственный сад. Писать много, писать безукоризненно — вот отдохновение, вот прибежище. Какая-то рукопись всегда должна быть, так сказать, про запас. Пусть хотя бы начало — мало-помалу повествование будет расти. Вот и в этих записях найдется никак не меньше полдюжины набросков. И я не говорю себе: надо их дописать; в этом нет необходимости — так досконально я их знаю, чувствую.

30 августа

Меня преследует желание излечиться от судорожной потуги все сжимать, сокращать до предела. Поневоле задаюсь вопросом, не создаю ли я себе тем самым излишних трудностей. Один Бог знает, как все мы дорожим сегодня краткостью, как высоко ценится сжатость. Но дело ведь не в краткости, а в *весомости*. Весомость, значимость — в наше время все. Пытаться втиснуть ее в заранее посчитанное, мизерное число слов — дело зряшное, пустая трата времени. Есть превосходные примеры короткого романа — и прежде всего прелестный "Pierre et Jean"[1]. Октав Фейе[2] с присущим ему изяществом также весьма чувствителен к объему своих книг. Хочу взяться за что-то, что удалось бы написать за три месяца, — размером с "Pierre et Jean". Был бы рад, если б эта вещь и в других отношениях была похожа на роман Мопассана. Великий вопрос *предмета изображения* окутал меня непроницаемым мраком. Это же самое главное, самое главное. У меня есть в голове две-три вещи, но они насквозь ироничны, а сейчас мне нужна не ирония. Мне хочется написать что-то изы-

1. "Пьер и Жан" (1887) — роман Ги де Мопассана.
2. Октав Фейе (1821—1890) — французский новеллист и драматург.

сканное — сильное, крупномасштабное, человечески важное, где будут характеры, искренность, страсть; что-то по-настоящему драматическое. Хороши все жанры и темы, лишь бы они не были сверхчеловечны! У меня на уме две вещи, и надо бы здесь сказать о них подробнее. И тут мы возвращаемся к старому-престарому уроку — искусству *размышления.* Когда я вспоминаю этот урок, все вокруг словно бы освещается, я вновь ощущаю многообразие человеческих типов и ситуаций, *вибрацию* жизни. Здесь все страсти, все возможные человеческие комбинации. И, о счастье, еще ведь остается время для чтения! Страсть эта, впрочем, слишком сильна, чтобы о ней говорить, она скрыта за тяжкой, жадной тишиной...

1894

23 января

Plus je vais, plus je trouve[1], что единственное утешение, единственное прибежище, окончательное решение насущного вопроса жизни — в постоянной, плодотворной, сокровенной борьбе с конкретной идеей, темой, возможностями ее раскрытия, с выбором места повествования. Это — бальзам, избавление, спасительная надежда. Нет таких усилий для достижения этой цели, что были бы напрасными, нет уверенности, что была бы тщетной, поражения, которое не обернулось бы победой. <...>

17 февраля

Пару ночей назад мне пришла в голову мысль о молодом (судя по всему, молодом) человеке, который хочет признаться в какой-то тайной печали, беде, повинности — но некому[2].

17 апреля, Венеция, Каса Бъондетти

После стольких проволочек и неудач, сижу, наконец, здесь[3] в слабой надежде, что удастся опять взяться за работу. Последние шесть недель, две-три из которых перед отъездом

1. Чем дальше я иду, тем больше понимаю (*франц.*).
2. Этот же мотив встречается в записях от 21 апреля 1894 г., 7 мая 1898 г., 16 февраля 1899 г.
3. То есть в квартире на Гран-канале, которую до Джеймса занимала американская писательница Констанс Фенимор Вулсон (1840–1894).

из Лондона меня преследовало какое-то загадочное недомогание, были принесены мной в жертву ненасытному Молоху, потрачены на нескончаемые личные и общественные обязательства, на выслушивание чужих откровений о бессчетных злоключениях и невзгодах. Basta[1].

20 апреля

Сегодня утром явилась мне живая, дерзкая, откровенная во всей своей полноте человеческая комедия. Берись же за нее!

21 апреля, Каса Бьондетти

Взялся! Вчера утром немного писал; но тема, пусть она и хороша, почему-то мне не дается — потому, может, и не дается, что хороша. Пока никак не получается нужная мне здесь остраненность. Но — получится, выйдет лучше некуда: здешние тихие, безмятежные утра для того и предназначены. Они для меня — всё! Или они только хотят быть всем, и их еще надо упрашивать? *Работа* — вот оно, высшее благо! Ohne Hast, ohne Rast[2]. Обдумывай и впитывай! На одно смотри, о другом суди, мысленно возвращайся к третьему! Все это помогает, насыщает, обогащает...

18 ноября

Вот что мне недавно пришло в голову. Люди, между собой близкие, по-разному, порой прямо противоположным образом, реагируют на тяжелые ситуации и дурные поступки, связанные с их домом, семьей и пр. Их отношение к обесчещенному, заблудшему, согрешившему, провинившемуся члену семьи поделит их на два лагеря и составит основной конфликт произведения. Между собой, таким образом, вступят в противоречие как бы два вида гордости. Гордость, в которой человек замыкается, ожесточается, склоняется к тому, чтобы, не вникая в суть происшедшего, устыдить провинившегося, отречься от него, *принести его в жертву*. И гордость, которая страдает, прячется, отворачивается от мира и, страдая, испытывает чувство общности с провинившимся, не в силах порвать с ним. <...>

1. Достаточно, хватит (*итал.*). Любимое словечко Джеймса.
2. Без спешки, без отдыха (*нем.*).

1895

23 января, Девир-гарденз

Опять берусь за свое старое, испытанное перо, перо всех моих незабываемых усилий и духовных борений[1]. Себе сегодня мне сказать больше нечего. Передо мной по-прежнему большое будущее. Высокое и полноценное. Именно теперь смогу создать я труд всей своей жизни. И создам... Нужно только научиться без страха противостоять трудностям... Но все это невыразимо — слишком глубоко и сокровенно для слов. Пусть же эти мысли останутся под священной пеленой молчания...

14 февраля, Д. Г. [Девир-гарденз. —*А. Л.*]

В голове у меня, слава Богу, полно образов. Их, впрочем, никогда не бывает достаточно. Дай же, наконец, себе волю — отдайся всему тому, к чему ты все эти годы (столь героически, мне кажется) стремился, чего с таким нетерпением ждал — к увеличению *количественного* потенциала творческого акта. Ты молился, надеялся, что научишься работать *больше*. И вот теперь, ближе к концу, умение это в определенном смысле пришло. Это все, о чем я прошу. Ни о чем больше. И склоняюсь перед судьбой в покорности и благодарности. На этот раз — в благодарности. Но чтобы благодарность была реальной и соразмерной, она должна найти свое выражение в действиях — значительных и последовательных. В грандиозном и блестящем творческом порыве. Basta...

15 июля, Девир-гарденз

Вдали маячат неясные очертания зловещей толпы, миллионов американцев. Они словно набегающие волны — варвары Римской империи.

8 сентября, отель "Осборн", Торки

Я нахожусь перед необходимостью писать несколько вещей одновременно; многое обещано и брошено[2]. Хватит рас-

1. Джеймс окончательно порывает с театром после провальной премьеры его пьесы "Гай Домвилл", состоявшейся в январе 1895 г. в лондонском театре "Сент-Джеймс".
2. В 1895 г. Джеймс обещал дать три рассказа в "Атлантик", согласился написать два романа для лондонского издательства "Хайнеман", а также — новеллу для журнала "Космополис", первый номер которого должен был выйти в январе 1896 г.

суждать, пора браться за дело. Кстати, и на подобные замечания тратить время очень глупо! Ведь чувства, которые я испытываю по этому поводу, куда глубже, чем слова, которыми их выражаю!

Сейчас приходится возвращаться к одному из небольших рассказов, я обещал их в "Атлантик". Вопрос этот для меня, увы, не нов и сопряжен с малоприятными обстоятельствами. Под малоприятными обстоятельствами я разумею бесполезный труд, на который я себя обрекаю, пытаясь сочинить короткий (по-настоящему короткий) рассказ. Я завершаю "Красивый дом", но вместо заказанных мне Скаддером[1] 10000 слов получилось, как я ни старался, без малого 30000, вследствие чего я остался с произведением, которое *ему* не нужно. Мне же придется теперь пристраивать его на условиях для меня унизительных и — в лучшем случае — невыгодных. Ах, не стану здесь искать корни моего злосчастного многословия — поисками этих корней я уже сыт по горло! Достаточно будет дать себе ответ на простой вопрос: "*Могу* я или нет написать вещь размером в 10000 слов?" Ответить на этот вопрос отрицательно я определенно не готов. Все дело, боюсь, не в том, что краткость мне не дается, а в том, что иду я по *ложному* пути. Все дело в том, что *малая* тема представляется мне *мелкой*. Я не снисхожу до простых вещей. Я почти всегда берусь за тему, требующую развития, и гибну под ее хитросплетениями, ибо ничто не притягивает меня так сильно, не доставляет такой радости, как сюжетные хитросплетения. Я слишком боюсь всего *банального*, а бояться тут нечего — опасность невелика. Я должен постараться написать вещь, не превышающую 10000 слов, — искусство это пойдет мне только на пользу. А для этого — ограничить предмет изображения, иными словами описывать всего один эпизод, одно событие. К произведениям "однопланового", "однособытийным" относятся "Истинные аристократы", "Средний возраст", "Бруксмит", даже "Частная жизнь" и "Оуэн Уингрейв"[2]. В основе же остальных лежат идеи, требующие сюжетного развития. Cherchons, piochons, patientons — tenons-nous-en[3] над произведениями противоположного типа. Постарайся браться *только и исключительно* за то, что представляет собой ОДНО ЦЕЛОЕ, что не выходит за рамки своего начала и своего конца...

1. Хорэс Элиша Скаддер (1838–1902) — американский писатель, издатель; с 1890-го по 1898 г. — главный редактор "Атлантик мансли", где печатался Г. Джеймс.
2. Повести Г. Джеймса.
3. Будем, не покладая рук, напряженно, набравшись терпения, трудиться (*франц.*).

15 октября, отель "Осборн", Торки

Мой небольшой рассказ (речь идет о "Красивом доме") растет у меня на глазах; получится не меньше 30000 слов. И хотя его размеры, ввиду незначительности темы, не могут меня не настораживать, рассказ, думаю, выйдет недурен...

21 декабря, Девир-гарденз, 34

<...> Мой мятущийся ум в полной мере ощущает глубокий смысл [краткости. — *А. Л.*]. Материал для малых вещей, которые строятся на наблюдательности, размышлении и фантазии, встречается на каждом шагу. Одно можно сказать с уверенностью: чем больше мне будет хотеться писать малые вещи, тем больше их у меня будет. И пусть они попадают ко мне прямо из жизни, которую я в себя впитываю. Они придут, обязательно придут; уже приходят, пришли. Есть иллюстрации, примеры, образы, типы, выражения — только подставляй руки, только успевай собирать! A l'oeuvre, mon bon, a l'oeuvre — roide![1] <...>

Давай-ка я сяду и в эти последние часы обольстительного утра набросаю три-четыре вещи, три-четыре идеи, которые можно будет использовать в рассказе длиной 5000 слов, что составляет 50 моих рукописных страниц. Суть этих набросков в том, что в них описывается — кратко, живо, четко — всего одно событие. <...>

Меня заинтересовала статья одного француза в "Двухнедельном обозрении"[2], где говорится о том, как воспринимается флирт Française и Anglaise[3]. Первая считает, что, если мужчина и в самом деле ею увлекся, она *обязана* — в качестве компенсации — продолжить с ним отношения; вторая же постарается "дать задний ход". И та, и другая понимают, что "это серьезно", но выводы делают прямо противоположные. Мне в моих скромных целях мысль эта подходит как нельзя лучше. Как ее использовать? В переписке, где они будут обмениваться монологами, отражающими фактическую сторону дела? Или как-нибудь еще? Свести вместе двух мужчин? Или двух женщин? Закон такого рода историй требует одного —

1. За дело, мой хороший, за дело, и будь непреклонен! (*франц.*)
2. Содержание этой статьи использовано Джеймсом в рассказе "Данный случай".
3. Француженкой... англичанкой (*франц.*).

непременного, *безжалостного* упрощения. Посмотрим, что получится — тема, во всяком случае, у est[1]. Краткости я здесь, безусловно, не добьюсь, разве что пойду на чудовищные сокращения; подобные усилия, обычно достойные всяческой похвалы, в данном случае могут лишь испортить дело. Не будет ли выходом, моим biais[2], рассказ от третьего лица, от моего привычного стороннего наблюдателя, "всезнайки", человека, являющегося конфидентом либо двух женщин, либо двух мужчин? Остановлюсь, пожалуй, на двух женщинах. Это обеспечит мне notes[3], конфиденциальность, рассудительность, остроумные, язвительные истории какой-нибудь умной, ядовитой пожилой женщины, которая была знакома с обеими и devant laquelle la chose se passa. Voila...[4] <...>

Безнравственная знатная дама предположила, что ее служанка за ней шпионит, читает ее письма, "наслышана" о ее делах, "как и все служанки на свете". Служанка же наивна, честна. Она теряет место — mise à la porte[5], ибо, когда ее хозяйка себя окончательно скомпрометировала, она не может à la improviste[6] ей помочь, спасти ее. Ведь тогда бы ей пришлось повести себя так, будто она все заранее знала — знать же она могла, только если бы и в самом деле подслушивала и подглядывала.

Рецензентка ereinte[7] своего знакомого писателя, пишет на его романы оскорбительные рецензии, а все потому, что rageusement[8] его любит. Издателю это становится известно — рассказ может так и называться: "История издателя"[9]. Центральное место рассказа — вопрос: как ее остановить? "Напишите про нее что-то хорошее и дайте ей знать, что автор этой рецензии — вы". — "Но все, что она пишет, вызывает у меня отвращение". — "И все же попробуйте что-нибудь навалять". Романист пишет — никакого результата. В этом concetto[10] что-то, пожалуй, есть (впрочем, что-то крайне незначительное — даже для рассказа в 5000 слов), но действие уводит куда-то не туда. Laisser cela[11] до того времени, пока идея окончательно не прояснится. <...>

1. Уже есть (*франц.*).
2. Окольным путем (*франц.*).
3. Наблюдения (*франц.*).
4. И на глазах у которой произошла вся эта история. Так вот... (*франц.*)
5. Выставлена за дверь (*франц.*).
6. Сразу, экспромтом (*франц.*).
7. Изводит (*франц.*).
8. Нестерпимо, мучительно (*франц.*).
9. Рассказ Джеймса "История издателя" вышел в мае 1898 г.
10. Замысле (*итал.*).
11. Оставим это (*франц.*).

1896

21 декабря. Девир-гарденз, 34

Наконец-то, в кои-то веки, я уяснил себе, что *сценический* метод для меня — высшая ценность, главная цель, мое *единственное* спасение. *Действие* становится для меня все важнее и важнее, это то, что — для *меня* по крайней мере — создает L'OEUVRE[1], а L'OEUVRE в том, чем я занимаюсь, — больше Бога. Так вот, при моей страсти к действию, к композиции сценическая форма — это то единственное, чему я могу довериться. ОКОНЧАТЕЛЬНО И НАВСЕГДА мне это стало ясно пару дней назад, когда я читал (в гранках) несравненного "Йуна Габриэля"[2]. Теперь, должен откровенно признаться, с помощью сего великолепного подспорья я смогу наконец выбраться из беспросветной чащи нескончаемой малютки Мейзи[3] — а ведь мне еще предстоит написать не меньше 10000 слов. Если я пойду этим путем, и *никаким другим*, если идти буду решительно и победоносно — слова мне подчинятся.

1898

8 мая, Девир-гарденз

L'honnête femme n'a pas de roman[4] — прекрасная "литературная" (?) тема для небольшой вещи. Вывод: если женщина заводит роман, она не честна; если не заводит — не женщина.

1899

22 января. Лэм-хаус[5]

Джордж Александер попросил меня дать ему и мисс Дэвис[6] мою пьесу "Дело с концом", и я высказал ему все свои со-

1. ТВОРЕНИЕ (*франц.*).
2. Пьеса Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" вышла в 1896 г.
3. Джеймс имеет в виду свой роман "Что узнала Мейзи", выходивший серийными выпусками в журнале "Нью ревью" с января по август 1897 г.
4. Честная женщина не заводит романов (*франц.*).
5. В сентябре 1897 г. Джеймс взял в долгосрочную аренду (на двадцать один год) дом Лэм-хаус в Райе, в Суссексе, а в июле 1898 г. приобрел этот дом в собственность.
6. Сэр Джордж Александер (наст. имя Джордж Александер Гибб-Сэмсон; 1858–1918) — английский актер и режиссер, директор театра "Сент-Джеймс", где шла — и провалилась — пьеса Джеймса "Гай Домвилл". Фэй Дэвис (1872–1945) — американская актриса; играла в труппе Джорджа Александера; прославилась в роли Флавии в пьесе Энтони Хоупа "Пленница Зенды".

мнения и возражения. При этом написал, что сочиню для него *свежую* одноактную пьесу. Как все же странно, что возобновление отношений с этим пошлым театром опять волнует, трогает меня. Нет, не с театром, таким же ненавистным, как и раньше, а с ДРАМОЙ, с божественной, ни с чем не сравнимой художественной формой, от которой начинает учащенно биться слабый пульс и на глаза наворачиваются прежние слезы. Ее дыхание вновь навевает мысли грустные и одновременно забавные. Серое, ветреное, пустынное воскресенье в Райе, почти никогда не прекращающийся зимой ураганный ветер. Он гудит в старых трубах, стонет за старыми стенами. Я же сижу себе в маленьком теплом белом кабинете, и многое, многое возвращается ко мне. В Лондоне я пробыл три недели, сюда вернулся двадцатого, и меня, как встарь, подмывает поскорей сесть за работу. Да, неудержимо тянет писать — волнение свыше охватывает меня с новой силой. Все дело, как видно, в этой записке от Александера. В том, что он добивается меня, хочет от меня чего-то. Ах, одноактная пьеса! Ах, рассказ! По сути, один и тот же трюк! Кстати, о рассказе. Вчера вечером в Лондоне Эдмунд Г.[1] подал мне неплохую идею. Эту историю ему рассказала какая-то женщина, ставшая свидетельницей забавного эпизода. Она сидела в вагоне... Надо будет потом записать историю Госса о eplorée[2], оплакивающей смерть мужа вдове, которая, со слов рассказчицы, ехавшей в том же купе, садится в поезд в сопровождении родственников ее покойного супруга, сотрясается от рыданий, а затем, на следующей же станции, как ни в чем не бывало встречается с красивым джентльменом — тот входит в купе, и она тут же перебирается с ним в другой вагон.

27 января, Лэм-хаус

Вопреки всем сомнениям, коллизиям и тревогам, желание вернуться только к *большим* (сценическим, созидательным, "архитектурным") эффектам охватывает меня, сводит с ума, внушает мысль, что гораздо осмысленнее в *любую* минуту вызвать к жизни из глубин духа это сокровенное желание, чем предаваться *легковесным* литературным упражнениям. Ах, еще раз дать себе волю! Одна мысль об этом утешает и придает сил, кладет божественную руку на мои нервы, благотворно проясняет сомнения. *Начни* — и все получится. Задумай сильный короткий

1. Эдмунд Уильям Госс (1849–1928) — английский критик, эссеист, поэт, драматург, переводчик; близкий друг Джеймса.
2. Безутешной (*франц.*).

роман и возвращайся из Европы с готовой рукописью. Мне нужно, прежде чем начать, провести длинную tête-à-tête[1] с самим собой, все досконально с самим собой обговорить. Basta. Сегодня утром у меня была другая работа, и я только что поборол в себе чувство тревожного нетерпения. Меня преследует *американская* семья, про которую (в связи с "Ллойдом Брайсесом") мне рассказала прошлым летом миссис Камерон[2]. Но ведь тогда получится большая, всеобъемлющая картина, мне же хочется писать действие; сейчас я стремлюсь, жажду изобразить динамичное, конкретное действие, хочу вникнуть в это искусство, овладеть им. Но опять же — basta! À bientôt[3].

10 февраля, Лэм-хаус

Добрый, старый Мередит на днях (в воскресенье 5-го, в Боксхилле) подал мне отличную идею, которая укладывается в 5000 слов. Одна женщина выходит замуж за мужчину, который почти ничего про нее не знает. Он в нее безумно влюблен, но вот, по чистой случайности, заходит разговор о ее "прошлом". "Что с вами было? Было ли что-то... *такое*? Что-то, о чем я обязан знать?" — "Дайте мне шесть месяцев, — отвечает она. — Если вы и тогда захотите узнать о моем прошлом, я все вам расскажу, обещаю". Все это Мередит, разумеется, придумал, однако я тут же завязал узелок на память. Появилась тема, но во что она выльется? Вижу разные пути развития этой темы. Мне она представляется отчетливо *иронической*. Вот как я ее вижу. У всякой женщины есть прошлое, его не может не быть. Ее прошлым интересуется влюбленный в нее мужчина, он сделал ей предложение, и она его предложение приняла. Она, однако, любит не жениха, а совсем другого человека, его давнего знакомого. Жених же настаивает на своем: расскажи мне, мол, *все как есть, до свадьбы*. "Для меня, — говорит он, — это не будет иметь никакого значения, я не стану тебя упрекать, я просто хочу знать, ты должна мне сказать. Если ты считаешь, что *мне все равно*, то почему же ты молчишь?" — "Ах, я не могу тебе ничего сказать. Не могу и не буду. Да, я выйду за тебя замуж. Думаю, я тебе подойду. Но ты мне должен доверять. Клянусь, что, если по прошествии полугода у тебя по-прежнему будут вопросы..." — "Да, но ведь тогда я уже буду на тебе женат". — "Да, но тогда ты ничего не потеряешь..." — "Если не захочу знать?" — "Да, и даже если захочешь. Раз ты любишь меня теперь..." — "Значит, буду

1. Здесь: беседу (*франц.*).
2. Элизабет Шерман Камерон (1857–1944) — жена сенатора Джеймса Дональда Камерона, многие годы близкая подруга американского писателя и историка Генри Брукса Адамса (1838–1918).
3. До скорого (*франц.*).

любить и потом, верно? А что если у тебя было что-то плохое? Было и есть до сих пор?" — "Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Если захочешь узнать, сделаешь вывод, когда узнаешь. Посмотрим, как ты на это отреагируешь..."

15 февраля

Не забыть про забавный замысел. Причуда молодого человека: он женится на старухе и стареет, старуха же, напротив, молодеет. И шире: liaison[1] как перенос черт характера с одного супруга на другого (о каких чертах идет речь, предстоит еще уяснить). Они словно бы производят *обмен*. Вижу две пары. Одна — замужняя, *старая-молодая* пара. Наблюдаю за тем, как происходит "обмен" *у них* и тем самым проясняются отношения у второй незамужней пары (неразговорчивы, сдержанны, погружены в себя).

16 мая, Рим, "Hotel d'Europe"

Забавные истории:

Трус — le Brave[2]. Человек, который по чистой случайности совершил в прошлом мужественный поступок. Знает, что во второй раз он на него не способен и живет в *ужасе*, оттого что может возникнуть ситуация, когда ему придется себя испытать. От ужаса умирает.

Служанка, которую подозревают в чтении хозяйских писем.

Богатая женщина: nuancée[3], всеми порицаема, так богата, что хочет все отдать, сходится с маленькой бедной женщиной, готова *за нее* умереть; последней терять *нечего*; первой, в сущности, — тоже. <...>

1900

17 апреля

Записать идею "Jongleur"[4], которая пришла мне в голову во время сегодняшней послеобеденной беседы с Дж. С. [Джона-

1. Здесь: брак (*франц.*).
2. Смелый (*франц.*).
3. Противоречива (*франц.*).
4. "Жонглер" (*франц.*). Завершив две первые части этого романа, Джеймс бросил его и вернулся к нему лишь в 1914 г.; сокращенная версия так и незаконченного романа вышла лишь после смерти писателя в 1917 г.

таном Стерджесом. — *А. Л.*]. Мы заговорили о том, что поток самых пошлых банальностей захлестнул печать настолько, что "истинно" художественное произведение существует ныне вне печатного слова: оно сочиняется, parachève[1], а потом обсуждается в узком кругу. Отсюда идея о художнике, у которого есть скромный, безвестный собеседник; на нем художник себя испытывает, ему поверяет свой труд, прежде чем представить творение широкой аудитории. <...>

1901

27 августа, Л.-х. [Лэм-хаус. — *А. Л.*]

Идея — может быть даже первоклассная — пришла мне в голову после беседы с Уильямом[2]. Он между делом рассказал, как миссис У.[3] относилась к своему покойному мужу; умер он только что. Муж был неприметен, прост, невыразителен; она... про нее, впрочем, все уже сказано! Она его с трудом переносила, особенно же раздражало ее то, как он последнее время сдал, опустился, перестал походить на себя молодого, который был ей достойной парой. Она всегда исполняла по отношению к нему супружеский долг, но мужа не любила, стыдилась и, главное, нисколько этого не *скрывала*. Идея написать о них явилась мне, как это часто бывает, совершенно неожиданно; меня озарило, когда Уильям изрек: "Вот к чему приводит американская традиция honnête femme[4]!" Было бы, без сомнения, куда лучше, если б она бросила его, пошла своей дорогой. Если б она ему изменяла, не была ему образцовой женой, он бы не вызывал у нее такую неприязнь. <...> И мне сразу подумалось, что стоило бы написать небольшой роман из американской жизни по мотивам истории Уитменов. Я тут же представил себе американку, которая избирает путь, предложенный Уильямом. Вместо того чтобы вести жизнь "добродетельной жены" и страдать, она не строит из себя honnête femme; так же как и миссис У., она презирает — и презирает открыто — своего супруга, причем делает это в полном согласии со своей совестью. <...> Эта история вполне согласуется с моей старой идеей: описать углубляющуюся в Америке пропасть между мужчиной и женщиной, ибо все бо-

1. Здесь: сочиняется; буквально: завершается (*франц.*).
2. В апреле 1901 г. в Лэм-хаусе у Джеймса гостили Уильям Джеймс с женой и дочерью.
3. Сара Уаймен Уитмен (умерла в 1904 г.) — бостонская художница и археолог-любитель, которую братья Джеймсы высоко ценили.
4. Честной женщины (*франц.*).

лее заметным становится превосходство американки, впитывающей в себя культуру, над американцем, не интересующимся ничем, кроме денег и бизнеса. <...>

Из *Американского дневника*

Бостон—Кембридж—Лондон—Париж
25 ноября 1881–11 ноября 1882

Отель "Брунсуик", Бостон, 25 ноября 1881 года

Если записывать все, что следовало бы, моя еще не тронутая тетрадь, купленная в Лондоне полгода назад, заполнилась бы мгновенно. Как же давно не делал я пометок, не записывал мысли и наблюдения, не доверял, так сказать, листу бумаги свое сокровенное! За это время столько всего произошло, столько всего, что сейчас вспоминать, воспроизводить, сохранять прошедшее уже поздно. Я лишился слишком многого, оттого что утратил — а вернее, не приобрел — привычку вести дневник. Привычка же эта могла бы принести огромную пользу, и теперь, когда я стал старше, когда у меня появилось больше времени, когда литературный труд сделался для меня менее обременительным и я могу больше работать в свое удовольствие, — мне следует записывать даже самые мимолетные впечатления, фиксировать на бумаге все то, что со мной было и есть, что я вижу, чувствую, подмечаю. Я должен, иными словами, ловить и удерживать в памяти свою жизнь. В Америку я вернулся после шести лет отсутствия, и мне надлежит, покуда я здесь, многое увидеть, многому научиться, чтобы мое пребывание на родине не пропало даром. Я da vero[1] в Америке и пробыть здесь собираюсь, скорее всего, месяцев пять, не меньше. Я рад, что приехал, то был мудрый поступок. Мне было важно вновь увидеть les miens[2], оживить свои отношения с ними, вникнуть в суть этих отношений, во все то, что под ними подразумевается. Такие отношения являются частью человеческой жизни, и лучшая жизнь, наиболее цельная — та, что отдает себе отчет в подобных вещах. А для этого необходимо время от времени видеться с близкими, соприкасаться с ними. В остальном же приезжать в эту страну особой нужды не было. Мне тридцать семь лет, я свой выбор сделал, и, Бог свидетель, у меня теперь лучшего времени не предвидится. Я выбрал Старый Свет — это мой выбор, моя

1. И в самом деле, действительно (*итал.*).
2. Своих (*франц.*).

потребность, моя жизнь. Для меня великое благо и редкая удача, что вопрос этот решен давным-давно и что теперь мне остается лишь жить в соответствии с этим решением. Мои впечатления от здешних мест в точности такие, какие я ожидал; Америка с ее нравами, национальными особенностями, обычаями видится мне здесь и сейчас такой же, какой я ее воспринимал, находясь в Европе. Дело моей жизни — там, и с этим бескрайним Новым Светом je n'ai que faire[1]. Нельзя вдохновляться и Старым Светом и Новым одновременно — приходится выбирать. Нет ни одного европейского писателя, который бы взвалил на себя это тяжкое бремя, и я едва ли стану исключением. Для американца, впрочем, бремя это куда более тяжкое, ибо он *обязан* — пусть не прямо, а косвенно — иметь связь с Европой, тогда как европейцу нет и не должно быть до Америки никакого дела. Никому не придет в голову обвинять европейца по этой причине в узколобости. (Я, разумеется, имею в виду людей, занимающихся тем же, чем и я, а не экономистов, историков или философов.) Сегодня обществоведа, который пренебрегает Америкой, еще не назовут узколобым, но пройдет сто лет, быть может, пятьдесят, и его наверняка упрекнут в отсутствии кругозора. Что же до меня, то я в этом дневнике своими впечатлениями от Америки делиться не стану; не вижу, по правде сказать, необходимости (во всяком случае, не a propos[2] с Бостоном); каковы эти впечатления, я уже для себя сформулировал. Во многом они необычайно приятны, но, да простит меня Бог, я чувствую, что трачу здесь время понапрасну!..

Впечатлений последних шести лет — тех, что упомянуты в самом начале, — уже не воскресишь. А впрочем, они ведь не пропали даром, они укоренились в моем сознании, стали частью моей жизни, моей натуры. К тому же если не найдется дел более важных, я всегда могу предаться увлекательному и даже полезному занятию — вспомнить все то, что довелось мне пережить, с тех пор как я покинул родные берега. События эти живы в моей памяти, и я нисколько не сомневаюсь, что сумел бы, дай я себе труд, отразить их на бумаге. Прекрасно помню, с каким неукротимым желанием обратился я к Европе, с какой пылкой и вместе с тем робкой надеждой, с каким невнятным и вместе с тем вдохновенным стремлением расстался я с les miens. Помню, как летом 1875 года, вторую половину которого провел я в Кембридже, у меня созрел план вновь переплыть океан и задержаться в Европе на несколько лет. Эта мысль явилась мне по возвращении из Нью-Йорка, где я коротал холодную, долгую,

1. Мне делать нечего (*франц.*).
2. Здесь: в связи (*франц.*).

тоскливую зиму, завершая “Родерика Хадсона” и сочиняя рассказы для “Нейшн”[1]. (Если б не эти два дела, я бы, наверно, не дожил до весны.) Из Европы я вернулся годом раньше; в начале сентября 1874 года я отплыл в Бостон вместе с Уэнделлом Холмсом и его женой[2]. Тогда я вернулся на родину, чтобы “испытать” Нью-Йорк, посчитав своим долгом попробовать, пока я еще молод, пожить дома и не возлагать на Европу слишком большие надежды, тем более что тогда Европа ассоциировалась у меня в основном с Италией, в которой я провел не самое лучшее время и которая, при всей своей прелести, не показалась мне идеальным местом для жизни. Мне хотелось чего-то более энергичного, и я отправился домой — в надежде, что Нью-Йорк заразит меня своей энергией. Должен сказать, что возвращался я не без некоторого скепсиса, но с самой искренней готовностью “проявить интерес”. Интерес я проявил, но не слишком большой и очень скоро понял цену своего эксперимента. Понял я и то, что мне необходимо вновь пересечь Атлантику, однако это понимание пришло много позже; одним жарким летним днем, идя по Куинси-стрит, я вдруг осознал, что лучше всего будет отправиться в Париж, куда я и отбыл (20 октября 1875 года) с намерением провести там несколько лет. По правде сказать, хотелось мне не в Париж, а в Лондон, Париж же был всего лишь перевалочным пунктом. Но тогда Лондон был мне заказан; я рассчитывал, что смогу переехать в Англию в расцвете лет, но все мои попытки осесть в Лондоне наталкивались на всевозможные препятствия, которые теперь, когда я Англию неплохо изучил, вовсе не кажутся мне столь уж непреодолимыми. Когда, спустя год, я столкнулся с ними лицом к лицу, выяснилось, что они совершенно несущественны. Впрочем, год, прожитый в Париже, потерян не был — скорее наоборот. По пути в Париж я провел в Лондоне, в отеле “Стори” на Доувер-стрит, пару недель. Стоял ноябрь — сумрачный, туманный, грязный, дождливый, — к тому же в городе у меня не было, по существу, ни одного знакомого. <...> И тем не менее великий город очаровал меня, и я отдал бы все, чтобы остаться в Лондоне, вместо того чтобы ехать в Париж. Однако я поехал в Париж и целый год прожил в доме номер 29 по рю де Люксембург (ныне рю Кампбрен). Не стану описывать этот год; скажу лишь, что даром он для меня не прошел. Я узнал Париж и французов гораздо лучше, чем знал их раньше, я сблизился с Парижем, и близость эта останется со мной навсегда. Я писал репортажи в “Нью-Йорк три-

1. Роман Джеймса “Родерик Хадсон” публиковался серийными выпусками в “Атлантик мансли”, отдельным изданием вышел в 1875 г. в “Нейшн”.
2. Оливер Уэнделл Холмс (1841–1935) — американский юрист, государственный деятель, главный редактор журнала “Американ ло ревью”.

бюн", которые, хоть они и оставляли желать лучшего, для своей цели были вовсе не дурны, — заметного успеха, впрочем, они, конечно же, не имели. В ту зиму я часто виделся с Чарльзом Пирсом[1] — гениальность этого человека примиряла меня с его непереносимым характером. Весной в доме у госпожи Тургеневой я познакомился с Полем Жуковским. Non raggionam di lui — ma guarda e passa[2]. Я уж не говорю об Иване Тургеневе или о Гюставе Флобере, человеке сильном, серьезном, печальном, мужественном, натуре глубоко развращенной, но не развращающей; я всегда буду благодарить судьбу за то, что она свела меня с ним. Флобер мне необычайно нравился, да и он, мне кажется, ко мне привязался. Он был на голову выше всех остальных (как человек — не как собеседник), всех тех, кого я видел у него в доме по воскресеньям — Золя, Гонкура, Доде и других. Помню, как-то на неделе я заехал к нему днем и застал одного. Мы долго разговаривали, он почему-то прочел мне вслух стихотворение Теофиля Готье "Les Vieux Portraits"[3]. Мы заговорили о французских поэтах, и он сказал, что предпочитает Альфреду де Мюссе Теофиля Готье: il etait plus français[4]. Той зимой я часто ходил в "Комеди франсэз", хотя и не так часто, как в 1872 году. Тогда не проходило и дня, чтобы я не посещал этот театр. <...> Разумеется, я постоянно встречался с представителями небольшой американской "колонии", находящейся en plein Paris[5]. Все они были очень отзывчивыми, очень славными, гостеприимными людьми; у них был, можно сказать, "свой" Париж. Но какими же они были унылыми и неинтересными! Их общество было для меня обузой, и отчасти из-за них я в конечном счете решил не оставаться в Париже навсегда, как планировал, а бежать в Лондон. Хорошо помню, какой скандал устроила мне миссис С. и еще два-три человека, которым я не давал никакого права судить о своих поступках. Надо сказать, что американским женщинам, как никаким другим, свойственно с необычайной поспешностью присваивать себе это право. Помню, как Париж стал меня утомлять и разочаровывать; я никак не мог выбраться из этого отвратительного *американского* Парижа. Именно тогда я и возненавидел бульвары, ужасное однообразие новых кварталов. Я понял, что *своим* мне здесь не быть никогда. В Лондон я уехал в ноябре 1876 года. <...> Уж и не помню, что подвигло меня сказать себе: "Поезжай. Попробуй жить в Лондоне". Быть мо-

1. Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914) — американский математик, логик, философ; основатель философии прагматизма.
2. "Он не стоит слов: взгляни — и мимо" (*итал.*). Несколько видоизмененная фраза из "Божественной комедии" Данте. Ад (3, 51). Перевод М. Лозинского.
3. "Старые портреты" (*франц.*).
4. Он был бóльшим французом (*франц.*).
5. В центре Парижа (*франц.*).

жет, сыграло свою роль письмо от Уильяма, где говорилось: "Почему, собственно, не поехать в Лондон? По-моему, это именно то, что тебе нужно". Всего одно слово со стороны действует порой (на *меня*, во всяком случае) сильнее, чем то же самое слово, сказанное самому себе, пусть и многократно повторенное. И я попробовал жить в Лондоне, который превзошел все мои самые смелые ожидания. Я ужасно полюбил его, он стал моим якорем на всю жизнь. Вот я сижу за столом с мраморной столешницей в своем номере в бостонском отеле, пишу эти строки и испытываю жуткую, ни с чем не сравнимую тоску по Англии, мечтаю о том дне, когда в английском тумане проступят белые скалы Дувра. Описание пяти лет, которые я прожил в Лондоне и которые являются залогом еще многих десятилетий пребывания в этом городе, заняло бы много места и времени, а потому брошу на эти годы взгляд лишь самый беглый и поверхностный. Я снял квартиру на Пиккадилли, в доме номер 3 по Болтон-стрит; живу там и по сей день. В этой квартире оставил я, отправляясь в Америку, свои мирские пожитки. Там я многое *пережил*, многое перечувствовал, многое передумал, многому научился, многое сотворил — маленькая, скромно обставленная квартирка стала для меня храмом. Приехав в Лондон впервые, я не знал никого, сегодня же знаю многих, очень многих. J'y suis absolument comme chez moi[1]. Подобный опыт воспитывает — укрепляет характер, облагораживает ум. Говорить о Лондоне здраво или беспристрастно — непросто. Легким для жизни этот город не назовешь; он не радует глаз, не весел, неудобен для жизни, не лишен многих недостатков. Он всего лишь великолепен. Можно привести длинный список доводов, доказывающих, что Лондон совершенно непереносим. Туманы, дым, грязь, сумрак, сырость, расстояния, уродство, исполинские размеры, несметное число людей, тягостная обязанность вести благопристойные беседы, хорошие манеры, гибнущие под этими бесчеловечными размерами, — обо всем этом и еще о многом другом рассуждать можно без конца. Вы вправе назвать его безотрадным, громоздким, глупым, тупым, бесчеловечным, изнурительным по форме и вульгарным по своей сути. Все это я иной раз ощущал с такой силой, что говорил себе: "Ах, Лондон! Стало быть, не годишься и ты?" Но такое настроение мимолетно, и для всякого, кто воспринимает этот город таким, каким воспринимаю его я, Лондон из всех городов остается самым приемлемым. Я же воспринимаю Лондон как художник и как холостяк, как человек, наделенный наблюдательностью и призванный изучать человеческую жизнь. А ведь Лондон — величайшее средоточие человеческих жизней, самый полный

1. Здесь я у себя дома (*франц.*).

компендиум в мире. Человеческая особь представлена в этом городе лучше, полнее, чем где бы то ни было, и если Лондон откроет перед вами свои двери, то вам откроется многое. Все это я ощутил осенью 1876 года, когда поселился на Болтон-стрит. Знакомых у меня тогда было очень мало, время года было самое сумрачное и самое сырое — но я пребывал в состоянии непреходящего восторга. Я был совершенно свободен, будущее сулило мне плодотворный труд. В те дни я подолгу гулял под дождем; я овладевал Лондоном, присваивал его себе, чувствовал, что именно этот город мне и нужен. Я получил возможность покупать английские книги, я читал их по вечерам, сидя у английского камина. Трудно сказать, каким образом, но мало-помалу я знакомился с людьми, меня стали приглашать в гости и т. д. Сам я ради этого ничего не предпринимал, да и не мог предпринять — все происходило само собой. <...>

Мне захотелось выбраться из лондонского многолюдья, из лондонского шума и гама, из сетей лондонской жизни, чтобы на покое дописать роман[1]. Местом своего пребывания я выбрал Венецию. В путь я отправился 10 февраля, а вернулся в середине июля следующего года. Из Парижа, в котором я прожил без особых впечатлений недели две, но миновать который невозможно, я направился на юг, побывал в Авиньоне, Марселе, Ницце, Ментоне и, наконец, в Сан-Ремо, где провел прелестных три недели в обществе миссис Ломбард и Фанни Л. — они приехали ко мне из Ниццы. Работал я с утра до ночи и был совершенно счастлив. По утрам бродил по холмам среди олив над раскинувшимся внизу нелепым, черным, сбегающим вниз городком. Старые мощеные дороги, что взбегают вверх над Сан-Ремо под сумрачным светом олив, отличаются неизъяснимой прелестью. Внизу же виднелись глубокие ущелья, над которыми повисли старые деревушки, и ослепительно синее море, поблескивающее сквозь серую листву. Фанни Л. обычно меня сопровождала: прогулка доставляла ей такое удовольствие, что брать ее с собой было приятно. В гостиницу я возвращался ко второму завтраку и писал еще часа три-четыре. Затем, перед ужином, уже в сумерках я выходил на прогулку во второй раз. Спать мы ложились рано, но я поздно читал. Как-то вместе с Ломбардами я отправился в Чериану, странного вида старый горный городок. Эту поездку я никогда не забуду, такое не забывается: залитые солнцем величественные светлые холмы, среди них вьется, подымаясь все выше и выше, наша дорога; далеко внизу длинная, спускающаяся к морю долина; ярко-голубое Средиземное море, которое, чем выше мы

1. Имеется в виду "Женский портрет", который с 1880-го по 1881 г. печатался серийными выпусками в "Атлантик мансли", а отдельным изданием вышел в 1881 г.

взбирались, тем больше бледнело; изумительная тишина, бесконечный свет, заросли олив, бурые деревеньки, насквозь пронзенные дорогой, по которой едешь, задевая колесами дверные косяки. После этого я десять дней провел в Милане — трудился над романом и ни с кем не перекинулся даже парой слов. Милан был холоден, уныл и понравился мне куда меньше, чем в прошлый раз. Из Милана направился я прямиком в Венецию, где пробыл до конца июня — в общей сложности три-четыре месяца. Говорить о Венеции в нескольких словах невозможно, и все же не могу обойти этот город стороной. То было замечательное время, мне казалось, что за эти месяцы я вновь помолодел. Чудодейственная венецианская весна пришла и ушла, принеся с собой нескончаемую вереницу впечатлений, незабываемых часов. Я страстно влюбился в этот город, в его жизнь, в его людей, в его обычаи. Я задавался даже вопросом, не стоит ли в нем осесть — быть может, навсегда. Я смотрел необставленные съемные квартиры, мечтал, что буду возвращаться сюда каждый год. Приезжать буду *обязательно* — но не каждый год. <...> Я жил на Риве, 4161, quarto piano[1]. Вид из моих окон был una belezza[2]: освещенная солнцем лагуна вдалеке, розовые стены Сан-Джорджо, внизу изгиб Ривы, далекие острова, суета на набережной, гондолы. Здесь я усердно писал каждый день и закончил (фактически закончил) свой роман. Жизнь (повторюсь) была замечательной, иногда она казалась мне сказочной, чересчур праздничной. Утром я шел сначала к Флориану — завтракать, затем — купаться в Стабилименто Китарин, потом бродил по городу, заходил в музеи, наблюдал за уличной жизнью и т. д. В полдень, после второго завтрака в кафе "Квадри", я шел домой и работал до шести вечера. Если же из-за стола я вставал в пять, то до ужина около часа катался en gondole[3]. По вечерам я гулял, опять ходил к Флориану, слушал музыку на пьяцца[4] и два-три раза в неделю ходил в гости к миссис Бронсон. Дом миссис Бронсон стал для меня отдушиной, хотя общество, в котором она вращалась, было, на мой вкус, слишком американским. Поздней весной в Венецию из Рима приехала миссис В. Р., ставшая для меня отдушиной еще большей. Однажды мы поехали с ней на Торчелло и Бурано и обедали на берегу очаровательного канала. В конце апреля я поехал в Рим, где провел две недели, промучившись чудовищными головными болями. Рим, впрочем, был прекрасен. Я часто виделся с В. Р., совершил с ней несколько красивых поездок. Одна — погожим воскресным днем, за Понте Номентано, — запомнилась мне особенно хорошо. Мы вышли из экипажа и углубились в поле,

1. На четвертом этаже (*итал.*).
2. Необыкновенно красив (*итал.*).
3. На гондоле (*итал.*).
4. То есть на площади Сан-Марко.

где провели некоторое время. Непроницаемая тишина, бескрайнее небо воскресили во мне неописуемо прекрасные, ни с чем не сравнимые впечатления от Рима (1869, 1873). В Венецию я вернулся через Анкону и Римини. Из Анконы я поехал в Лорето, а оттуда — в Реканти: мне хотелось увидеть дом Джакомо Леопарди[1], чьи необычайно трогательные письма я читал в Риме. День выдался на зависть, прогулка — живописной, однако в дом Леопарди меня не пустили. Я увидел, однако, унылый горный городок, где поэт в одиночестве — странном, поразительном — провел большую часть жизни. Я разглядывал улицы, любовался видами, которыми любовался он. Изменилось мало что. В Римини я провел всего один вечер и познакомился с весьма любезным офицером; он пришел в восторг от возможности поговорить с forestiero[2] и провел меня (был воскресный вечер) по городу. <...> В Урбино я не поехал по причине весьма серьезной: я так нервничал из-за прерванной работы, что каждый потерянный день был для меня пыткой, мне хотелось поскорей вернуться в Венецию к своей рукописи. Но в июне я отвлекся от работы еще раз, отправившись в пятидневную giro[3] в Виченцу, Бассано и Падую. В Виченце я провел три дня из пяти; то была старая Италия и старое, изведанное чувство этой страны. До сих пор жив в памяти день моего приезда. Я сижу в теплой тени перед кафе. Над старой, мощенной булыжником улицей возвышается большой дворец, напротив него высокая campanile[4]. Кругом все такое нежное, неторопливое, такое тихое, такое веселое и доброжелательное, такое итальянское. Ни дуновения, лишь тускнеет яркий свет и приближается летняя ночь. Перед моим отъездом из Венеции жара сделалась нестерпимой, ночью было так же душно, как днем. Наконец я покинул Венецию, на удивление счастливый период моей жизни подошел к концу — но многое я увез с собой. <...>

Кембридж, 26 декабря

Я приехал сюда 23-го на Рождество. Уилки[5] впервые за несколько лет вернулся с Запада, чтобы встретиться со мной. Пишу эти строки в старой задней гостиной, где в свое время мы жили вместе с Уильямом, а теперь я живу либо один, либо с бедным Уилки. Я не видел его лет десять и должен сказать, что для человека, с которым жизнь обошлась не лучшим образом, он

1. Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт-романтик.
2. Иностранцем (*итал.*).
3. Поездку (*итал.*).
4. Колокольня (*итал.*).
5. Уилки — младший брат Г. Джеймса Гарт Уилкинсон Джеймс; участник Гражданской войны, был ранен, умер от ран 38 лет.

нисколько не изменился. Время вернулось вспять, края многолетней разверстой пропасти словно бы вновь сошлись. Чувство прожитого возвращается ко мне. Я будто снова, помолодев, сижу здесь, мараю бумагу, предаюсь мечтам, что-то планирую, смотрю на мир, где должна решиться моя судьба, и мучительно страдаю от своего никуда не годного здоровья. Страдал я тогда так сильно, что вся моя жизнь, казалось, окрасилась в мрачные тона; теперь же я о том времени думаю иначе. Когда я, наконец, освободился от бремени боли, во мне сразу же зашевелились воспоминания и чувства подобно тому, как, если сдвинуть в лесу камень, под ним начинают шевелиться крошечные насекомые. В молодости слабое здоровье, физические муки — испытание тяжелое, однако в юные годы и то и другое переносится куда легче, ведь, несмотря на боль, мы испытываем радость молодости, и именно это первым делом приходит на ум, когда я пускаюсь в воспоминания о прошлом. Свежесть впечатлений и желаний, надежда, любопытство, энергия, чувство богатства и загадочности мира, лежащего перед нами, — во всем этом есть некое волшебство. Такое волшебство способна развеять лишь очень сильная боль, и в годы более поздние, даже если нам сопутствует успех, оно дает о себе знать в гораздо меньшей степени. Боль я испытывал и впрямь очень сильную, многие месяцы и годы дались мне нелегко. Но прошедшее свято, дурно вспоминать о нем сегодня — занятие пустое, никчемное.

Видение этих невинных лет возникает передо мной непринужденно, красочно. Никогда еще бедный больной не имел больше, чем я; никогда еще наивный юноша не ждал — страстно и вместе с тем терпеливо — большего от жизни. И теперь, когда я кое-чего от жизни дождался, когда многое из того, о чем мечталось, сбылось, я всегда волнуюсь, обращая свой взор в прошлое. Тогда, по крайней мере, я знал, чего хотеть, — мне хотелось увидеть мир. Сегодня мир — многое в нем — мне открылся, и в прошлое я смотрю в свете этого опыта. Более всего поражает меня определенность, безошибочность этого опыта. Мне удалось сделать многое из того, что когда-то хотелось, и успех, если можно так выразиться, протягивает теперь дружескую руку младшему своему брату — желанию. Помню дни, часы, книги, времена года, зимнее небо и занавешенные летом окна. Помню давние прогулки, давние устремления, давние радости и печали. Помню больше, чем могу сегодня описать...

Здесь и сейчас у меня только одно чувство, одно желание — вновь сесть за работу. Уже почти полгода не брался я за перо; проходят недели, месяцы, а мне нечего предложить миру, кроме этих пресловутых “впечатлений”! Затянувшееся безделье раздражает и угнетает меня, и хотя теперь, когда я оказался здесь, обидно сидеть на месте и (если представилась бы такая возможность) не видеть страны — мысль о том, что я ничего не

создам до конца зимы, для меня совершенно не переносима. Поэтому если бы мне пришлось выбирать между жизнью на одном месте, где бы я смог работать, и путешествием по стране, во время которого мне будет не до работы, — я, без сомнения, выбрал бы первое. А впрочем, возможно, удалось бы пойти на компромисс: немного поездить по стране и при этом не забывать про работу. Я полон планов, меня одолевают амбиции, ведь сейчас у меня самые продуктивные годы жизни. Накопился огромный материал, столько записей, впечатлений не собиралось никогда. После долгих лет ожидания, всевозможных препон я готов воплотить в жизнь самое желанное из всех моих начинаний — начать писать для сцены. Об этом я мечтал с юных лет, ничто не сулило мне столько радужных надежд, не внушало чувств более трепетных. Как странно, однако, что прежде я ничего подобного не писал; и не только странно, но и подозрительно. Порой мне начинает казаться, что мечта эта еще осуществится. Сейчас, во всяком случае, я вновь лелею эту мечту, горю желанием воплотить ее в жизнь. А впрочем, понятно, отчего раньше у меня не доходили до театра руки: все время надо мной висела какая-то мелкая, но неотложная работа, возникала необходимость зарабатывать, я так и не научился делать два дела одновременно, не подворачивался случай. Вдобавок, я жил с ощущением, что располагаю временем, что драма — высший род искусств, требующий от художника не только недюжинного природного дара, но и огромного опыта; и, выжидая, я прилежно изучал драматическое искусство, расчищал, так сказать, поле для нового вида деятельности. Думаю, теперь я могу сказать, что постиг искусство драмы — насколько оно вообще постигаемо на созерцательном уровне. Я овладел французской сценой — говорю это без малейших колебаний. Она у меня, можно сказать, в кармане, и мне теперь ясно, в каком направлении двигаться. Французский театр раскрыл передо мной сокровищницу мудрости. Сколько захватывающих часов он мне подарил, сколько бесценных мыслей навеял! Иногда, повторюсь, я искренне жалею, что не взялся за эту работу раньше. *Но в те годы это было невозможно*, к тому же я знал — мое время придет. И оно пришло; теперь надо только не упустить шанс, хранить его как зеницу ока. Лишь бы не отвлечься ни на что другое — ведь если раньше время работало на меня, то теперь оно будет работать против. "Je me resume"[1] — как говорят герои Жорж Санд. В мозгу всплывают воспоминания о том, с чего начиналось мое увлечение театром. Начиналось, разумеется, с первых увиденных мною пьес, с великих актеров, которыми (когда представлялся случай) я любо-

1. "Я берусь за дело" (*франц.*).

вался; с чтения новой пьесы А. Дюма, Сарду, Ожье[1]. Нет, мой дорогой друг, ничего из всего этого не пропало даром. Ces emotions-la ne se perdent pas; elles rentrent dans le fonds même de notre nature, elles font partie de notre volonté[2]. Воля не угасла, нет, более того, сегодня она еще только начинает крепнуть.

9 февраля 1882 года, Бостон, 102 Маунт-Вернон-стрит

Принимаясь за эти довольно бессмысленные записи, я не мог себе представить, что не пройдет и нескольких недель, как мне придется записать нечто невыразимо печальное. Вернувшись из Вашингтона 30 января (и добравшись до Кембриджа на следующий день), узнал я, что никогда более не придется мне видеть мою дорогую матушку. В воскресенье, 29 января, в присутствии тети Кэт[3], сидевшей в сумерках у ее постели (у матушки случился приступ бронхиальной астмы, но худшее, как казалось, было уже позади), она тихо преставилась. Для меня ее уход явился страшным ударом! Я всегда знал, что люблю ее, но понял — с какой нежностью, только когда увидел ее лежащей в саване в холодной северной комнате. За окном бушевала пурга, однако облик ее был столь же ясный, спокойный и благородный, как и при жизни. Я испытываю тяжкую, мучительную боль — слава богу, что боль эта сваливается на нас лишь один раз в жизни. <...> Когда я добрался до дома, все уже было кончено; отец, Элис[4] и тетя К. были на удивление спокойны — почти что счастливы. Казалось, матушка и сейчас с нами: в своей смерти она была так красива, в ней было все то, что мы в ней любили. Похоронили мы ее в среду, 1 февраля; Уилки приехал из Милуоки за пару часов до похорон. Боб[5] же находился дома уже месяц — ухаживал за матушкой. Стоял великолепный зимний день, ноги проваливались в снегу. Мы положили тело в склеп на Кембриджском кладбище, в той его части, что спускается к реке. Когда же наступит весна, мы выберем постоянное место для могилы и тело перезахороним. В давние времена я часто совершал длинные, одинокие прогулки по Кембриджу, и меня, помнится, посещала смутная догадка о том, что настанет день, когда кто-нибудь из нас найдет здесь свой вечный приют. Впрочем, на самом кладбище мне бы-

1. Викторьен Сарду (1831–1908) — французский драматург, автор водевилей и исторических драм. Эмиль Ожье (1820–1899) — французский драматург, автор социальных комедий.
2. Эти чувства не теряются; они возвращаются и становятся частью нашей природы, частью нашей воли (*франц.*).
3. Кэтрин Уолш — сестра матери Г. Джеймса.
4. В семье Джеймсов было пятеро детей: четыре сына и дочь Элис, которая умерла 43-х лет и всю жизнь страдала нервными припадками.
5. Робертсон Джеймс — младший брат Г. Джеймса; как и Уилки, участник Гражданской войны; всю жизнь прожил в семье старшего брата Уильяма.

вать не приходилось. Нет душевных сил писать о том, сколько всего ушло в могилу вместе с ней. Она была нашей жизнью, нашим домом, нашим оплотом. Благодаря ей мы держались вместе; без нее же мы сродни камышинкам, разбросанным по воде. Она была само терпение, сама мудрость, само материнство. Ее нежность, ее мягкость, ее природная доброта были ни с чем не сравнимы, и говорить о ней в *прошедшем* времени не поворачивается язык. Когда я думаю, кем она на протяжении многих лет была для нас, когда думаю о ее преданности всем нам, вместе взятым и каждому в отдельности; когда думаю о том, что последний раз слышал ее голос, целовал ее еще в декабре, перед отъездом в Вашингтон, — мне начинает казаться, что во всем моем существе не хватит чувства, чтобы оплакать конец такой жизни. Вместе с тем не могу не утешаться мыслью о том, что дело свое она сделала, ее долготерпение себя оказало сполна. Тяжкие заботы и печали, выпавшие на ее долю, она сносила без единого слова упрека, и усталость от жизни с возрастом легла на нее тяжким грузом. Я предпочел бы потерять ее навеки, чем видеть ее страдания, на которые она, быть может, была обречена, а потому мне доставляет нечто вроде священной радости сознание того, что ныне она вознесена надо всей нашей болью, всеми нашими тревогами и треволнениями. <...>

Париж, "Гранд-отель", 11 ноября 1882 года

<...> Я собирался описать последние месяцы своего пребывания в Америке, но боюсь, возможность уже упущена. Между тем время это я вспоминаю с большим чувством. Бостон для меня — ничто, нельзя даже сказать, что он мне не нравится, напротив — нравится; мне не нравится жить в нем. Однако недели, проведенные в Бостоне после смерти матушки, отличались какой-то особой тишиной и торжественностью. Мои комнаты на Маунт-Вернон-стрит были голыми и уродливыми, а меж тем они были уютны, в каком-то даже смысле приятны. Каждое утро выходил я из дому, пересекал Коммон и завтракал в кафе у Паркера. Потом возвращался к себе и писал до четырех или пяти часов, после чего шел в Кембридж по тому самому жуткому мосту, который я так часто мерил шагами в прошлом, и четыре-пять раз в неделю ужинал на Куинси-стрит с отцом и Элис. По вечерам я той же дорогой возвращался обратно под высоким, усыпанным звездами американским небом. Таким образом, я много времени проводил в движении. Дни эти были простыми, серьезными, значительными. Смерть матери словно бы погрузила всех нас в непроницаемую, благотворную тишину, в ней мы жили неделями и полнилась она покоем и нежностью. Я неотрывно думал о матушке, когда поздно вечером возвращался в Бостон по темным, пус-

тым дорогам, где в зимнем воздухе маячили лишь цветные фонари, да из Кембриджа доносился звон бубенцов на конках. Моя работа в это время тоже живо занимала меня, и теперь я оглядываюсь на эти три месяца с чем-то вроде религиозного благоговения. Интерес к моей тогдашней работе не объяснишь ни ее значимостью, ни успехом, который она мне сулила. Я пытался написать небольшую пьесу[1] и написал ее, однако бедная моя пьеска, увы, никого, кроме меня, не вдохновила. Не стану вдаваться в утомительные подробности моих смехотворных переговоров с театром "Мэдисон-сквер", его владельцы вели себя, как ослы и прохвосты одновременно; эта история сама по себе сделала бы честь реалистическому роману. Писать пьесу мне было необычайно интересно, и работа над ней лишний раз убедила меня в притягательности этого жанра, как убедила и в том, что соображения нью-йоркских и лондонских режиссеров и актеров о театральных постановках на нашей жалкой сцене не вызывают ничего, кроме глубокого и удручающего омерзения. Я усвоил раз и навсегда, что, если хочешь писать для театра, следует подготовить себя к чувству *омерзения*, к глубокому и непередаваемому омерзению. Но, испытав отвращение к английской и американской сцене, я не лишился уверенности в себе. И принял решение потратить год, два, если понадобится и больше, на овладение этой наукой. Драматическая форма представляется мне самой прекрасной из всех существующих; вся беда лишь в том, что убожество английской и американской сцены не создает благоприятной обстановки для ее развития. Каким образом желание писать для театра сочетается у меня с вечным соблазном (идущим изнутри и извне) взяться за очередной роман, сказать не берусь. В любом случае не стоит погружаться в новый роман с головой, браться за произведение longue haleine[2]. Писать надо *короткие* вещи, чтобы оставалось время для драматургии. Говорю об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, а между тем испытываю порой неукротимую потребность сесть за очередной роман. Только бы научиться *сосредоточиваться* — в этом величайший урок жизни. Я часами злюсь на себя за то, что мало пишу, за то, как привык работать, а вернее — не работать, за легкомыслие, за вечную неспособность сосредоточиться, вникать, смотреть на вещи прямо, придумывать — иными словами, творить. В следующем апреле мне будет сорок — страшно подумать! И все же, по-моему, работать я научился, и эти грустные мысли преследуют меня лишь в минуты вынужденного безделья, когда я нахожусь наедине с

1. "Дейзи Миллер" — инсценировка одноименной повести Джеймса.
2. Требующее большого напряжения (*франц.*).

самим собой. Когда же я пишу — я счастлив, я ощущаю в себе силу, передо мной открываются многочисленные возможности. Если что и делает жизнь сносной, то только это. И все-таки, если я не хочу стать неудачником, необходимо в ближайшие несколько лет сделать над собой невероятное усилие. Я обязательно стану неудачником, если не создам нечто *великое*!..

Из писем

Мэри Джеймс[1]

Флоренция, "Hotel de l' Europe"
13 октября 1869

Моя дорогая мамочка, за полтора месяца, что я живу в Италии, я, вплоть до последних дней, ни с кем не обмолвился и несколькими словами, за исключением разве что коридорных в гостиницах, да служителей в церквях. Числом знакомых, которые у меня появились в Европе, я пока похвастаться не могу. Вчера в Уффицци я встретился с мисс Анной Вернон из Ньюпорта и ее подругой миссис Картер, с которыми имел непродолжительную беседу, и тем же утром познакомился с каким-то довольно жалким, болезненного вида американцем, который рассматривал картины с чудовищной тщательностью и, перекинувшись со мной словом, напросился в гости. Сегодня утром он у меня побывал и только что удалился. Тип он, судя по всему, скользкий и малоприятный, и знакомство с ним, боюсь, большой радости мне не доставит. А впрочем, помимо коридорных и служителей в церквях я здесь общался с двумя-тремя англичанами; один из них — с ним я познакомился в Вероне — так быстро завоевал мои симпатии, что я искренне пожалел, что мы расстаемся. Увы, мой безымянный знакомый бесследно исчез, оставив по себе лишь приятное впечатление — прежде мне редко приходилось сталкиваться со столь же сдержанным и безукоризненным, чисто английским добронравием. В одном из своих недавних писем Уильям поинтересовался, что я думаю об англичанах. До сих пор я так и не удосужился ему ответить, хо-

1. Мэри Джеймс — мать Генри Джеймса.

тя, полагаю, мне есть что сказать по этому поводу. С другой стороны, я едва ли имею право высказывать свое мнение, ведь я видел слишком мало представителей этой нации, тех же, кого видел, знал слишком поверхностно. В одном, по крайней мере, я убежден: англичане мне нравятся, и нравятся очень. У. спрашивает, превосходят ли англичане американцев как личности. На это я отвечу, что известные мне англичане выше известных мне американцев, и не на одну голову, а на много голов. И то сказать, трудно себе представить народ более самодовольный, самовлюбленный, чем американцы. К ним применимо только одно слово: пошлость, пошлость, пошлость. Их невежество, их вызывающее, снисходительное, завистливое отношение ко всему европейскому, их вечное стремление все подгонять под американские нормы и образцы, существующие лишь в их бессовестной болтовне, а также наша злосчастная нехватка слов, бедность интонаций и лиц — все это пялится на вас с отвратительной гримасой. С другой стороны, мы ведь считаемся людьми с *характером*, людьми энергичными, способными, не обделенными смекалкой. Чего нам не хватает, так это *культуры*. Когда встречаешь американца в Европе, первое, что бросается в глаза, — это полное, чудовищное *бескультурье*. Англичане же хороши тем, что их всех словно бы погрузили в плавильный тигель, отчего каждый приобрел подобающий глянец и цвет. Социальные катаклизмы пригладили их, отполировали. У них есть манеры и есть язык. У нас нет ни того ни другого — языка в особенности. Мне приходилось, естественно, видеть "замшелых" британцев, но в большинстве своем англичане вызывают теплые чувства. Англичанки и лучше и хуже англичан. Они бывают грубыми, тупыми, сальными, безвкусными до отвращения; но чаще отличаются скромным достоинством и обаянием, являются олицетворением женственности; по сравнению с ними итальянки и француженки, да отчасти и наши американки, кажутся какими-то надутыми и неуравновешенными. Здесь, в Италии, англичане оказываются в особенно выгодном положении. Над этими фальшивыми и смазливыми итальянцами у них есть, во всяком случае, два неоспоримых преимущества: они умываются и ненавидят ложь.

Воскресенье, 16 октября

Встретил очень славных американцев и по-прежнему люблю свою страну. Был в гостях у миссис Хантингтон и ее двух дочерей; обе они выпускницы Кембриджа. С Хантингтонами я познакомился в Швейцарии; у них там квартира. Дочери более чем примиряют меня с голосистыми сиренами скалистого берега Новой Англии. Младшая сказочно хороша

и мила; старшая сказочно мила и невзрачна — о таких, как она, говорят: vaut bien des beautés[1]...

Прощайте же, maman de mom âme[2]. Это письмо я не отправлял три дня в надежде, что придут новости из дому. Хочется думать, что вы не мстите мне за мое полуторамесячное молчание.

Благословляю ваши универсальные головы.

Твой одинокий и любящий изгнанник

Г. Дж.-младший.

Генри Джеймсу[3]

Париж, рю де Люксембург, 29
11 апреля 1876

Дорогой отец,

тонкая нить моих знакомств пока не порвалась, но и крепче не стала. Вас, надо полагать, в основном интересует Иван Сергееевич [Тургенев], которого я последнее время видел несколько раз. Пару часов я провел с ним наедине, виделись мы и у г-жи Виардо. Она пригласила меня на свои музыкальные вечера (четверги) и на воскресные приемы en famille[4]. Я уже побывал на двух ее музыкальных вечерах и только на одном (пока) домашнем приеме. Женщина она обворожительная и интересная, собой нехороша и при этом очень красива, как говорят французы: très-belle[5]. Ее музыкальные вечера — сплошь одна музыка, а потому для меня сплошь одна скука, тем более что сама она поет очень мало. Вчера вечером я простоял три часа (с одиннадцати до двух) в душной комнате, слушая нескончаемую скрипку и утешаясь лишь тем, что Гюстав Доре[6] стоит рядом и скучает не меньше моего. Зато когда г-жа Виардо поет — это незабываемо. В прошлый раз она исполняла арию из "Альцеста" Глюка — более изящного и в то же время трагического исполнения мне еще слышать не доводилось. Что же касается ее воскресных приемов, то они довольно невыразительны и чем-то напомина-

1. Стоит любой красоты... (*франц.*)
2. Мамочка-душенька (*франц.*).
3. Генри Джеймс-старший — отец Генри Джеймса; теолог.
4. К себе домой (*франц.*).
5. Более чем красива (*франц.*).
6. Гюстав Доре (1832—1883) — французский график и живописец; известен иллюстрациями к "Дон Кихоту", Библии и пр.

ют мне "исторические игры" вроде битвы при Конкорде[1]. Было странно и трогательно наблюдать за тем, как бедный Тургенев, завернувшись в старую шаль, в маске ползает на четвереньках, разыгрывая самые причудливые шарады. Шарады — их любимое воскресное занятие, и та увлеченность, с какой Тургенев, в его-то годы и с его-то славой, разыгрывает шарады, — яркий пример непосредственности, свойственной европейцам и не свойственной нам. Представьте себе Лонгфелло, Лоуэлла или Чарльза Нортона[2], ползающих на четвереньках, да еще каждое воскресенье! Потчуют меня музыкой и в салоне г-жи де Блоквиль, где я постоянно встречаюсь с Эмилем Монтегю; мне он нравится меньше, чем его книги, которые он всякий раз непростительно пытается мне навязать. На днях я встретил у г-жи Б. мсье Каро, философа; в рисунке рта этого весьма остроумного и приятного господина таится бездна лицемерия. Побывал я недавно и у Флобера, при каждой следующей встрече нравится он мне все больше и больше. Наше интеллектуальное общение складывается на удивление легко. Есть в нем удивительная простота, честность, доброжелательность, какая-то трогательная невнятность. Говорил он о многом, среди прочего о Теофиле Готье, который был его близким другом. Ничего нового или оригинального Флобер о нем не сказал, отметив только, что после Père Hugo[3] считает его величайшим из французских поэтов, куда более значительным, чем Альфред де Мюссе; что же до формального совершенства, то Готье, по его словам, и вовсе нет равных. И он прочел мне несколько его сонетов, чтобы я убедился, что нет на свете ничего прекрасней. Найдите (этот сборник я оставил дома) сонет "Les Portraits Ovales"[4] — он особенно хорош... На днях я поехал в Шартр и чудесно провел там время — но об этом Вы сможете прочесть в "Трибюн"[5]. Здешние американские газеты accablants[6], пошлость и омерзительность "Трибюн", всякий раз когда я ее вижу, так выводят меня из себя, что подмывает перестать для нее писать. Но делать я этого не стану, хотя последнее время писать особенно не о чем. Скоро, правда, открывается Salon[7]... Очень приятно, что Хоуэллсу нра-

1. Битва при Конкорде — сражение в Войне за независимость 19 апреля 1775 г.; колонисты во главе с майором Джоном Баттриком окружили и разбили англичан у Северного моста в городе Конкорд, штат Массачусетс.
2. Чарльз Элиот Нортон (1827–1908) — американский писатель, педагог, переводчик, издатель. Основатель журнала "Нейшн", где печатался Джеймс; профессор Гарвардского университета; переводил "Божественную комедию".
3. Папаши Гюго (*франц.*).
4. "Овальные портреты" (*франц.*).
5. Из Парижа Джеймс писал репортажи о французской жизни и искусстве для газеты "Нью-Йорк трибюн".
6. Производят угнетающее впечатление (*франц.*).
7. Здесь: художественная выставка (*франц.*).

вится моя последняя вещь; я сейчас много над ней сижу. Рад, что она будет печататься в "Атлантик". Его собственный роман я не читал — он должен мне его прислать[1].

Домашние новости получил и усвоил. Передайте Уилки, что на его необычайно интересное письмо я отвечу отдельно. Моей дорогой сестре скажите, что, если она напишет мне, какой цвет — черный или белый — она предпочитает, я пришлю ей кружевную fichu или ecru[2]. Ей такая вещица, как меня здесь уверяют, подойдет как нельзя лучше.

Всегда Ваш, дорогой отец, любящий сын

Г. Джеймс-младший.

Уильяму Джеймсу

Девир-гарденз, 34
9 января 1895

Мой дорогой Уильям,

6-го, в воскресенье, я не стал тебе телеграфировать по поводу премьеры моей пьесы[3], ибо, как ты, должно быть, понял по газетным сообщениям (если таковые имелись, ты не мог их пропустить), ситуация сложилась очень не простая. Даже теперь писать об этом мучительно: я подавлен, сломлен, растоптан тем тяжким испытанием, каким для всякого автора является премьера; премьера же "Гая Домвилла" после чудовищных трудов и колоссального напряжения прошла не вполне гладко. Описать происшедшее можно в нескольких словах: изящная, колоритная, очень трогательная и на редкость артистичная маленькая пьеса была встречена в штыки грубой, распоясавшейся галеркой, которая, с самого начала преисполнившись ко мне и моему творению лютой злобой, закатила, когда занавес опустился, отвратительный скандал. Последующие полчаса все собравшиеся в театре цивилизованные зрители вели неравный бой, отчаянно

1. Уильям Дин Хоуэллс (1837–1920) — американский прозаик, критик, эссеист. Под "моей последней вещью" Джеймс, по всей вероятности, имеет в виду роман "Родерик Хадсон" (1876), который до выхода книги печатался серийными выпусками в "Атлантик мансли", где главным редактором в то время был Хоуэллс. Под "его собственным романом" Джеймс, судя по всему, имеет в виду "Предвзятое заключение" (1875) — книгу о состоятельных американцах в Европе, написанную Хоуэллсом в традиции "благопристойности".
2. Шаль... шерстяную накидку (*франц.*).
3. Имеется в виду провальная премьера пьесы Джеймса "Гай Домвилл", состоявшаяся 5 января 1895 г. в лондонском театре "Сент-Джеймс".

пытаясь заглушить громкими, продолжительными аплодисментами гиканье, визг и улюлюканье черни, чей рев (галерка напоминала клетку с дикими зверями в каком-то инфернальном зоосаде) становился тем надсаднее, чем громче звучали аплодисменты. Одним словом, веселенькая получилась сценка, особенно для нервного, чувствительного, вконец измученного автора. Не стану, впрочем, описывать тебе во всех подробностях эти жуткие полчаса, а также то горькое разочарование и уныние, которые овладели мной и от которых я, слава богу, быстро и мужественно оправляюсь. Ко всему прочему, злобствовали и газеты; каких только глупостей и пошлостей они не напечатали. Правда, У. Арчер и Клемент Скотт[1], единственные два критика, к чьим голосам стоит прислушаться, отдали мне должное. *Частное* мнение также было на моей стороне: я был буквально завален письмами, преисполненными горячей поддержкой, живейшим негодованием и глубочайшим восхищением... Все, кто был в тот вечер в театре, либо написали мне, либо пришли со мной встретиться; среди этих людей было много знакомых, но и незнакомых ничуть не меньше. По всей вероятности, маленькая пьеса, которую я постарался сделать как можно более понятной, простой и доходчивой, одним словом — британской, оказалась не по мозгам *обычному* вульгарному лондонскому театралу, и ее успех (который пока трудно оценить) будет всецело зависеть от того, сумеет ли она привлечь театрала *необычного*. Я присутствовал на втором спектакле[2] (в понедельник 7-го); зал был заполнен до отказа (по словам Александера, выручка собралась весьма солидная), и пьесу принимали на удивление хорошо. Скоро выяснится, долго ли она протянет, и я заранее готов к худшему. Я в ужасе от грубости и пошлости современного театра и театралов, которые, даже при том что я не мог не преследовать материальной выгоды, вызывали у меня отвращение, и теперь у меня такое чувство, будто само по себе свободомыслие, нашедшее выражение в соответствующей форме, является божественным утешением за все испытания. За меня не волнуйся; я — камень[3]. Если у пьесы не будет жизни на сцене, я ее издам; она — лучшее из всего, мною

1. Уильям Арчер (1856—1924) — английский театральный критик, драматург, переводчик; с 1884-го по 1898 г. писал для журнала "Уорлд", автор книги "Маски или лица" (1888); переводил пьесы Ибсена и пропагандировал его творчество в Англии. Клемент Уильям Скотт (1841—1904) — английский театральный критик, драматург, переводчик, на протяжении многих лет рецензент газеты "Дейли телеграф", главный редактор ежемесячного журнала "Театр" (1877—1897).
2. В день премьеры Джеймс так волновался, что на спектакле не присутствовал; он приехал в театр лишь к концу представления, когда и был освистан галеркой.
3. Евангельская аллюзия: "И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал; потому что основан был на камне" (Мф. 7:25).

написанного. Ты бы полнее ощутил, что произошло, если бы видел, какая пьеса играется вслед за моей ("Скоморохи") и какой спектакль с успехом идет сейчас в "Хеймаркет" — спектакль по пьесе Оскара Уайльда[1]. Если *такие* произведения почитаются пьесами и имеют у зрителя успех, то "Гай Домвилл" — ни то ни другое. Более того, моя пьеса — эпизод из истории старой английской католической семьи прошлого века — не только не идет в русле сегодняшнего вопиющего реализма, сведенного к нескольким *привычным* громким эффектам. Она восстает против него, против всех этих *обычных* театралов, которым (из-за отсутствия фантазии) не по душе пьесы, разные по форме, как не по душе непохожие друг на друга книги и рассказы. Им потребны пьесы одинаковые, такие, которые их тупые, неразвитые, неповоротливые мозги в состоянии узнать, воспринять, как нечто, уже имевшее место. А ведь мне так хотелось бросить этим театралам вызов! Но что толку метать бисер перед свиньями. Больше я писать не в силах — и не задавай мне вопросов. Очень может быть, судьба "Гая Домвилла" решится уже на этой неделе. Если билеты на следующие спектакли будут расходиться, пьесу не снимут. Если не будут — снимут, лишив меня тем самым всякой надежды на прибыль. Время (бесконечно длящееся для непосвященных), ушедшее на всю эту историю с начала до конца, представляет собой жалкое, трагическое банкротство потраченных впустую часов, которые могли бы стать золотыми. Но я не жалуюсь — нет худа без добра: передо мной раскрываются иные, быть может, лучшие возможности. Жаль только, что вам с Элис приходится расстраиваться из-за всегда вашего

Генри.

Уильяму Дину Хоуэллсу

Девир-гарденз, 34
22 января 1895

Мой дорогой Хоуэллс,

очень признателен Вам за Ваше ласковое декабрьское письмо. Оно лежит передо мной, я перечитываю его вновь и вновь и всякий раз радуюсь, утешаюсь, успокаиваюсь. Вы заговорили со мной о том, о чем я и сам хотел поговорить с Вами. Послед-

1. Во время премьеры "Гая Домвилла" Джеймс находился в театре "Хеймаркет", где в тот вечер шел "Идеальный муж" Оскара Уайльда.

нее время меня не покидает чувство, что со мной что-то неладно. Мне начинает казаться, что я никому больше не нужен; где бы я ни был, что бы ни делал, я терплю полное фиаско. Новое поколение, которое я не знаю, да и знать не хочу, завладело миром. Чувство, что я нахожусь за пределами этого мира, угнетает меня, и я задаюсь вопросом, что нас ожидает в будущем. Впрочем, в основе этих невеселых размышлений лежит попросту сознание того, как мало последнее время (по причинам разумным, но случайным и недолговечным) я творю. И я сказал себе: "Начинай снова творить. Твори. Твори лучше, чем раньше, и тогда все встанет на свои места". Будут, по крайней мере, средства к существованию. Теперь же, когда и Вы говорите то же самое, для меня этот призыв приобретает значение еще большее. Это именно то, к чему я сегодня стремлюсь, на что себя настраиваю. В моей жизни грядут большие перемены — хотя бы потому, что стало совершенно ясно: периодические издания для меня фактически закрыты. Я — последний человек, кого хотят заполучить журналы в Англии и в Соединенных Штатах. Не стану морочить Вам голову доказательствами правомерности этого умозаключения — скажу лишь, что Вы — первый, кому я об этом говорю. И говорю, разумеется, на ухо, segretissimo[1]. Речь, собственно, идет о том, что сегодня творить для меня — значит сочинить небольшую *книгу* — именно книгу, без всяких предварительных публикаций. Должен сказать, что теперь, когда я окончательно в этом убедился, с этим смирился, я, странным образом, нисколько не расстраиваюсь. Больше того, я совершенно безмятежен, ведь я никогда не переносил журналы, мне всегда претили журнальные условия и нравы, журнальная публика. Ненавижу ту мелкую, жалкую роль, какую играет автор в дешевом иллюстрированном издании, мне отвратительно пренебрежение литературной профессией, которое сквозит у наглых редакторов журнальчиков с картинками. Верно, в деньгах я проиграю, но разница будет заметна лишь в самом начале. Преимущества же нынешнего положения столь велики, что в конечном счете они с лихвой компенсируют материальные потери. Ваша заслуга в том, что это Вы убедили меня в ясности позиции автора *книги*, и теперь я буду трудиться на этой ниве плодотворнее, чем когда-либо прежде. Писать я стал значительно лучше, у меня масса идей и сюжетов — при этом слова и фразы даются все труднее, мучительнее. Никогда больше не сяду я за *длинный* роман, зато рассчитываю сочинить шесть непревзойденных коротких романов и несколько повестей столь же высокого качества. Простите мне, мой дорогой Хоуэллс, мою циничную самовлюбленность, сквозящую в этих замечаниях, — всему

1. Под большим секретом (*итал.*).

виной Ваша симпатия ко мне. Не ждите меня этим летом; возможно, вопреки обыкновению, на этот раз я не покину острова [Англию. — *А. Л.*] и не окажусь за Альпами, как это случилось, когда Вы приехали сюда в прошлый раз. Ехать мне в Бостон было бы полнейшим безумием. Не далее как вчера вечером я послал Вам "признание в любви" с милым крошкой Недом Эбби, который сегодня отплывает в Нью-Йорк с великолепной работой, выполненной для новой бостонской публичной библиотеки. Надеюсь, Вы с ним увидитесь, он все Вам про меня расскажет — он хорошо осведомлен и ко мне расположен. Желаю Вам всяческих удач. Как только соберетесь в наши края, дайте знать. Передайте Милдред, что вспоминаю о ней с любовью. Привет от меня Вашей жене.

Преданный Вам, мой дорогой Хоуэллс,

Генри Джеймс.

Герберту Джорджу Уэллсу

Карлейль-Мэншнз, 21 Чейн-Уок

6 июля 1915

Мой дорогой Уэллс,

вчера в клубе мне передали Вашего "Буна"[1], из которого выпала исписанная страница; выяснилось, что, во-первых, этот том Вы любезно передали мне и, во-вторых, он пролежал в клубе невостребованным довольно долгое время. Дабы подтвердить получение Вашего труда и интеллектуально ему соответствовать, я взялся его читать и прочел уже довольно много, однако до конца, увы, не добрался. Откровенно говоря, я впервые (а точнее, во второй раз) Вашу книгу не осилил, она не увлекла меня так, как, бывало, увлекали,

1. В своей книге "Бун, национальное сознание, дикие ослы дьявола и последний трубный глас" (1915) Уэллс обрушился на Джеймса с резкой критикой. Вот некоторые выдержки из этой книги: "...В молодости оба писателя (Джеймс и Джордж Мур) отравили свое сознание в художественных студиях... Но Джеймс так и не понял, что роман — не картина... а жизнь — не студия..." "Его книги подобны освещенной, но пустой церкви; яркий свет направлен на высокий и пышный алтарь, на алтаре же лежат мертвый котенок, яичная скорлупа и обрывок бечевки..." "Предварительно убедившись, что писать ему не о чем, он садится за стол и пишет — с усердием и интеллектуальным напором, которые не снились и Ньютону... И все это ради того, чтобы сочинить историю ни о чем... Это Левиафан, подбирающий гальку. Это великолепный, но несчастный гиппопотам, что пытается любой ценой, даже рискуя уронить свое достоинство, подобрать горошину, закатившуюся в угол его логова".

притягивали Ваши сочинения, о чем я неоднократно ставил Вас в известность. Что ж, попробую раскрыть “Буна” еще раз — боюсь упустить хоть одну Вашу строку, которая способна просветить или доставить удовольствие. Пока же я, мне кажется, уяснил себе Ваше отношение к Генри Джеймсу, каковое счел по-своему забавным и любопытным, хотя особой радости Ваша оценка мне, прямо скажем, не доставила. Разумеется, одному автору нелегко поставить себя на место другого, тем более если тот считает его поверхностным и пустым, да еще заявляет об этом во всеуслышание. Ситуация, думаю, еще более осложняется, когда второму автору в свое время очень нравился первый автор, — в прошлом эти авторы всегда исходили из того, что между ними существуют точки соприкосновения, и отсутствие такого соприкосновения равносильно крушению моста, без которого невозможно перебраться с одного берега на другой. Но для меня страх витать в мире иллюзий всегда был сильнее желания самоутвердиться, и то обстоятельство, что человек Вашего ума допускает в отношении меня столь непоправимую ошибку, не только меня не расхолаживает, но заставляет, насколько позволяют нервы, попытаться взглянуть на себя Вашими глазами. Мне хорошо известны мои недостатки, равно как и достоинства, и, тем не менее, я всегда пытаюсь понять чувства критика, полагающего, что первые имеют существенный перевес над вторыми. Сложность, однако, заключается в том, что нельзя постоянно всматриваться в себя чужим и нелицеприятным взглядом; *приходится* полагаться на собственную оценку своих достоинств. Я, во всяком случае, без этого обойтись бы не мог, даже будь мой портрет Вашей кисти написан еще более резким, безжалостным мазком. Ведь в противном случае я бы забыл, на чем основываются моя поэтика и мой литературный опыт. А основываются они на *моем* представлении о жизнеподобии, каковое видится Вам столь поверхностным. Я вовсе не имею в виду, что мне бы не хотелось уметь многое из того, что мне не дано и что у Вас получается так живо. Но я не могу не задаться вопросом, что стало бы в этом случае со всем тем, к чему я имею склонность и чем интересуюсь. На мой взгляд, интерес этот *должен* постоянно подогреваться, и, если мы, творцы, утратим его, ничто не сможет нам его заменить. В то же время стремление вызвать этот интерес сочетается у меня с постоянным желанием приблизить его к жизни, ради чего приходится жертвовать всем тем, что напрямую с ним не связано. Говорить обо всем этом можно было бы еще долго, но Ваша книга не столь глубока, чтобы ее автор мог рассчитывать на столь длинный разговор. Беллетристическая форма хороша тем,

что перед читателем открываются окна в самые разные миры, я же предпочитаю, чтобы из моего окна можно было увидеть и забавное и значимое одновременно.

Преданный Вам

Генри Джеймс.

О *литературной критике*[1]

У нас литературная критика процветает как нигде: она несется по периодической печати, точно полноводная река, смывающая на своем пути все плотины и дамбы. Объем ее непомерен; это тот товар, спрос на который неизменно опережает предложение. Более всего в этом изобилии поражает несоответствие между словесным богатством и содержательной скудостью; то, что у нас принято называть литературной критикой, отличается малочисленностью примеров и доводов — и неиссякаемым потоком пустопорожних рассуждений, велеречивостью — и предельной конкретностью. Впрочем, если мы обратимся к современной журналистике, то ничего неожиданного в таком положении дел не обнаружим. Более того, мы увидим, что именно такое положение дел и породило практику "рецензирования", которое с искусством критики ничего общего не имеет. Литература, публикуемая в периодической печати, — это громадная, ненасытная глотка, которую приходится регулярно насыщать; это гигантский сосуд, который постоянно приходится наполнять до краев. Она сродни поезду, что отходит в назначенный срок, но лишь при условии, что все места в нем заняты. Мест в поезде очень много, сам поезд необычайно велик — а потому вне сезона, когда билетов продано недостаточно, возникает нужда в манекенах. Манекен сажают на пустое место, где он сидит до конца поездки, ничем с виду не отличаясь от обыкновенного пассажира. То, что это не живой человек, а муляж, начинаешь понимать, лишь когда видишь, что псевдопассажир не говорит ни слова и никогда не покидает своего места. Когда поезд трогается, проводник следит, чтобы манекен не свалился, он стирает золу с его деревянного лица и меняет положение его локтя, чтобы кукла могла в таком поло-

1. Эссе написано в 1891 г. и вошло в сборник "Эссе, написанные в Лондоне и за его пределами".

жении доехать до следующей станции. Сходным образом в успешном литературном журнале remplissage[1] являются своего рода критическими манекенами, в морском приливе болтовни они исправно исполняют роль упорядоченных, игрушечных волн. Иначе, собственно, и быть не может, и ситуация, если в нее как следует вникнуть, оказывается вовсе не такой уж сложной. Тогда становится понятно, откуда берется уже упоминавшаяся несоразмерность, чем объясняется низкое — во многих случаях — качество критических опусов. Становится понятно, отчего в "органах общественного мнения" многословие ценится ничуть не меньше логики, отчего реклама всегда должна быть на высоком уровне, а леди и джентльмены вправе писать, что им вздумается, не заботясь о количестве исписанных страниц. Мы обнаружим, что на леди и джентльменах, честно зарабатывающих рецензиями свой хлеб, литературные журналы очень неплохо зарабатывают, что мы отлично справляемся с трудностями и на всех порах несемся по пути прогресса. Глядя на то, как преуспевают литературные журналы, мы и в самом деле не можем не гордиться нашим веком. И то сказать, что еще способно вселить в нас большее самомнение, уверенность в себе, чем зрелище новой и процветающей индустрии, необычайно выгодной и экономичной? Великое дело рецензирования, которое неизменно демонстрирует все признаки цветущего здоровья, не может не вызывать у нас невольного восхищения.

В то же время нельзя отрицать, что найдется немало придирчивых людей, на кого великое дело рецензирования не произведет должного впечатления, к литературным журналам они относятся с подозрением, плохо себе представляют, в чем состоит их задача, и не видят тот ослепительный свет, что от этих журналов исходит. Ослепителен ли в самом деле этот свет? — зададутся вопросом самые неутомимые из скептиков. А может, речь идет вовсе не об ослепительном свете, а о претенциозном и скрывающем истину мраке? Пошлость, непродуманность, глупость, коими отличается сие излюбленное сочетание импровизированного критического отзыва и нашей вздорной рекламы, породили, причем в гигантском масштабе, непревзойденное искусство запутывать дело. Сбитый с толку ум может поинтересоваться, какую роль в жизни человека играют пошлость вкупе с никчемностью, появляющиеся в нашей печати с завидной периодичностью. Сей пытливый ум вправе также задаться вопросом, как способен читатель пережить подобные невзгоды, и, что еще важнее, как этим невзгодам противостоит литература, и противостоит

1. Бессодержательные фразы, "вода" (*франц.*).

ли, а не быстро разваливается под их напором. Признаки надвигающейся катастрофы более чем очевидны: ее жертвой становятся талант, стиль, знание, мысль. Приходится с горечью признать, что за распространение сочинительства мы платим непомерно большую цену, что щедрая плата за пустословие может иметь столь же пагубные последствия, как заразная болезнь. Что литература жива высоким примером, недосягаемым мастерством и легко подвержена, как и всякий чувствительный организм, моральному разложению и что безответственной назидательности ничего не стоит заткнуть ей уши и залепить глаза. Легкомыслие и неискушенность лишат ее воздуха и света, и, оказавшись в дурной компании, она утратит всю свою силу. Мы можем, разумеется, рассуждать о ней и после того, как она до смерти наскучит самой себе, и, боюсь, потомки наши именно такой ее и воспримут. Им, увы, остается лишь примириться с ее кончиной.

Отдаю себе отчет в том, что моя точка зрения особым оптимизмом не отличается — но ведь то, что происходит, согласитесь, оптимизма и не внушает. Чтобы несколько поднять настроение читателя, скажу, однако, что есть на свете места, где ситуация не столь безысходна. Одним из таких мест является Париж. Обычай сочинять рецензии наспех, как придется, укоренился у французов не столь глубоко, как у нас, а потому французская критика, на мой взгляд, выглядит не в пример более достойно. Искусство критика считается у французов одним из самых сложных, тонких и редких, и материал для критика является, соответственно, предметом тщательного и взвешенного отбора. Допускаю, что французские критики пишут об отобранных книгах далеко не всегда справедливо, зато *отбирают* они их безошибочно. Во Франции издаются сотни книг, которые проходят незамеченными, и тем не менее издателями французы являются куда более искусными, чем мы. Во Франции по крайности отдают себе отчет в том, что низкопробным книгам нечего сказать критику, что они не имеют никакого отношения к литературе и что если критик настоящий, то он никогда не станет читать их и ни под каким видом не согласится их обсуждать. Для него такие книги не представляют ни малейшего интереса. Критик во Франции, как говорится, ne se dérange pas[1] на такие мелочи. С другой стороны, никто не станет отрицать, что если французский критик берется за дело, преуспеет он больше, чем наш. В целом чутье у него более тонкое, чем у нас. Наша же бесчувственность в применении к столь чувствительному предмету, бесчувственность, к которой давно бы пора привыкнуть, не может не удив-

1. Здесь: не разменивается (*франц.*).

лять. Мы обращаемся с литературой по-свойски, входим и выходим из нее, точно из здания вокзала — так, словно она есть самое легкое и достойное из искусств. На самом же деле, литература — искусство наиболее сложное и наименее доступное. Критическое чутье — вещь необычайно редкая, набором качеств, этому чутью способствующих, владеют лишь единицы. Это драгоценный и редкостный дар, а потому даже невозможно представить себе, что он переходит из рук в руки; достаточно постоять час за прилавком лавочки, зовущейся периодическим изданием, чтобы убедиться, что за товар здесь платят фальшивой монетой. У нас слишком много мелких начетчиков — а между тем сам я не только не ставлю под сомнение пользу критики для литературы, но убежден: роль, которую играет критика, может быть исключительно благотворной, когда она черпает свои доводы из глубоких источников, когда сочетает в себе опыт и проницательность. В этом случае критик является истинным подспорьем художнику, его факелоносцем, толкователем, братом. Чем точнее подмечен авторский стиль, чем четче задано литературное направление, тем большее удовольствие доставит нам критическая статья. Когда думаешь о том багаже, что необходим для свободного полета мысли, критический ум превозносишь до небес; когда рисуешь себе трогательную фигуру критика, вооруженного cap-à-pie[1] любопытством и сопереживанием, поневоле влюбляешься в этот образ. Этот образ сродни благородному рыцарю, до конца верному своему слову. В его рыцарском служении есть что-то жертвенное, ведь в качестве оселка он предлагает себя самого. Отдаться своему делу сполна, раствориться в нем, проникнуться автором настолько, чтобы суметь сказать о нем самое главное, сочетать проницательность со страстностью и выразительностью, быть бесконечно любознательным и неисправимо терпеливым и при этом пластичным, взрывным и внятным, уметь быть снисходительным и одновременно безжалостным — только эти качества критика обеспечат успешному замыслу оригинальность и красоту. Чем критик тоньше чувствует, чем он неугомонней, чем активнее он реагирует, возражает и вторгается — тем больше от него пользы. Ведь в литературе критика — это критик, точно так же, как изобразительное искусство — это художник. Не подлежит никакому сомнению, что не искусство изобрело художника, а художник — искусство; не критик был придуман критикой, а, наоборот, критика — критиком.

И с критическими сочинениями происходит абсолютно то же самое, что и с произведениями искусства: лучшее произведе-

1. С ног до головы (*франц.*).

ние, единственное, заслуживающее упоминания, — это то, что возникает из живого человеческого опыта. В критической мастерской существуют сотни ярлыков и этикеток, наклеенных снаружи на дверях для удобства проходящих мимо; но критику, который живет в мастерской и расхаживает по ее бесконечным комнатам, про ярлыки и этикетки решительно ничего неизвестно. Известно ему только одно: чем больше у него будет впечатлений, тем больше он сможет засвидетельствовать; чем глубже ему, бедняге, удастся погрузиться в предмет изучения, тем больше материала он "выдаст". И в этом смысле его жизнь — пример истинного героизма, ибо действует он во благо других. Ему приходится понимать *за* других, отвечать *за* других — он всегда должен быть во всеоружии. Он знает, что главное в его деле, помимо успеха в его собственных глазах, зависит от того, сумеет ли он быть неустанно восприимчив, а добиться этого крайне нелегко. Не хочу, впрочем, чтобы у читателя создалось впечатление, будто работа критика тяжела и однообразна, ведь когда есть энтузиазм и любознательность, тяжкий и однообразный труд не ощущается. Всякое призвание достигает своей наивысшей интенсивности, когда входит в соприкосновение с жизнью. Призвание литературного критика связано с жизнью двойными узами: он имеет с ней дело и косвенно, и напрямую; он имеет дело с опытом других, который преобразует в опыт свой собственный. При этом он имеет дело не с опытом податливых вымышленных персонажей, с которыми прозаик всегда договорится, а с толпой несговорчивых авторов, этих непоседливых детей истории. Он обязан изобразить их такими же яркими и живыми, какими прозаик изображает своих кукол, и при этом не может с ними не считаться. Мы не должны слишком строго с него спрашивать, если в картине, которую он изобразил, будет порой отсутствовать необходимая четкость, ведь предмет его изображения непостижим и неблагодарен, и мы, забыв все его огрехи, преклоняемся перед его мастерством, когда написанный им портрет, подобно незаурядным портретам другого искусства, является не копией, но истолкованием.

Дэвид Лодж
Автора на сцену!

Главы из одноименной книги

Перевод с английского Т. Казавчинской

КАК романист и новеллист Генри пришел к твердому убеждению, что наибольшая выразительность и правдивость письма достигается ограничением точки зрения. Он полагал, что дело прозаика — изображать жизнь, как она переживается человеком в реальности, со всеми ее пробелами, темнóтами, сбоями восприятия и ложными интерпретациями, неизбежными при индивидуальном взгляде на вещи; и если в книге подобный взгляд приписывается нескольким героям, то он передается от одного к другому, как эстафетная палочка, — по определенному, заранее продуманному плану. Противоположный метод наглядно представлен в "Трильби", где автор-повествователь на теккереевский лад одну за другой достает из сундука своих марионеток и, заставляя их выделывать коленца, проникновенным, задумчивым голосом нашептывает вам на ушко, чтó каждую минуту творится у них в головах, и, соответственно, выставляет им оценки за дурные и добрые побуждения — чтобы читающей публике неповадно было толковать их собственными силами.

Однако вспоминая позже этот день, который по мере проживания казался ему самым длинным в жизни, он понимал, что ни один повествовательный прием, и, уж конечно, наиболее им предпочитаемый, не сможет должным образом отразить иронию, причуды, загадки, диковинные сближения и совпадения этих часов, особенно более поздних — сумеречных. Он шел сквозь время в состоянии, подобном трансу, мысли его представляли собой смесь надежд, страхов, грез и полного непонимания того, что происходит в том самом месте, которое занимало его больше всего. Лишь много позже ему удалось сложить в единое целое рассказы разных участников события: Александера, актеров, друзей, присутствовавших на спектакле друзей, людей в ту пору ему не знако-

© David Lodge 2004
Reprinted by permission of Curtis Brown Group Ltd.
© Т. Казавчинская. Перевод, 2011

мых, но узнанных месяцы, а то и годы спустя; нашлись и такие, что оставили воспоминания, которые дошли до него кружным путем — через общих приятелей, либо были им случайно обнаружены в мемуарах и биографиях через долгие годы после представления. Впоследствии он осознал, что, пока в ту нескончаемую субботу он ходил туда-сюда между Девиргарденс и Пиккадилли, пока в сгущающихся сумерках сидел у себя в кабинете и писал одно за другим никому ненужные письма, пока сидел в Королевском театре "Хеймаркет" среди зрителей, чей хохот валами прокатывался над его заторможенной головой, пока шла своим ходом эта история — его собственная история, увиденная с одной-единственной, ограниченной точки зрения, — параллельно, так сказать в скобках, развивались другие вытекающие из нее сюжеты, складывались другие точки зрения.

* * *

[Первым из членов труппы в театре появился Джордж Александер, но скорее в качестве директора, чем актера. Его жена Флоренс всегда следила, чтобы в день премьеры он оставался дома, в Найтсбридже, но, будучи перфекционистом, он терпеть не мог полагаться на других и был не в силах подолгу пребывать вдали от поля боя. После полудня он сидел в своем кабинете и вместе с администратором, Робертом Шоуном, просматривал цифры билетной брони. Шоун доложил, что библиотеки заказали билетов на тысячу шестьсот фунтов, это конечно несколько обнадеживало. Их прервал швейцар, который подал только что доставленную — "Ответа не требуется" — телеграмму.

— Очередной поклонник, — бросил с самодовольной улыбкой Александер, вскрывая конверт. Из-за открыток, писем и телеграмм на столе его не было свободного места. Прочитав написанное, он изменился в лице.

— Что такое? — забеспокоился Шоун.

Александер медленно прочел вслух слова, приклеенные к листку бумаги:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
ПОЛНОГО ПРОВАЛА

— Боже милостивый! — воскликнул Шоун. — От кого это?

— Без подписи, — сказал Александер, отдавая ему телеграмму

Шоун углубился в ее изучение.

— Послано с почтового отделения на Слоун-сквер, — заметил он. — Наведу справки.]

Минни Бурже он написал: “Сейчас пять часов пополудни, а нынче вечером, в половине девятого, le sort en est jeté[1]: мою бедную пьесу вытолкнут на арену — как юную христианскую девственницу в белых одеждах в пасть львам и тиграм”. Он просил передать слова благодарности неведомой ему миссис Уортон[2] за пожелания удачи и сочувствие, но отнюдь не за то, что она перебудоражила Минни известием о предстоящей премьере: “Я надеялся *утаить от тебя* это маленькое приключение и признался бы, если бы оно обернулось удачей, — написал он в конце, — но сейчас тороплюсь отослать тебе это письмецо, пока мое возможное бесчестье не стало реальностью”. Он выбрал большой конверт, чтобы вложить туда также одну из ярко-красных программок “Гая Домвилла”. Ему пришло в голову, что Уильяма и Эллис, возможно, тоже позабавил бы подобный сувенир и набросал несколько приличествующих случаю строк еще на одном листке: “Я вкладываю в конверт эту аляповатую *афишку*, чтобы чем-то занять себя и пережить этот смятенный полдень, как и последующие несколько часов до половины девятого вечера, и чтобы донести до Вас и всего нашего дома мой душевный трепет. Слава богу, предзнаменования скорее утешительные. Впрочем, много ли стоят предзнаменования? Domine in manus tuas![3] В такую минуту не обойтись без религии. Однако у меня трясутся руки, и я способен прибавить лишь, что я Ваш смелый, но все равно одинокий и перепуганный Генри”.

* * *

[Будучи во всех отношениях театром очень и очень современным, “Сент-Джеймс” был телефонизирован, что позволило Роберту Шоуну связаться с начальником почтового отделения на Слоун-сквер. Он пересказал Александеру то, что ему удалось узнать: “Телеграмму вроде бы послали две дамы. Не назвались, конечно. Принимавшая ее барышня-телеграфистка засомневалась, то ли там написано, но они заверили ее, что все правильно.

— Как они выглядели?

— В шляпах с вуалью, так что разглядеть их было трудно, но телеграфистке показалось, будто одна помоложе, а другая — средних лет, обе хорошо одеты и говорят, как образованные.

— Гм-м. Кто это, черт побери, может быть?

1. Жребий брошен (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Эдит Уортон (1862–1937) — американская писательница, автор романа “Эпоха невинности”.
3. [Предаю себя] в руки Твои, Господи! (*лат.*)

— Кто-то из тех, что не жалуют Генри Джеймса.

— Но телеграмма была адресована мнé, — заметил Александер. — Скорее всего, это актрисы, у которых на меня зуб; по крайней мере у одной из них. Наверное, из тех, что провалилась на прослушивании.

— На этот раз не было прослушивания, — возразил Шоун.

— Да, не было. Значит, кто-нибудь из тех, кто считает, что должен был получить роль в спектакле, но не получил ничего. Или из тех, что добивались встречи со мной, но ушли ни с чем — я вечно получаю письма от актрис, которые просят принять их. Знаешь, как бывает, Боб, — может, это кто-то, кого я напрочь забыл.

Некоторое время мужчины молча обдумывали загадочное происшествие. Обоим было как-то не по себе: премьера всегда — дело рискованное и может обернуться чем угодно и без дополнительных неприятностей в виде анонимных телеграфных проклятий.

— Прошу тебя, никому ни слова, Боб, — сказал, наконец, Александер. — И уж конечно, не заикайся об этом Джеймсу. Он и так весь на нервах.

— Его сегодня не будет, — заметил Шоун. — Он мне сказал, что появится под самый конец.

— Чем же он намерен заняться?

— Сказал, что пойдет на "Идеального мужа".

— Вот как? — Александер был заинтригован: он лелеял надежду уговорить Оскара Уайльда написать еще одну пьесу для "Сент-Джеймса" и закрепить успех "Леди Уиндермир". Он сказал: — Охотно бы составил ему компанию.

Собеседники дружно засмеялись, правда, чуть громче, чем того заслуживала шутка, — видимо, сказывалось напряжение. Но расслабляться Александер никак не собирался. Он предвкушал, как его Гай Домвилл покорит публику. Это была многоплановая роль с тремя переодеваниями одно другого лучше, особенно хороши были сапоги для верховой езды в третьем действии.]

* * *

В половине седьмого уже в вечернем костюме и при полном параде он уселся в столовой и, заткнув за воротник рубашки большую салфетку, чтобы не испачкать пластрон, приступил к приготовленным миссис Смит гренкам по-уэльски и поджаренному бекону. В голове пронеслось: "Приговоренный к смерти ест в последний раз..." Он попросил Смита налить ему стакан сухого шерри, чтобы сдобрить ужин, что тот и сделал весьма эффектно, широким взмахом описав графином арку, прежде чем задержать руку над стаканом и вынуть

пробку. По мере приближения вечера жесты Смита приобретали все бóльшую церемонность — явно пропорциональную количеству принятого в буфетной горячительного. Он уловил легкий запах спиртного в дыхании Смита и решил, что поговорит с ним об этом — но не сегодня, не сегодня.

Он бросил взгляд на каминные часы, чтобы рассчитать свои ближайшие действия. До "Хеймаркета" он доедет в хэнсом-кебе — сегодня он уже достаточно находился, а омнибус не соответствует торжественности момента. Так что если он выйдет в четверть восьмого или чуть раньше, времени, чтобы добраться до "Хеймаркета" в восемь, будет предостаточно. Перед "Идеальным мужем" не будет одноактной пантомимы или фарса, потому что там четыре действия. Счастливчик этот Уайльд! Он недолюбливал эти одноактные довески: если они были очень хороши, основная пьеса проигрывала на их фоне, а если очень дурны, у публики портилось настроение. К какой категории относится фарс Филда, судить было трудно, ведь его ни разу не пригласили на репетицию, но как бы то ни было, цель состояла в том, чтобы предоставить лучшим из лучших, театральным завсегдатаям, их всегдашние три антракта, чтобы они могли размять ноги, посудачить и продемонстрировать свои роскошные туалеты. Поэтому-то его пьесу, действие которой естественно делилось на три акта, пришлось сократить чуть не вдвое, иначе бы представление слишком затянулось. Подобный диктат совершенно формальных, привходящих соображений и превращал театр в инструмент, который художник не мог использовать без отвращения.

* * *

[На Кинг-стрит зрители, выстроившиеся в две длинные очереди и дожидавшиеся дешевых незабронированных билетов на галерке и в задних рядах партера, начали проявлять нетерпение. Передние простояли тут уже несколько часов и стали зябнуть. Они приплясывали, дули на ладони и дубасили в дверь, хотя отлично сознавали, что отворят ее только за полчаса до поднятия занавеса и ни минутой раньше. Многие знали друг друга если не по имени, то в лицо — завсегдатаи премьер "Сент-Джеймса", они были преданными поклонниками Джорджа Александера, к которому прикипели душой, еще когда он был юным премьером в театральной компании Ирвинга[1]. Иногда они в шутку называли друг друга "Аликово войско".

1. Генри Ирвинг (1838—1905; наст. имя Джон Генри Бродрибб) — английский актер, директор театра "Лицеум"; первый актер, удостоенный пэрства за выдающиеся профессиональные заслуги.

Они то и дело обменивались репликами и шутками, а чаще всего — догадками на счет главного сегодняшнего события. "Хэнэ-ри Джей-сс — кто таковский, а?" — "За всю жисть не слыхал". — "А Гай Домвилл тут причем?" — "Дóлжно, главный, его Алик играет — на афише написано". — "Старина Алик!"

Два оборванных уличных музыканта, один с видавшей виды скрипкой в руках, другой — поющий и протягивающий шляпу для подаяний, обходили очередь. Тот, что с шляпой, выводил грубым осипшим голосом популярную песенку из мюзик-холла:

Ах, что за шляпа,
Что за шик!
Глядите, это
Моды крик!

Как только открылась дверь на галерку, толпа с радостным гомоном устремилась вперед. У узкого входа на высоком табурете за стойкой сидел молодой человек и брал у проходящих шиллинги. С ворчанием, шутками, толчками и тычками они одолевали четыре пролета незастланной ковром лестницы, чтобы поскорее добраться до райка и занять места получше.]

* * *

Он осмотрел себя в настенное зеркало в холле, тронул бабочку и погладил бороду. Свежевыглаженный фрак выглядел отлично. Смит держал наготове его черное пальто. Он нырнул в рукава и, втянув живот, застегнул пуговицы. Пальто становилось рискованно тесным, но пальто ведь не расставляют. Он разгладил пальцы черных лайковых перчаток, надел поданный Смитом шелковый цилиндр и проверил в зеркале угол наклона.

— Не ждите меня, Смит, — сказал он. — Я буду поздно.

— Слушаю, сэр.

— Что ж, всего хорошего.

— И вам всего хорошего, сэр, — сказал слуга, держа нараспашку входную дверь. — Надеюсь, сегодняшний вечер принесет вам радость.

[К этому времени в "Сент-Джеймсе" все места на галерке и внизу, в задних рядах, были заняты; партер тоже стал заполняться. В девятом ряду молодой критик из газеты "Пэлл-Мэлл" с любопытством, и стараясь ничего не упустить из виду, глядел по сторонам — ему все было в новинку: театр, место в партере, премьера, фрак. Герберт Уэллс стал театральным критиком "Пэлл-Мэлл" лишь в среду. Главный ре-

дактор, Гарри Каст, некоторое время назад обещал отдать ему первую же освободившуюся должность, каковой оказалось место театрального критика. Уэллс честно признался Касту, что, не считая пантомимы и нескольких спектаклей Гилберта и Салливана, был в театре лишь дважды, но Каст вроде бы счел это преимуществом. "То что нужно, — сказал он. — Пусть будет свежий взгляд. Вот вам билеты на эту неделю: Оскар Уайльд — на завтра, Генри Джеймс — на субботу. Для боевого крещения — достаточно". Прекрасно проявив себя как внештатный журналист, Уэллс ничуть не сомневался, что отлично справится и в этот раз, но его смущала скудость собственного гардероба. "Нужно быть во фраке?" — спросил он Каста. Тот, сын и наследник графа Браунлоу, явно удивился вопросу и ответил после небольшой паузы: "Разумеется". Поэтому он помчался к портному на Сарлз-стрит, который, как он знал, не откажет в кредите, и тот смастерил ему фрак за сутки, как раз чтобы можно было надеть в "Хеймаркет" на "Идеального мужа". Получилось отлично, и Джейн сказала, что он прямо красавец, поправила на нем бабочку, проводила его до дверей их съемной квартиры и поцеловала на прощанье. Однако сегодня не все зрители партера явились во фраке — он приметил садившегося на свое место человека в коричневой норфолкской куртке. Это был Джордж Бернард Шоу, только что начавший писать театральные обзоры для Фрэнка Харриса в "Сатердей ревью". Он узнал эту огненно-рыжую шевелюру и такую же бороду, похожую на язык пламени, так как несколько лет назад, в бытность свою студентом, слышал его выступления на собраниях фабианцев. Ни в грош не ставить обязательную форму одежды было очень в духе его бесстрашного радикализма. Герберт почувствовал себя не столь элегантным в своем новом фраке.]

* * *

Он остановил хэнсом-кеб на Кенсингтон-гор и приказал везти его в "Хеймаркет", но, осознав, что прибудет слишком рано, вышел на Пиккадилли, напротив книжной лавки Хэтчарда, и пошел пешком. И тотчас пожалел об этом. Как всегда субботними вечерами, тротуары вокруг Пиккадилли-сёркус, были запружены разношерстной толпой: щеголями в цилиндрах и супружескими парами кокни, цветочницами и продавцами газет, нахальными девицами, идущими под ручку и выкрикивающими недвусмысленные предложения робким юнцам, шарахавшимся в сторону, лишь бы пропустить тех поскорее. То были, так сказать, не профессионалки, а любительницы, желавшиие не только подзаработать, но и поразв-

лечься. Но стоило ему свернуть на Хеймаркет, как проститутки, норовившие заглянуть ему в лицо, а то и притронуться в надежде подцепить клиента, стали не на шутку раздражать его. Три такие девицы буквально устроили ему засаду, выросши как из-под земли, когда он подходил к колоннам театра "Ройал". "Тебе не одиноко, красавчик?" — "Какая из нас тебе приглянулась?" — "Всего полсоверена, по-быстрому", — канючили они.

— Сделайте милость, дайте дорогу, — произнес он надменно.

— О-о, ну зачем же так, сэр!

Обступив его, они цеплялись за рукава, за полы пальто. В нос ему ударил смрад: смесь дешевого одеколона и несвежего дыхания. Он отпрянул.

— Эй, девки, отвяжитесь от джентльмена! Валите отсюда! — вмешался какой-то малый в суконной шапке и долгополом потертом пальто с линялым меховым воротником, разгоняя дамочек. Генри уже хотел было поблагодарить своего спасителя, когда тот прибавил: "Он вашей сестрой не интересуется. Правда, душка?" — и подмигнул многозначительно. Из-за его спины выглядывала целая шайка таких же одетых во что попало юнцов, которые, ухмыляясь, наблюдали за происходящим. С издевками и смешками девицы ретировались. "Ты ведь дружок Оскара, так?" — спросил малый.

— Нет, — отрезал он. — Простите, — и быстро проследовал дальше.

— Ладно, если увидишь его, передай привет! — крикнул ему вслед малый. — Скажи, от Чарли!

Каким облегчением было оказаться под классическим портиком и пройти в фойе, где сияла люстра и стояла совсем другая толпа — цивилизованная. Сердце его все еще учащенно билось из-за неприятной уличной сцены, и, лишь после того как он сдал цилиндр и пальто в гардероб и занял свое место в зале, к нему вернулось относительное спокойствие. Фарс Филда, сейчас, должно быть, уже в самом разгаре и к дверям "Сент-Джеймса" подъезжают последние кебы и кареты, а из них высаживаются те самые влиятельные и утонченные зрители, которые предпочли не пойти на Филда.

* * *

[— Экая досада! — воскликнул ехавший в кэбе Джордж Дюморье, вынимая часы и стараясь разглядеть стрелки в свете уличных фонарей. — Мы пропустили фарс.

Путь от Хампстеда в наемной карете занял больше времени, чем обычно, и сейчас они застряли в длинной веренице экипажей на Риджент-стрит.

— Ничего, дорогой, — ласково сказала Эмма. — На пьесу Генри Джеймса мы не опоздаем, правда же?

— Но я люблю фарсы, — проворчал Дюморье.

Как им обоим было известно, истинной причиной его раздражения было то, что, уплатив за две пьесы, он теперь злился, оттого что недополучит причитающееся за его кровные. Внезапный приток средств, вызванный успехом "Трильби", мало что изменил в его бережливости.

— Хоскинс — никудышный кучер, — не унимался он. — Вечно ездит по большим улицам, всегда забитым экипажами, когда любой лондонский кебби знает, как быстро проехать в объезд.

— Зато он очень предумотрительный и надежный, — возразила Эмма.

— Я устал от бесконечных поездок в город и обратно на этой продуваемой всеми ветрами колымаге! — выпалил раздосадованный Дюморье. — Нам следует перебраться в город — я хочу сказать, перебраться насовсем, а не на несколько месяцев в году. В конце концов, мы можем себе это позволить.

Это было очень в духе Дюморье, которому легче было совершить крупную трату, чем мелкую.

— Ну, не знаю, Кики, — пробормотала Эмма. — Ты будешь очень скучать по Хиту.

— В городе есть парки. Для прогулок по ровной местности. Подъемы Хампстеда уже крутоваты для меня. Я потом дома никак не могу отдышаться.

— Да, конечно, но...

— Теперь, когда у Джералда[1] так хорошо идут дела, мы захотим почаще бывать в театре. Что за мученье — тащиться после спектакля в Хампстед!

— Я все еще надеюсь, что это у него временное, — вздохнула Эмма. — И что в один прекрасный день ему все наскучит и он вернется к серьезному делу.

— Ни малейшей надежды, Пем. Как только я увидел, как он играет этого официанта в "Старом еврее"[2], я сразу понял, что он нашел себя. У него были одни проходные реплики, но буквально каждое его слово вызывало смех! — Он хохотнул: вместе

1. Джералд Дюморье (1873—1934) — британский актер театра и кино, содиректор театров "Уиндем" и "Сент-Джеймс"; удостоен пэрства за выдающиеся профессиональные заслуги.
2. Пьеса Сидни Гранди (1848—1914) — английского либреттиста комических опер и драматурга, адаптировавшего для сцены ряд произведений европейской литературы; пьеса "Старый еврей" была поставлена в 1894 г. в "Гаррик-театре".

с приятным воспоминанием к нему вернулось хорошее расположение духа. — Я вот сейчас подумал, ведь это было ровно год назад, чуть не день в день — шестого января. Будем надеяться, что и нынешняя премьера у Джеймса пройдет так же удачно.]

* * *

— Поедете сегодня к Хартлокам, Оливия?
— Вероятно. А вы?
— Я тоже. У них всегда такая скука. Правда?
— Ужас! Не понимаю, зачем я к ним езжу. Не понимаю, зачем я вообще куда-нибудь езжу.
— Я езжу сюда, чтобы узнать что-нибудь полезное.
— Ах, я так не люблю узнавать что-нибудь полезное.
— Я тоже. Это ставит нас на один уровень с деловыми кругами, вы не находите?[1]

После первых же слов "Идеального мужа" он понял, что совершил ошибку и приходить сюда не следовало. Он не мог проникнуться духом пьесы, не реагировал на остроты, не в силах был уследить за сюжетом, ибо всеми своими помыслами был в *другом* месте, где шла *другая* пьеса, — ну, может быть, не всеми своими помыслами, а только их частью, но зато — непрерывно, а может быть, всеми помыслами — время от времени. В его голову словно вливались два разноречивых потока, но важен был лишь один из них. Он слышал, что актеры говорят слова; понимал, что это английские слова; слышал, как соседи отвечают на них смехом, — но все это не сразу доходило до его сознания, и только сделав над собой огромное усилие, и отогнав картины собственной пьесы (в "Хеймаркет" с минуты на минуты должны были дать занавес), и повторив про себя очередную реплику комедии Уайльда, он мог вникнуть в смысл сказанного и осознать, почему это кажется смешным, но тем временем диалог уносился дальше, и он еще больше запутывался. Он сидел неподвижно, с отсутствующим взглядом, с застывшим выражением лица, словно обратился в камень, а люди рядом тряслись от смеха, раскачивались в креслах и весело подталкивали друг друга.

* * *

[В "Сент-Джеймсе" под дружеские аплодисменты завершился фарс "Слишком счастлив", и опоздавшие, включая чету Дюморье, с улыбками и кивками в сторону старых друзей и

1. О. Уайльд. Идеальный муж. Здесь и далее цитируется в переводе О. Холмской.

знакомых, пробирались на свои места, а оркестр тем временем играл “Прелюдию к ‘Гаю Домвиллу’” — попурри из приятных старых мелодий, аранжированных в духе прошлого века и собранных вместе музыкальным директором и дирижером театра Уолтером Слотером. <...>

Завершив увертюру тушем, Уолтер Слотер повернулся и стал кланяться и вежливо улыбаться хлопающей публике. Зал погрузился в полутьму — благодаря электричеству эффект стал легко достижимым. Но Александер не спешил перенимать моду на темноту в зрительном зале. Он знал, что модная публика из Вест-Энда, которой он желал угодить больше всего, любила видеть себе подобных и сама быть на виду не только в антрактах, но и во время представления. Оркестр заиграл вновь, на этот раз нечто более спокойное: то было вступление к первому действию, — и публика замерла в ожидании. <...>]

* * *

Он подумал, не уйти ли ему из театра — его кресло было последним в ряду, и уйти было бы нетрудно, но куда себя деть? Не идти же домой на Девир-гарденз, — Смиты решат, что он не в себе, — или в паб, где тикающие часы не дадут ему отвлечься, или в “Реформ-клуб”, где какой-нибудь знакомый непременно вцепится в него и будет донимать расспросами, почему это он не на собственной премьере; и, уж конечно, не гулять по улицам, которые кишмя кишат проститутками и разного рода прохвостами. Оставалось лишь взять себя в руки и сосредоточиться на том, что происходит на сцене. Пьеса вроде бы была о ловком английском политике и его чопорной жене; в прошлом он совершил какой-то бесчестный поступок и теперь попал в отчаянное положение из-за бессовестной авантюристки, грозящей ему разоблачением; тем не менее, вы должны были сочувствовать ему и его другу — изнеженному аристократу, который старался ему помочь. Изнеженный аристократ, явно списанный автором с самого себя, рта не мог раскрыть, не щегольнув парадоксом или эпиграммой:

— Я люблю говорить ни о чем, отец. Это единственное, о чем я что-нибудь знаю.
— Вы, кажется, живете только для удовольствия.
— А для чего же еще жить, отец?

По залу прокатился смешок. Между тем первое действие “Гая Домвилла” уже должно было начаться. Представляя себе сцену: прелестные декорации сада, одновременный выход с двух сторон (из деревянной калитки и из дома) Франка Хамбера и Фанни:

"Вас ищут, сэр! Простите, сэр, я приняла вас за мистера Домвилла". — "А разве он не в доме?" — "Да нет, сэр, я вышла его поискать", —

он понял, что единственное место, где ему сейчас, сейчас, когда уже было слишком поздно, хотелось находиться, был "Сент-Джеймс"! Какого дурака он свалял!

[Первое действие прошло очень хорошо. Пока оно разворачивалось, Элизабет Робинс, сидевшая вместе с миссис Хью Белл в ложе отсутствующего Генри Джеймса, куда он сам ее пригласил, испытывала все большее облегчение: она радовалась за автора, и, уж разумеется, за себя, ибо не забыла, какое это было мучение — зализывать раны, нанесенные его уязвленной гордости нелицеприятными критическими отзывами на "Американцев", а потом и отменой "Привычек миссис Джасперс"; ей очень хотелось бы избежать повторения подобного опыта. Она была великой поклонницей Генри-романиста и Генри-критика, почитала дружбу с ним за честь, но ей всегда мешала некоторая натянутость в их отношениях, вызванная их общей причастностью к театру, — дело в том, что в глубине души она сомневалась в его таланте драматурга. Пьесы, которые он читал или показывал ей на разных стадиях работы, по большей части были сценичны: с крепким, хорошо увязанным сюжетом, легким, хорошо воспринимаемым на слух диалогом, однако без чего-то такого, что верней всего было бы назвать подлинной страстью к театру как к искусству. Он был им заворожен, но одновременно относился пренебрежительно и уделял лишь второстепенные (а порой даже использованные) свои замыслы. Иногда ей казалось, что Генри ведет себя по отношению к театру, как пожилой дядюшка, которому вздумалось поиграть с племянниками и племянницами в детскую игру; и он с нарочитой серьезностью и торжественностью берется за дело: садится на корточки, чтобы сравняться с малышами в росте, усердно зубрит правила, изо всех сил старается победить, но потом, забыв цель и меру, заводится всерьез и часами торчит в детской, вместо того чтобы использовать свое время для чего-то более достойного его способностей.

Однако первое действие "Гая Домвилла" заставило ее усомниться в собственной правоте. С тех пор как Генри устроил ей читку, прошло немало времени. Для пьесы оно не прошло даром: она стала гораздо лучше. Да и исполнители были очень хороши — особенно Александер и Мэрион Терри. Изысканность джеймсовского слога, порой отдававшая искусственностью и манерностью, вполне соответствовала времени, к которому было отнесено действие, а само действие держало зрителей в на-

пряжении. В какую-то минуту в райке закашляли, но всем существом она ощущала неотрывное и одобрительное внимание зала к разворачивавшимся событиям. Когда Мэрион Терри, чьи надежды разбились так же внезапно, как и родились, осталась на сцене одна и трогательно припала лицом к колонне террасы, а занавес опустился в знак окончания акта, публика разразилась такими громкими и восторженными овациями, что одним обилием личных друзей автора этого нельзя было объяснить.

— Ну, разве не замечательно! — прямо в ухо сказала ей Флоренс Белл, энергично хлопая.

— Замечательно, — кивнула Элизабет. — Какая жалость, что здесь нет Генри и он ничего этого не видит.

— И не слышит!

* * *

— Браво, милочка! — шепнул Александер нырнувшей в кулису Мэрион Тэрри.

— Ничего получилось, Алек? — спросила она. — Там, на террасе?

— Это было прекрасно, — сказал он.

Как и другие члены труппы, они разошлись по своим уборным молча, лишь обмениваясь на ходу радостными улыбками. Все понимали, что первое действие прошло хорошо, но, если вовсю трубить об этом, можно накликать беду. К тому же, думал про себя Александер, второе действие — задачка куда потруднее.

* * *

— Что ж, надо признать, это было восхитительно, — сказал Джордж Дюморье Эмме, когда загоревшиеся в зале огни засверкали во всю силу, а смолкшие аплодисменты сменились гулом голосов. — Тебе понравилось, дорогая?

— Очень. Такие чудные декорации! Как ты думаешь, цветы были настоящие?

— Я их, по правде говоря, не заметил, Пем. Следил за ходом пьесы.

— Да, пьеса тоже очень милая.

Дюморье захохотал.

— Надеюсь, ты не станешь при встрече поздравлять Джеймса с тем, что цветы были как живые.

— Не говори глупости, Кики, конечно, не буду.

— Пойдем прогуляемся, пока антракт.

Продвигаясь по проходу в медленно плывущей толпе, они столкнулись с юмористом Томом Гэтри, известным читателям "Панча" под именем "Ф. Энсти".

— Привет, Дюморье, что вы об этом думаете?

— Полагаю, это выдающийся образец драматического искусства.

— Согласен, выдающийся, но все равно бисер перед свиньями: за мной в задних рядах партера все время кашляли. Кстати, я слышал, "Трильби" собираются ставить в Америке. Пьесу сами пишете?

— Нет, некто по имени Пол Портер. Очень опытный, говорят.

— Значит, огребете еще больше шекелей?

— Нет, к сожалению. Права на пьесу принадлежат не мне.

— А-а, ну да все равно — хорошая реклама для книги.

— О да.

— Хотя она в этом и не нуждается. — И Гэтри направился в другую сторону: поздороваться с кем-то еще.

— С тех пор как напечатали "Трильби", всем кажется, что я миллионер!

* * *

Большинство зрителей партера, как и Дюморье, отправились "прогуляться", либо проследовали в буфеты и фойе, чтобы подкрепиться или встретиться с друзьями. Иные, однако, остались сидеть: низко склонившись над блокнотами, они строчили "на коленке". "Собратья-критики, — догадался Герберт Уэллс, — записывают впечатления от первого акта". Бернард Шоу не стал засиживаться, через несколько минут вскочил и зашагал по проходу. Герберт последовал его примеру в надежде улучить минутку и представиться ему, но в фойе, к своему удивлению, наткнулся на Гарри Каста и одного из коллег в тугих футлярах фраков и накрахмаленных рубашек. Каст заулыбался и сконфуженно кивнул.

— Что скажете о пьесе? — спросил он.

— Поживем увидим, — ответил Герберт.

— Не забудьте воспользоваться красным конвертом, когда будете отправлять свой текст, — напомнил Каст.

— Не забуду, — сказал Герберт и поинтересовался: — Вы часто бываете на премьерах?

— Как сказать, — промямлил Каст, а его спутник уставился на носки собственных туфель.

— В "Хеймаркет" в четверг были?

— Да, там как раз был.

Герберт смекнул, что эта парочка явилась подстраховать его, на случай, если он запорет рецензию.

— Очень элегантный фрак, Уэллс, право, — отметил Каст. — Новый?

— Да нет, он у меня много лет, — сказал Герберт.

* * *

Миссис Александер и ее гостья, актриса Лили Хэнбери, в антракте не покидали своих мест — остались сидеть в ложе. То была личная ложа Флоренс Александер, которую всегда оставляли для нее в дни премьер, оттуда все было прекрасно видно: и сцену, и зрительный зал.

— Чудесные декорации, Флоренс, — сказала мисс Хэнбери, — и дивные костюмы. Как всегда, к женским это вы приложили руку?

— Я сделала для Саваж и Пердью эскизы в духе того времени, чтобы передать общую идею. И, как обычно, произвела окончательный подбор тканей — чтобы подходили к декорациям по фактуре и оттенкам.

Флоренс Александер, которая в юности сама была актрисой, принимала непосредственное участие в делах мужа. В начале его деятельности — в качестве управляющей — помогала ему экономить на костюмах для актрис: делала эскизы и порою даже кое-что шила сама. Кроме того, она внимательно следила за подготовкой спектаклей и перед каждой премьерой проверяла, весь ли реквизит на месте. Премьера — это всегда нервы, столько всего может пойти вкривь и вкось, но сегодняшняя — проходит прекрасно. Какой Алик красавец в строгой черной сутане!

— Цветы выглядят как живые.

— Они и есть живые! — засмеялась Флоренс. — Растут в маленьких горшочках, их нужно ежедневно поливать.

— Бог ты мой! Какой перфекционизм!

— А что вы думаете о пьесе?

— Пока, по-моему, замечательная.

* * *

Завсегдатаи галерки и задних рядов партера явно были в меньшем восторге от первого акта, чем партер и ложи. Они бы предпочли, чтобы действия было побольше, а разговоров поменьше, да и в разговорах этих многое оставалось темным. Однако все они радовались тому, что Гай Домвилл отказался от намерения стать священником: “Алик хоть скинет эту скучную черную шкуру”, — сказал кто-то. Но среди женщин разгорелся спор: он что, не видит, что молоденькая, хорошенькая вдовушка души в нем не чает, или просто знает, что в нее влюблен друг, вот и не может признаться. Ну ничего, в конце пьесы они поженятся. Потом пошли догадки, что́ достанется довольно славному малому — другу — в обмен на потерю вдовушки. “Ставлю на наследницу, ее под самый конец вспомнили”, — сказала одна из зрительниц. Другая высказала предположение, что гор-

ничная Фанни тоже окажется наследницей и, — значит, подходящей женой для джентльмена. Женщины подкреплялись апельсинами и печеньем, которые принесли с собой в бумажных пакетах, и передавали друг другу бутылки с имбирным пивом. Мужчины все как один отправились на поиски чего покрепче и вернулись подобревшими и исполненными надежды на то, что во втором акте дело пойдет поживее, чем в первом.]

— Можно предложить вам чаю, миссис Чивли?

— Благодарю вас.

— А вам, леди Маркби?

— Нет, дорогая, спасибо. Дело в том, что я обещала заглянуть на минутку к бедной леди Бранкастер. У нее ужасное несчастье. Ее дочь — и ведь такая милая девушка, вполне благовоспитанная! — выходит замуж за помощника приходского священника в Шропшире. Грустно, очень грустно. Не понимаю я этого теперешнего увлечения сельским духовенством. В мое время они, конечно, иногда попадались нам на глаза, — они же там всюду шныряют, как кролики, — но мы не обращали на них ни малейшего внимания. А теперь, говорят, светское общество в провинции ими просто кишит. Я считаю, что это неуважение к религии...

И так — несколько минут. Говорившей, леди Такой-то, в пьесе делать было решительно нечего, кроме как время от времени разражаться подобными речами, не имевшими никакого отношения к действию. Но зрители вроде бы ничуть не возражали против этого: они хихикали, прыскали, а то и хохотали во все горло после каждой фразы. Дело шло к концу второго акта, а это означало, что как раз сейчас начинается второй акт "Гая Домвилла": *Вилла миссис Домвилл в Ричмонде. На сцене миссис Домвилл и Джордж Раунд.*

* * *

[— Причину моего " неуместного" возвращения, мэм, объяснить просто: это уважение, которое я питаю к вам, и уважение, которое я питаю к своей кузине — вашей невыразимо очаровательной дочери.

— Вы не забыли, что полгода назад я уже доводила до вашего сведения, как наилучшим образом выразить это ваше уважение?

— Держаться как можно дальше от вашего дома — чтобы предоставить вам возможность забыть о моем существовании и вселить в вас надежду, что и я забыл о вашем. Я повиновался вам, мэм, и немедленно отправился к себе на корабль. Но он приплыл обратно на прошлой неделе.

Как переменчиво настроение публики... как быстро гаснет интерес зрителей и рассеивается с таким трудом завоеванное

внимание. Элизабет Робинс, чья нервная система чутко реагировала на малейшие перемены в зале, за те несколько минут, что давали занавес, вдруг почувствовала, что у нее упало сердце — так падает барометр в предвестии бури. Можно ли было хуже начать второе действие, чем ввести два новых, лишь мельком упомянутых в первом акте персонажа и заставить вспоминать прошлое, хорошо им известное, но совсем неизвестное публике? По театру прокатилась эпидемия кашля, куда более настойчивого, чем раньше, — верный признак нетерпения и скуки. Актеры слышали его, конечно, и стали проявлять беспокойство. Особую нервозность выказывала миссис Сэкер, исполнявшая роль миссис Домвилл. На ней было сложного покроя платье с кринолином, скомбинированное из дорогих цветастых тканей и отделанное рюшами, складками и сборками, и какая-то невероятная шляпа. Элизабет подумала, что фасон, наверное, был позаимствован из какой-нибудь старой иллюстрированной книги, но самой ей в жизни не доводилось видеть чего-либо подобного. Сооружение это больше напоминало гигантскую муфту или небольшой пуфик, — из тех, на которых покоят подагрическую ногу, — чем шляпу. Изготовленная из черного меха, она была почти идеальной цилиндрической формы, но донце в диаметре было шире нижнего ободка. В высоту шляпа достигала не менее двух футов, а с ее плоского верха свисал пучок длинных черных перьев, развевавшихся и колыхавшихся при малейшем движении актрисы. Чтобы носить подобный головной убор, требовался определенный кураж, свойство явно все более изменявшее миссис Сэкер. Публику, несомненно, больше интересовал очередной кивок шляпы, чем очередной поворот сюжета. Каким образом она крепится? А если свалится, то вперед или назад? Элизабет видела, как сидевшие в партере и ложах поворачиваются к своим соседям и шепчут им на ухо нечто, вызывающее ответные улыбки, а когда голос на галерке запел во всю мочь известный припев: *Ах, что за шляпа, что за шик!* — из разных концов зала ответили смехом. Если в разыгрывавшейся сцене и был слабый намек на драматизм, от него ничего не осталось. У Элизабет появилось ужасное предчувствие, что шляпа миссис Сэкер сыграет такую же зловещую роль в "Гае Домивилле", как фрак Эдварда Комптона в "Американцах".

* * *

Флоренс Александер, сидевшая в соседней от Элизабет Робинс ложе, была и возмущена, и оскорблена. Откуда в людях столько жестокости? И можно ли быть такими мещанами? Ей хотелось встать и крикнуть всем этим весельчакам, что высокие, сложные головные уборы для дам были в большой моде в

конце восемнадцатого века. Но, разумеется, ничего такого она не сделала. Возможно, внутренний голос шепнул ей, что костюм был и впрямь *слишком* претенциозен. Конечно, его нужно было уметь носить, и на генеральной репетиции в душе у нее шевельнулось сомнение, справится ли Роуз Сэкер с подобной задачей, но она подавила его. Сейчас актриса окончательно утратила уверенность в себе и уставилась на вышедшего на сцену Алика вытаращенными от ужаса глазами. Что, в свою очередь, передалось ему, и, отчаянно стараясь вернуть интерес публики к пьесе, он стал проявлять неумеренную пылкость в роли влюбленного жениха. Флоренс просто не могла это видеть. Вернее, не видеть, а слышать — она сидела, закрыв глаза и сжав руки, и ждала, когда миссис Сэкер наконец удалится. Но и следующая сцена прошла так же скверно.

* * *

— Зачем Александер так кривит рот? У него из-за этого все лицо какое-то перекошенное? — прошептал Джон Сингер Сарджент[1] своему спутнику, Грэму Робертсону.

— Потому что у него выбита почва из-под ног, — шепнул в ответ Робертсон, — и я его не виню. Вы можете мне объяснить, что происходит в этой сцене?

— Нет, я надеялся, что это *вы* мне объясните в антракте, — пробормотал Сарджент.

* * *

На сцене сошлись вместе Гай Домвилл, якобы жаждущий немедленно жениться на дочери миссис Домвилл Мэри, и лейтенант Джордж Раунд, истинный возлюбленный девушки, которому несколько месяцев назад ее мать и лорд Девениш указали на дверь, но который вернулся в тщетной надежде вернуть возлюбленную. Смысл этой встречи состоял в том, что Гаю надлежало узнать об их взаимной привязанности, о которой он не имел ни малейшего понятия, отказаться от претензий на Мэри и помочь любовникам бежать. Автор пьесы решил, что герой, озадаченный присутствием Раунда, попытается подпоить его, чтобы выведать его истинные намерения; Раунд же, со своей стороны, постарается рассеять подозрения Гая ровно тем же способом, поэтому мужчины то и дело поднимают тосты друг за друга и притворяются пьяными, тайком выливая содержимое своих рюмок в цветочные горшки, вазы и другие имеющиеся под рукой емкости. Поскольку пьеса явно не была

1. Джон Сингер Сарджент (1856—1925) — американский художник.

задумана как фарс, зрители — по крайней мере, те из них, что занимали места подороже, — недоумевали, следует ли им смеяться над этой бредовой ситуацией или нет. Но так как оба героя, несомненно, были достойными и благородными джентльменами, которым ничего не стоило устранить возникшее недоразумение с помощью двух-трех прямых вопросов, никакого драматизма в их натужных попытках обмануть друг друга усмотреть было невозможно. Короче говоря, сцена взаимного спаивания была совершенно не к месту. К несчастью, Джордж Александер осознал это только во время представления, когда ощутил исходящую от зала мощную волну недоверия и недоумения, затапливающую сцену и буквально бьющуюся о его ноги. Удалившись за кулисы (чтобы предоставить Джорджу Раунду возможность склонить Мэри к побегу), он обнаружил там миссис Сэкер в полуистерическом состоянии. "Скорей, кто-нибудь, подайте ей нюхательную соль, — прорычал он. — Через минуту ей снова на сцену". Он закрыл глаза и надолго задержал дыхание, стараясь успокоиться перед следующим выходом. ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОЛНОГО ПРОВАЛА. Нависла опасность, что проклятие может исполниться.

* * *

Друзья автора преданно хлопали в конце второго акта, однако нотки искреннего энтузиазма, звучавшей в их аплодисментах после первого, не было. Обмениваясь неловкими улыбками и взглядами, они поднимались со своих мест и пробирались в фойе.

В мужском туалете Эдмунд Госс оказался у писсуара рядом с Уильямом Норрисом[1].

— Не такой хороший акт, как предыдущий, — заметил он.

— Не такой, — откликнулся Норрис. — Но, похоже, на галерке засел какой-то вульгарный сброд. И лишает пьесу всяких шансов на успех. А Джеймс в зале?

— Нет, — сказал Госс, — придет под самый конец.

— Оно и к лучшему, наверное.

— Да, — согласился Госс. А про себя подумал, как хорошо, что Джеймс отказался от их первоначального плана и теперь у него не будет сомнительного удовольствия мотаться в паб и докладывать, как прошел второй акт. Вспомнив, как тот тип на галерке закричал *Ах, что за шляпа, что за шик!*, он не сумел подавить предательский смешок.

1. Эдмунд Госс (1849–1928) — английский писатель, критик, историк искусства, поэт; Уильям Эдвард Норрис (1847–1925) — английский романист.

– Я не знал, что вы в городе, Норрис, – сказал он, застегивая пуговицы на ширинке.

– Я приехал ради спектакля. Кстати сказать, я полагал, что мы с вами завтра обедаем с Джеймсом.

– А вы придете? Отлично, – сказал Госс.

Когда-то он познакомил Норриса с Джеймсом и был немало удивлен тем, как хорошо они поладили: прошлым летом Джеймс гостил у того в Торки и с энтузиазмом писал о своем пребывании. Норрис был скучный, приличный господин, выпускавший скучные, приличные романы "под Троллопа", которые Джеймсу нравиться не могли. В ответ на соответствующий вопрос, Джеймс ответил, не обинуясь: "Мне рядом с ним спокойнее". Если подумать, нельзя не признать, что это и потребуется на завтрашнем обеде.]

* * *

В третьем антракте многие, как и он, остались сидеть на месте. Он глянул на часы. Десять минут одиннадцатого. Скоро начнется третье и последнее действие "Гая Домвилла". *Белая гостиная в усадьбе "Террасы". Слева дверь в холл, справа – в библиотеку. Миссис Певерел сидит у камина. Из холла появляется Фанни с подносом в руках, на подносе – письмо.* А что если сейчас встать, помчаться в "Сент-Джеймс", проскользнуть в задние ряды партера и посмотреть последний акт? Не сидеть же ему здесь ради того, чтобы узнать, избежит ли сэр Роберт Чилтерн тысячу раз заслуженного им позора. Однако к началу третьего действия в "Сент-Джеймс" ему уже не поспеть, а своим запоздалым появлением он может отвлечь партер от прелестной первой сцены. Нет, лучше не отступать от первоначального плана. "Гай Домвилл" закончится примерно в одиннадцать. Он уйдет отсюда четвертью часами раньше, доиграют "Идеального мужа" или нет, tant pis[1], если это обеспокоит зрителей.

* * *

[Поначалу Элизабет Робинс лелеяла надежду, что третье действие спасет пьесу от провала. Поднялся занавес, открылись необычайно изящные декорации: такая уютная, элегантная и с виду основательная гостиная, что каждому хотелось пожить в ней. А от первых сцен: с миссис Певерел и Фанни, а затем – с миссис Певерел и Фрэнком Хамбером, – вновь повеяло очарованием первого действия. Актеры, занятые в этих ролях, отдыхали в своих уборных во время второго дей-

1. Тем хуже (*франц.*).

ствия и не испытали на себе последствий его бурного течения. Они играли тонко и уверенно и понемногу стали отвоевывать заинтересованное и сочувственное внимание публики. Но с появлением лорда Девениша (который, по лишь ему известным причинам, рвался теперь во что бы то ни стало сосватать Гая и миссис Певерел) и тут же последовавшего выхода самого́ главного героя все опять пошло прахом. У. Дж. Эллиотт, который с самого начала был самым слабым звеном среди исполнителей, сильно переигрывал, желая подчеркнуть низость изображаемого им персонажа, и сейчас его хищный оскал и злобные взгляды делались все более гротескными. Джордж Александер, все еще старавшийся вернуть себе душевное равновесие после травмирующих событий второго акта, двигался манерно и форсировал голос. А то обстоятельство, что на данном этапе сюжета главный герой руководствовался все более сложными и неоднозначными мотивами, отнюдь не помогало делу. Гай вернулся, чтобы объявить миссис Певерел о своей любви, но узнав, что лорд Девениш предупредил Фрэнка Хамбера о его намерении, вновь передумал и в конце концов решил пойти в священники, хотя его друг благородно отговаривал его от этого. Партер и первый ярус терпеливо вслушивались в его доводы, но галерка и амфитеатр совершенно потеряли интерес и доверие к происходящему. Бормоток непочтительных комментариев и всплески неуместного смеха стекали ручейками из верхних ярусов и сливались с шумком в задних рядах зала. Некоторые зрители, сидевшие в партере и нижних ярусах, неодобрительно поглядывали наверх или оборачивались назад, кое-кто при этом призывал к тишине, но без особого успеха. Атмосфера в театре становилась тревожной.]

* * *

— Гертруда, что ты чувствуешь ко мне — любовь или только жалость?

— Любовь, Роберт. Любовь — и только любовь. Для нас обоих начинается новая жизнь.

Как только опустили занавес, он сорвался с места и, словно ядро из пушечного жерла, выскочил из зала, подгоняемый взрывом аплодисментов. Томившиеся в коридорах капельдинеры изумленно смотрели, как он пролетает в двери с надписью "Выход", прежде чем они успевают их распахнуть перед ним. Пока он забирал в гардеробе шляпу и пальто, до него все еще доносился глухой прибой оваций, и, лишь покинув "Хеймаркет" и ступив на тротуар, он стряхнул с себя звуки чужого триумфа. Он перешел дорогу и ринулся на улицу Карла II. Не обращая внима-

ния на женщин, нежно окликавших его из темных ниш или покачивавших бедрами и задиравших юбки, он несся мимо них под фонарями. Какая циничная, благонамеренная пьеса! Идеальный муж — лжец и лицемер, которого его резонерствующая жена должна простить лишь потому, что тоже себя скомпрометировала. И этот человек должен стать министром! Конец пьесы мог бы стать едкой сатирой на политическую коррупцию, если бы в целом это не была сентиментальная комедия. Что ж, им она понравилось — зрителям она понравилась. Они все разом выгнули спинки и замурлыкали от удовольствия, перевернулись навзничь и замахали лапками, пока Оскар щекотал им животики своими легковесными шуточками.

Он уже был на середине Сент-Джеймс-сквер, когда до него вдруг дошло истинное значение собственных мыслей; ощущение удара было почти физическим, и он застыл на месте. Если "Идеальный муж" любезен сердцу современного вэст-эндского зрителя, значит, "Гай Домвилл", с его старинным обхождением, благовоспитанными речами, совестливым героем и страдающей, сдержанной героиней, с глубокими этическими проблемами и окончательным выбором в пользу самоотречения и самопожертвования, ему не понравится. Хотя за последние дни и часы он буквально заболел от тревоги, лишь сейчас он поверил в возможность провала. Медленным шагом двинулся он дальше, от дурного предчувствия на сердце лежал камень.

* * *

[Тем временем "Гай Домвилл" вяло тащился к концу. Сидевшие в зале друзья автора буквально сгорали от нетерпения: они мечтали, чтобы все это поскорее кончилось, чтобы несчастные актеры избавились от своего мучения, чтобы громилы на галерке лишились повода для глумливых выкриков и чтобы сами они могли наконец перевести дух. "Прошу Тебя, Господи, пусть это поскорее кончится", — молилась про себя Элизабет Робинс и мысленно торопила актеров. Но, видно, какой-то извращенный импульс заставлял Александера действовать ровно наоборот: стараясь замедлить темп финальной сцены, он растягивал слова и фразы, произносил их высокопарно и прочувствованно. Разумеется, это мог бы быть миг его величайшего триумфа: Гай Домвилл окончательно отрекается от мира ради более высоких целей и самоотверженно препоручает любимую женщину и друга взаимным заботам; это и *был бы* миг такого триумфа, если бы вся пьеса еще сохраняла свои чары, но чары давным-давно и безвозвратно рассеялись. Настойчиво чередующееся повышение и понижение голоса, которое должно было придать сцене трогательный, элегический характер, лишь еще больше распаляло враждебно настроенную часть зала. Когда

слова *последний из Домвиллов,* часто повторявшиеся в ходе пьесы и много раз — в финальной сцене, в очередной раз были произнесены Александером (ими начинался его последний длинный монолог) каким-то новым, особенным тоном: *Милорд, я последний из Домвиллов,* — с галерки прогремело: *И это очин-но прекрасно, черт тебя дери!* Элизабет Робинс закрыла уши, чтобы не слышать, как грохнул зал. Она недолюбливала Александера, но не готова была присутствовать при унижении собрата. Вопреки очевидности она надеялась, что Генри придет слишком поздно и ничего этого не застанет.]

Он вошел в театр через служебный вход, кивнул сторожу, и, уже хорошо зная местную топографию, пошел, заметно срезав путь, через тускло освещенные проходы, слабо попахивавшие газом и канализацией, в сторону сцены. Приближаясь к кулисам, он услышал, как Мэрион Терри произносит свою предпоследнюю реплику: "Это была мечта, но время ее прошло!" Он подошел к кучке актеров: Эсмонду, Эвелин Миллард и Ирен Ванбру — в костюмах Раунда, Мэри и Фанни, — ожидавших выхода на поклоны. Они обернулись, при виде него лица их на мгновение стали пустыми от немого удивления, и — улыбнулись в знак приветствия. Не от собственного ли страха их улыбки показались ему вымученными? "Хорошо прошло?" — прошептал он. Эсмонд предостерегающе поднес палец к губам — чтобы призвать к молчанию или чтобы избежать ответа? Тем временем Александер медленно и довольно неуклюже отступал к дверям гостиной, находившимся на противоположной стороне сцены.

— Будь добр к нему, — сказал он Мэрион Терри, но это прозвучало как *бдбр к нему,* ибо голос его был странно сдавлен. — Будь нежен с ней, — сказал он Герберту Уорингу. Задержался на пороге, повторил снова: — Будь нежен с ней, — и медленно затворил за собой двери.

А через мгновение объявился за кулисами уже с другой стороны и стал утирать платком пот со лба. Глянув поверх сценической площадки (где двое актеров обменивались заключительными репликами: "Миссис Певерел! Я буду надеяться". — "Дайте мне время!"), он заметил Генри и метнул в него взгляд, значение которого тот не смог понять. Затем занавес опустился, и раздались аплодисменты, каких ему еще никогда не случалось слышать. Они были громкие и долгие, но к хлопкам примешивались и другие звуки — крики, вой, свистки, — которые, сколько он способен был судить, могли выражать как энтузиазм, так и рев разгневанной толпы.

Снова дали занавес, актеры вышли кланяться, сначала все вместе, потом — по одиночке. С того места, где он стоял, видна была ложа, где бешено аплодировали, — ему показалось,

что он узнал Бёрн-Джонсов[1]. Когда миссис Сэкер присела в реверансе и черные перья ее шляпы качнулись вниз, в зале, кажется, что-то громко запели, и она поторопилась ретироваться, даже не глянув в сторону Генри и не кивнув в знак приветствия. Что происходило? Он стал оглядываться, чтобы спросить кого-нибудь из стоявших рядом, но не мог поймать ничьего взгляда. Занавес сошелся, но рабочие сцены оставили щель в центре для Александера, чтобы он, как обычно, поклонился соло. Последовал шквал аплодисментов, звучавших по-настоящему искренне и продолжавшихся две или три минуты. Затем с невыразимым облегчением он услышал крики: "Автора! Автора на сцену!" Значит, в конце концов все прошло хорошо.

* * *

[Элизабет Робинс сразу почуяла опасность. Крики "Автора на сцену!" сначала послышались из райка, затем были горячо подхвачены партером и ложами первого яруса, но на уме у тех и других было совершенно разное. Рукоплескания продолжались. Ей видно было, как Александер колеблется, бросает взгляды на кулисы. Но он же не так глуп, чтобы выставлять Генри на обозрение такой взрывоопасной, разношерстной публики, да еще после такого неудачного, расползающегося по швам спектакля?]

* * *

Он увидел, что Александер манит его к себе, делает несколько шагов в сторону кулис, широко раскинув руки и ободряюще улыбаясь. Он глотнул побольше воздуха, расправил плечи и сделал шаг вперед, в слепящий свет рампы. Александер пожал ему руку и повел к центру сцены, но, когда он повернулся лицом к залу... когда повернулся лицом... когда повернулся...

* * *

[Когда Генри Джеймс повернулся лицом к залу и приготовился изящно поклониться, с галерки на его беззащитную голову обрушился шквал враждебных звуков. *До-ло-о-ой! Во-о-он! Во-о-он!* Слышны были свистки, и крики, и улюлюканье, но над всем этим гвалтом царил долгий, протяжный гласный *о-о-о: До-ло-о-ой! Во-о-н!* Видно было, что Джеймс оглушен, ошарашен, силится понять, что происходит, не знает, что ему делать. Его словно

1. Эдвард Бёрн-Джонс (1838–1898) – английский художник-прерафаэлит.

парализовало во время полупоклона; бледное полное лицо и лысина резко контрастировали с бахромой темной бороды и черным вечерним костюмом; раза два он открыл и закрыл рот, как рыба в аквариуме. *До-ло-о-ой! Во-о-он!* Возмущенные друзья и сторонники Джеймса разразились в ответ оглушительными аплодисментами и криками "Браво!", что лишь еще больше раззадорило крикунов и шикальщиков.

— Это невыносимо! — воскликнул Джон Сингер Сарджент, вскочив с места. Он едва сдерживался, чтобы не побежать вперед по сиденьям кресел и не взобраться на сцену, чтобы спасти своего соотечественника от позора.

— Почему они так шумят, Кики? — спросила Эмма, сжав от страха руку Дюморье и тем самым мешая ему хлопать.

— Не знаю — нет, *знаю*, но это нечестно, это жестоко, — сказал он. — Стадо ослов! Бедняга Джеймс!

— Какой ужас! — произнесла, поднимая голос Флоренс Белл, чтобы перекричать галдеж, и Элизабет Робинс ее услышала. — Что происходит с Александером? Почему он не уводит Генри со сцены?

Александер стоял чуть позади автора, но очень близко и переминался с ноги на ногу, выражение лица у него было недоуменное и виноватое.

— Не знаю, — сурово сказала Элизабет. — Зачем он его вывел?

Наверное, все это продолжалось минуты две-три, но друзьям Джеймса показалось, что прошло не меньше часа, пока он стоял на сцене, атакуемый ураганом звуков; наконец, беспомощно передернув плечами, он повернулся на каблуках и бросился за кулисы, а за ним поспешил сконфуженный Александер.

Галерка продолжала улюлюкать, партер продолжал аплодировать. Филипп Берн-Джонс стоял в своей ложе и бешено хлопал, подняв руки вверх — в сторону верхних ярусов, в ответ оттуда раздавались еще более громкий гомон.

Арнолд Беннетт[1] сделал у себя в блокноте стенографическую запись: *Схватка сливок и отбросов общества.*

* * *

Он шел за кулисами на ощупь, ничего не понимая, все еще ослепленный светом рампы и оглушенный каскадом звуков. Налетел на какую-то реквизитную мебель и замер, не зная, куда идти дальше, но тут его догнал Александер.

— Мне очень жаль, Генри, — пробормотал он.

— Зачем вы подвергли меня этому — этому — испытанию?

1. Арнолд Беннетт (1867–1931) — английский писатель.

— Я не ожидал, — сказал Александер. — Вы же слышали: "Автора на сцену!"

— Значит, вы полагали, что спектакль понравился? — спросил он с сарказмом.

— Не то чтобы. Первое действие прошло божественно, но во втором начался разлад. Надо выбросить сцену подпаивания. Она провисает.

— Выбросить сцену подпаивания! — воскликнул он. — Значит, только из-за нее эти — эти — *варвары,* только из-за нее они подняли этот адский шум? Из-за того что сцена подпаивания провисает?

— Нет, но...

— Меня в жизни так не оскорбляли, — сказал он с горечью.

Они прислушались: гвалт в зале не прекращался.

— Меня это тоже не очень радует, — проговорил Александер. — Я не привык к провалам. — Какая-то мысль поразила его: — А вообще-то, мы, возможно, стали жертвами заговора.

— Заговора?

— Я днем получил телеграмму: ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОЛНОГО ПРОВАЛА. Без подписи, разумеется.

— *Что такое?* Кто мог?..

— Ума не приложу. Ясно, некто, настроенный враждебно. — Он повернул голову, услышав, как в зале закипает новая волна шума. — Я должен положить этому конец, извините.

Александер вернулся на сцену, а Генри отступил назад еще дальше, вглубь кулис.

* * *

[Александер шагнул вперед, к рампе, остановился в середине и поднял руки в увещевающем жесте. Улюлюканье прекратилось, слышны были только аплодисменты, доносившиеся из всех концов зала и крики: *Говорите! Говорите!* Александер сделал знак, что готов говорить, и воцарилась тишина:

— Леди и джентльмены! За мою недолгую карьеру директора театра я так часто пользовался вашей благосклонностью, что нынешние свидетельства совсем иного рода отношения больно меня поразили...

Сверху раздался голос:

— Ты тут ни при чем, Алик, пьеса — дрянцо, — и тотчас оттуда же послышался смех, крики: — Дайте послушать, не мешайте.

— Могу лишь сказать, — продолжал Александер, — что мы очень старались, и если не преуспели, то нам остается только добиваться вашего расположения в дальнейшем, прилагая еще больше усилий.

Он поклонился, последовали долгие овации.

— Что за раболепная речь, — проворчал Дюморье.

— Какое пресмыкательство, — пробурчал Сарджент.

— Алик спас положение, — сказала ободряюще Лили Хэнбери миссис Александер.

— Положение — возможно, но не спектакль. Как быть с выручкой?

Александер сделал знак Уолтеру Слотеру, тот кивнул оркестру, и оркестр заиграл национальный гимн. Все встали и стояли молча, пока не стихли последние звуки. Злополучный вечер подошел к концу, однако по пути домой зрителям было о чем потолковать.

Протискиваясь сквозь толпу, Герберт задел молодого человека примерно такого же возраста, как он сам, и схожей наружности, и выбил у него из рук блокнот, испещренный стенографическими знаками. "Виноват", — сказал он, подымая блокнот и вкладывая его в руки незнакомца, который — надо полагать — тоже был критиком.

— Эт-то, эт-то, эт-то, — заикаясь, сказал тот. Но Герберт не стал дожидаться продолжения и поспешил вперед. Он сознавал, что поступает грубо, но взгляд его был прикован к другому критику. Он добрался до фойе как раз вовремя, чтобы заметить, как спина Джорджа Бернарда Шоу исчезает во вращающихся дверях. Он догнал его на Кинг-стрит — тот быстро шел в сторону Сент-Джеймс-сквер.

— Мистер Шоу!

Шоу повернулся, задрав подбородок и воинственно выставив бороду.

— Да, сэр?

— Разрешите представиться. Герберт Уэллс. Я много раз слышал ваши выступления — в восьмидесятых я бывал на тех собраниях в доме Уильяма Морриса в Хаммерсмите[1].

Шоу заулыбался:

— В самом деле? — произнес он певучим голосом тенора и дублинца. — В той старой оранжерее с протекающей крышей — отлично ее помню.

— И мы оба сотрудничаем с "Сатердей ревью".

— Как, вы сказали, ваше имя?

— Герберт Уэллс. Я подписываюсь "Г. Дж. Уэллс".

— А да, мне попадалось кое-что ваше. Интересуетесь наукой, как я понимаю?

— Весьма.

— Что же вас привело на "Гая Домвилла" — полагаю, вы сейчас оттуда?

— Я должен его отрецензировать для "Пэлл-Мэлл".

1. Уильям Моррис (1834–1896) — английский поэт, дизайнер, художник-прерафаэлит, издатель.

– Вот как? И давно вы этим занимаетесь?

– Приступил на этой неделе.

– А я – на прошлой. Мы оба начинающие, могли бы вы прибавить.

– Но вы раньше были оперным критиком. И разбираетесь в драматургии...

– Разбираюсь. Могу сказать, не погрешив против скромности, что знаю о пьесах больше, чем почти все болваны, которые пишут о них для газет. Без обид, молодой человек.

– Все в порядке. Я и впрямь знаю об этом очень мало. Мне интересно, что вы думаете о сегодняшней пьесе – и о ее провале.

Шоу поглядел на него насмешливо:

– Где вы живете, мистер Уэллс?

– На Морнингтон-кресент.

– Мне в ту же сторону. Пойдем вместе, если хотите.

* * *

В фойе Госс столкнулся нос к носу с Норрисом, застегивавшим пальто. Выражение лица у того было похоронное.

– Скверная история, – сказал Госс.

– Это было ужасно.

Оба они испытывали неловкость от сознания, что поневоле принимали участие в унижении друга.

– Если бы я знал, что галерка поведет себя так гнусно, – сказал Госс, – я не стал бы вызывать автора.

– Вот-вот. И я тоже, – признался Норрис.

– Какой ужасный удар для Джеймса!

– Думаете, нам стоит пойти поискать его? – спросил Норрис. – Оказать поддержку?

– Нет, – возразил Госс. – Я знаю, что он собирался дать ужин труппе. Боюсь, будет не очень весело. Мы должны постараться подбодрить его завтра.

– Конечно.

Они пожелали другу другу спокойной ночи и разошлись. Обсуждать пьесу ни у того ни у другого не было ни малейшего желания.

* * *

– Второй акт был из рук вон, – говорил Шоу, когда они шли бок о бок по Шафтсбери-авеню. Герберт, в котором было лишь пять с половиной футов роста, с трудом поспевал за его размашистыми шагами.

– Сцена подпаивания – полная чепуха, но Александер должен был увидеть это на репетициях и что-то предпри-

нять. После этого пьеса уже не оправилась – ни она, ни актеры. Но первый акт был прелестный. И что за удовольствие слышать такой язык в лондонском театре. Генри Джеймс пользуется словами, как поэт, хоть и пишет прозу.

– Но разве люди так говорят?

– А разве во времена Шекспира люди говорили белым стихом? – парировал Шоу. – Я не хочу сказать, что это великая пьеса, вовсе нет. В ней куча недостатков, длиннот, она изображает крошечный участок человеческой жизни. Но написана она художником! Чего никак нельзя сказать о девяноста процентах пьес, которые идут в театрах Уэст-Энда.

– Тогда почему ее освистали?

– Свистели на галерке, в задних рядах партера, на балконе и в дешевых ложах. Этим людям не понять и не оценить такую пьесу – да и неудивительно. Их десятки лет держали на диете из дурацких мелодрам и дурацких фарсов. У них нет терпения вникать в моральные скрупулы Гая Домвилла, а уж когда он отнял у них счастливый конец и пошел в священники, это уже было выше их сил. В партере держались более почтительно, но сомневаюсь, что они там наслаждались пьесой или лучше ее понимали. Там было много друзей Генри Джеймса – пожалуй, больше, чем следовало бы для его же пользы. Возможно, галерка решила, что внизу засела клака высоколобых, и надумала устроить кошачий концерт – назло партеру. Александер мог бы и не делать такую глупость – выводить на сцену Джеймса.

– По-моему, это был акт мщения.

Шоу хмыкнул:

– Очень может быть.

– Часто такое случается – подобное освистывание?

– Не очень. Меня освистали на премьере "Дома вдовца", хотя освистали ли пьесу или речь, которую я во что бы то ни стало хотел произнести и в самом деле произнес, осталось неясно.

Герберт не знал, что Шоу был и драматург, не только журналист, но счел, что благоразумнее своего невежества не обнаруживать.

– Сколько пьес вы написали? – спросил он осторожно, когда они свернули на Чаринг-Кросс-роуд.

– Несколько, но только две были поставлены. Их обычно считают слишком противоречивыми и, кроме того, опасными с точки зрения цензуры. Я только что закончил новую, называется "Кандида". Уиндэм[1] рыдал над последним актом, но

1. Сэр Чарлз Уиндэм (1837–1919) – анлийский актер, директор театра "Уиндэм".

сказал, что лондонская сцена будет готова к такой пьесе лет через двадцать пять. Тогда я предложил ее Александеру...

– Вы имеете в виду Джорджа Александера?

– Его самого. Он сказал, что готов поставить ее, но я должен ослепить героя.

– Зачем? – Герберт недоверчиво хохотнул.

– Полагал, что так будет трогательнее. Он хотел сам играть эту роль. Я, разумеется, отказался.

– Но разве вы не в щекотливом положении? – дерзнул спросить Герберт. – Вы рецензируете пьесы, поставленные теми самыми людьми, которых вы надеетесь заинтересовать собственными вещами?

– Я тщательно обдумал этот вопрос, когда Фрэнк Хэррис предложил мне работу, – сказал Шоу. – Я неподкупен. И, кроме того, мне нужны деньги. А как у вас дела, мистер Уэллс? Вы можете прокормиться своими писаниями?

– Пытаюсь. Я был преподавателем в университетском заочном колледже, но бросил.

– Вы женаты?

– Развожусь; живу с женщиной, которую люблю, – сказал Герберт, надеясь, что это произведет впечатление на свободомыслящего Шоу.

– Звучит дорогостояще, – сухо откомментировал ирландец.

– Я уверен, что всегда смогу заработать на жизнь, если не подведет здоровье, – заявил Герберт. – Я только что продал за сто фунтов свою вещь в "Нью ревью", будет выходить выпусками.

Это произвело на Шоу впечатление:

– Мои поздравления! Буду следить. Как называется?

– "Машина времени", – сказал Герберт.

– Интригующее название, – отозвался Шоу.]

* * *

Итак, кончено. Он проделал весь путь и зашел в тупик – достиг дна пересохшего колодца, каменной стены в конце тоннеля. Провал. Он заключил сделку с судьбой "еще на один год", и судьба позволила ему ожидать весь срок, позволила цепляться с надеждой за веревочную лестницу, ведущую к успеху, а потом перерубила все канаты одним губительным ударом и отправила его в пропасть. Его пьеса провалилась – двух мнений быть не может. Слова Александера о заговоре, о таинственной злопыхательской телеграмме на мгновение заронили в нем надежду на то, что он стал невольной жертвой какой-то вендетты против актера-директора, но, услышав, как смолкло улюлюканье и загремели овации, лишь только

Александер вышел на сцену, чтобы произнести свою подобострастную речь, он понял, что это не Алика хотел стереть в порошок тот каналья с галерки, а — его, Генри Джеймса. В его игре "Гай Домвилл" был последним броском: *le sort en est jeté,* — и он проиграл. Он более не намерен рисковать и подвергаться чему-либо подобному. Дурное предчувствие, пронзившее его, когда он пересекал Сент-Джеймс-сквер, не подготовило его к позорному столбу, к которому пригвоздил его глумливый сброд в присутствии почти всех, кого он знает в Лондоне. Воспоминание об этой жуткой минуте, об этом нарастающем вое — *"Во-о-он!"* — в качестве приветствия, когда он повернулся к морю лиц, заставило запылать его щеки даже сейчас на холодных темных улицах, примыкающих к Грин-парку. Проститутки больше не приставали к нему: что-то в каменном выражении лица, в неуклоняющейся, решительной походке говорило им, что окликать его бесполезно.

Он свернул на Пиккадилли. Хэнсом-кеб притормозил, поровнявшись, и кучер с надеждой посмотрел в его сторону. Подвезти? Не нужно. Он хочет пройтись. Хочет идти пешком до самого дома: через Пиккадилли, Найтсбридж, Кенсингтон-роуд и Кенсингтон-гор. Он устал, но надеялся устать еще больше, дойти до полного изнеможения и уснуть, как только коснется головой подушки. Но до этого он хотел успеть все обдумать, испить горечь поражения до дна, предаться личному, одинокому, горю. За последний час с небольшим он почувствовал, что начинает приходить в себя — как после хлороформа: одеревеневший, но ощущающий, что страшная боль притаилась где-то у самого порога сознания и ждет, пока он полностью придет в себя. Сейчас он встретился с ней лицом к лицу, приник к ней, отдался ей.

Когда он уходил из театра, Александер намекнул ему, что никто не обидится и не удивится, если он отменит ужин для актеров, но он настоял на своем. Ужасная получилась встреча. Миссис Сэкер передала свои извинения — Александер пробормотал что-то невразумительное насчет ее шляпы. Несколько других отпросились и ушли пораньше. Он выдержал все и делал все, что положено хозяину: вступал в разговоры, хотя не запомнил ни одного сказанного им слова, временами пытался даже шутить. Мэрион Тэрри очень мило старалась подбодрить его, уверяя его, что миссис Певерел — лучшая из ее ролей; Эллиотт пил один стакан вина за другим и рассказывал скабрезные истории, встречаемые полным молчанием. Никто даже не заикнулся о провале. Александер нарочно сел в другом конце стола и заговорил с ним, только когда народ стал расходиться и только о том, что из второго действия нужно выбросить сцену подпаивания. Он слушал, кивал в ответ, не вникая в то, что говорил Александер, но обещал в

понедельник утром прислать переделанное, чтобы актеры успели прорепетировать и вечером сыграть. Вряд ли он сможет даже взглянуть на пьесу, не говоря уже о переделке, без чувства удушающей тошноты. *Во-о-он! Во-о-он!*

Он подумал, что необходимо проявить твердость характера и сделать это. Ради актеров, а также из чувства профессиональной чести он внесет еще одну, последнюю "поправку" в свою пьесу, покрытую шрамами, истекающую кровью от бесчисленных ран, нанесенных коновалами. У него не было иллюзий — он знал, что поверхностная хирургия не спасет пьесу от коммерческого провала, но, даже если благодаря неведомому чуду такое и случилось бы, это не изменит его решимости никогда более не выставлять себя на поругание, как это было сегодня. Горько было думать о том, сколько времени и сил он потратил впустую, стараясь стать драматургом. Целых пять лет! Пять лет, и чем он может похвастать? Одним сомнительным успехом — ни то ни се, и одним полным провалом, да ящиками, набитыми не поставленными пьесами и их черновиками. Бесконечные переделки; бесчисленные письма, телеграммы и встречи; зарождающиеся надежды, разбитые надежды, вновь рождающиеся надежды. Все это отняло пять лет и не дало ровным счетом ничего. Какая тщета! Какое расточительство! Реплика Мэрион Терри, которую он услышал, когда подходил к кулисам, — пожалуй, подводит итог всей его карьере драматурга: "Это была мечта, но ее время прошло!"

С темного неба посыпался мелкий холодный дождик. Газовые фонари тянулись перед ним вдоль почти пустынной Пиккадилли, образуя на тротуаре лужи света и разрывы тьмы. Он угрюмо шагал в сторону Кенсингтона.

Малгожата Шейнерт

Остров-ключ

Фрагменты книги

Перевод с польского К. Старосельской

От редакции

Малгожата Шейнерт — журналист, одна из основателей популярной польской "Газеты выборчей", в которой 15 лет руководила отделом репортажа и за это время воспитала целую плеяду блестящих репортеров-очеркистов. Побывав на острове Эллис в гавани Нью-Йорка, с конца XIX века до середины 1950-х годов служившего "вратами Америки" и принявшего около 12 миллионов иммигрантов со всего мира, Шейнерт написала увлекательную книгу, которая знакомит читателя с важной главой истории американского общества. В "Острове-ключе" описана сравнительно недолгая, но бурная история самого острова, который был свидетелем не только радости от сбывшихся надежд, но и обманутых ожиданий, отчаяния, драм. Тщательно выверенные исторические сведения перемежаются портретами комиссаров острова и сотрудников иммиграционного центра; автор рассказывает и о судьбах прибывших из-за океана людей, которые, задержавшись для строгой проверки на пороге новой жизни — у тех самых "врат", — переступают этот порог, отделяющий их от вожделенной "земли обетованной".

Ленни-ленапе

ОСТРОВОК индейцев племени ленни-ленапе называется Кайошк. Маленький, как листочек, поросший соленым болотным тростником, серым плющом, жесткими стелющимися травами, он плоско лежит на водах залива. Уже открыта Америка, но вокруг тишина и безлюдье, слышно только воду, ветер да крики птиц.

На языке индейцев этого племени кайошк значит "морская чайка", а ленни-ленапе — "настоящие люди". Со временем, однако, их все чаще называют делаварами. Новое название происходит от реки, а точнее, от имени Томаса Уэста, лорда де ла Вэрра, потомка старинного английского рода, гу-

© by Małgorzata Szejnert
© К. Старосельская. Перевод, 2011

бернатора штата Виргиния. “Настоящие люди” утратили не только свои рыболовные угодья, но и свое извечное имя. Теперь их называют по фамилии чужого человека, но волосы на макушке они по-прежнему стягивают в тугой узел, куда втыкают длинное остроконечное перо.

Хозяйство у ленапе на острове Чаек скромное: лодки, хижины, очаги. Они ловят рыбу и собирают моллюсков, которых так много, что остров Чаек начинают называть островом Устриц. Устрицы тут большие и толстые, ими можно подавиться. Индейцы разрезают устрицу ее же собственной раковиной, острой как нож. Хороня мертвых — людей и собак, — ленапе плотно прикрывают их створками раковин; такой покров несокрушим.

С некоторых пор “настоящие люди” уже не чувствуют себя здесь в безопасности и в 1630 году продают островок голландцам из Вест-Индской компании. Они берут за него “несколько пачек разных товаров” (незадолго до того другие индейцы подобным образом продали соседний Манхэттен) и перебираются на сушу, вглубь континента, оставив на острове своих предков в панцирях из раковин.

Вернутся они спустя триста шестьдесят лет. И снова будут называться ленни-ленапе.

Покинутый индейцами остров Устриц переходит из рук в руки. И хотя кишащая вокруг него живность становится все популярнее, да и сам остров своей овальной формой напоминает устрицу (надкусанную с одного боку), он меняет название на остров Виселиц.

Тут вешают пиратов, а один из висельников так знаменит, что островок на некоторое время становится островом Андерсона.

В 1774 году остров приобретает Сэмюэль Эллис. Состоятельный гражданин огромной страны, а купил фитюльку! Римский Колизей занимает почти три гектара. Рыночная площадь в Кракове, находящаяся в каких-нибудь шести с половиной тысячах километров отсюда, — четыре гектара. Озеро Морское око в польских Татрах — около тридцати пяти гектаров. Остров Чаек/Устриц/Виселиц насчитывает немногим больше трех акров — один и три десятых гектара.

Сделки Сэмюэля Эллиса

Торговец рыбой Сэмюэль Эллис живет на Манхэттене, в доме номер один, по болотистой Гринич-стрит, то и дело заливаемой водами Гудзона.

Возможно, когда залив спокоен, Сэмюэль смотрит в окно на свое новое приобретение. Даже сейчас, когда я пишу эти

строки (на дворе осень, и с деревьев в Бэттери-парк облетели листья), отсюда виден этот островок. Отсюда, то есть с того места, где мог стоять дом Сэмюэля Эллиса. Улица сохранила свое название, но в самом ее начале вместо дома номер один высится гигантский бетонный шестигранник с дырой в нижней части, в которой беспрестанно исчезают автомобили. Это въезд в подводный тоннель Манхэттен–Бруклин; чтобы пробить его, потребовалось более миллиона фунтов динамита.

Впрочем, дом номер один, возможно, стоял ближе к берегу, например, там, где в 1926 году голландцы водрузили свой помпезный дар нью-йоркцам: огромный флагшток. Барельеф на цоколе напоминает о заслугах дарителей перед Новым Светом: голландский купец (жабо, шляпа, башмаки с пряжками) вручает индейцу нитку бус; оба очень довольны.

А может, дом находился чуть дальше – там, куда несколько лет назад перенесли золотисто-серебряный шар, извлеченный из-под развалин Всемирного торгового центра. Эта сверкающая сфера, шедевр искусства и техники, стояла перед башнями-близнецами как символ цивилизации и надежды на единство всего земного шара, а сейчас похожа на смятое, с ободранной кожурой яблоко.

Но где бы ни жил Сэмюэль Эллис и откуда бы ни смотрел на свое новое приобретение, он понятия не имел, что́ купил.

Ключ – так хочет назвать островок великий архитектор Фрэнк Ллойд Райт, а вернее, его идейные наследники из Талиесинского братства[1]. Они собираются построить здесь Metropolis, мешанину стеклянных куполов и цилиндров, металлических тросов, подвесных террас – такую плотную, что большого пространства Metropolis не потребует. Но пока Сэмюэль Эллис живет в своем доме на Гринич-стрит, только что началась последняя четверть XVIII века, а последователи Райта выдвинули свою идею во второй половине века XX. Впрочем, поддержки не получают ни эскизы, ни название, хотя давно уже понятно, насколько оно подходящее. Ключ может и открыть мир, и закрыть. В точности как остров Эллиса.

Сэмюэль Эллис так и не понимает, что́ купил: уже через четыре года после совершения сделки он сообщает в местной газете о намерении избавиться от “красиво расположенного” острова, а заодно рекламирует другие товары, которые хотел бы сбыть: древесину, пригодную для строительства доков, несколько бочек сельди – и отборной, и другой, похуже качеством, но выдерживающей перевозку морем, – пару тысяч селедок собственного копчения, которые гарантированно перенесут путешествие в любую часть света, веревки – де-

1. Артистическая коммуна, основанная Ф. Л. Райтом (1867–1959) в 1932 г. (*Здесь и далее, если специально не указано, – прим. перев.*)

шевые, но первоклассные — для сетей. А также "большие сани для приятных прогулок, почти новые"[1].

Неизвестно, от чего ему удалось избавиться. Известно, что на остров охотников не нашлось, но Эллиса это не особенно огорчило. На другом берегу Гудзона у него сотни акров, сады, скот, лошади, конюшни и амбары; он постепенно забрасывает воду ради земли. В садах и при скотине Сэмюэль Эллис чувствует себя куда лучше, чем на Манхэттене, где полно янки, а он сторонник тори и английского короля.

Если остров еще интересует Эллиса, то лишь потому, что носит его имя. Такого рода присутствие в заливе, по-видимому, ему льстит, он хочет сохранить фамильное название и отписывает остров будущему ребенку одной из своих четырех дочерей при условии, что это будет мальчик и назовут его Сэмюэль Эллис. Однако внук умирает в младенчестве, что приводит к ожесточенным боям за наследство, которое вовсе того не заслуживает.

В последующие годы островок используется в военных целях: инженерные войска устанавливают на нем орудийную батарею; строятся бараки для британских пленных. А потом на острове снова болтаются на виселицах пираты. Экзекуции проводятся не только в назидательных целях, но и служат науке. Трупы едут, вернее, плывут на Манхэттен, в Высшую школу хирургии. В 1839 году студенты кромсают на обитом жестью столе тело мятежника Корнелиуса Вильгельмса с корабля "Браганса".

Слово "виселица" в название, однако, не возвращается. Остров носит и уже всегда будет носить имя давнишнего владельца — Эллиса.

L*iberty*

В конце XIX века в заливе происходит нечто, уму непостижимое.

Около острова Эллис, который теперь служит складом взрывчатых материалов, принадлежащих флоту Соединенных Штатов, из воды вырастает некое подобие башни, заканчивающейся гигантским коконом. Можно подумать, что внутри кокона — слон, стоящий на задних ногах и вытянувший хобот к небу. Однако на свете не бывает таких огромных слонов. К островку Бедлоу (ныне Liberty Island, остров Свободы) причаливает корабль, груженный сверкающими мощными формами, волнистыми и гладкими; в них угадываются

1. Объявление Сэмюэля Эллиса было опубликовано в газете "Loudon's New-York Packet". (*Прим. автора.*)

фрагменты кистей рук, предплечий, складок одежды. Есть и стопа, странно сплющенная, размером наверняка не меньше саней Сэмюэля Эллиса. Однажды из воды выныривает загадочная голова величиной с дом. Глаза глядят чуть вверх, в неведомые дали. Нос прямой, римский, верхняя губа довольно тонкая, нижняя — мясистая, щеки пухлые и молодые; выражение лица определить трудно. В нем нет ни боли, ни тревоги, как в масках античного театра, но радости и надежды тоже нет. Скорее, спокойное равнодушие или даже холод. Голова темная, но это потому, что оксидированная; впоследствии она почернеет, а со временем приобретет цвет медной зелени.

Высвобожденный из кокона хобот окажется рукой, возносящей вверх факел.

В 1886 году голову поднимут кранами, насадят на бронзовую шею и увенчают короной с семью остроконечными лучами. А спустя четыре года соседний остров Эллис, теперь являющийся собственностью двух штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси, — начинает расти. И растет неудержимо. Докеры затопляют у его берегов тысячи кубов ила, смешанного с глинистым песком и гравием.

Вскоре поверхность островка превысит одиннадцать акров (почти четыре с половиной гектара), что в три раза больше поверхности острова Чаек/Устриц/Виселиц. Он уже не поместится на рыночной площади в Кракове.

Юзеф Ягельский — жене Франтишке

Сооружение статуи Свободы и утроение поверхности острова Эллис тесно связаны.

Это сказывается и на работе цензоров, которые проверяют корреспонденцию, отправляемую из Америки в польские города, местечки и деревни в составе Российской империи: нагрузка на проверяющих резко увеличивается.

В 1891 году, когда островок растет, как на дрожжах, из Америки в трюмах пароходов, а иногда и парусников, плывут мешки, набитые письмами, которые написаны людьми малограмотными либо продиктованы — тоже не большим грамотеям.

Почти во всех письмах повторяется слово “шифкарта”[1].

Дорогая жена, слава Иисусу, сообчаю тебе дорогая жена, что я здоров чего и тебе с детьми желаю, доброго здоровья и удачи от Господа Бога и сообчаю, что я писал Тебе письмо, уже прошло 11 недель и от тебя никакого ответа и не знаю что и думать, то ли письмо не дошло, то ли ты мне не отписала, и сообчи мне, получила ли деньги, которые я тебе послал 15 рублей, так ты мне немедля отпиши получила или нет. И сообчи если получила, а не хочешь мне отвичать, неужто осерчала или меня позабыла, я тоже могу осерчать и что ж тебе сказать хорошего, в Америки много жен можно заиметь за малые деньги. Я хотел тебе выслать шифкарту, но не вышлю а ежели ты мне отпишешь письмо я тебе шифкарту вышлю и ты приедишь ко мне вместе с детьми и досвиданьица дорогая жена и дорогие дети. <...>

Так пишет Юзеф Ягельский из Питтсбурга, штат Пенсильвания, Франтишке Ягельской в Дульск. На конверте письма от мужа жене, как и на тысячах других конвертов из Америки, рядом с штемпелем российской почты цензор по-русски написал “Задержать”. Царское правительство не хочет, чтобы семьи российских подданных, эмигрировавших с польских территорий империи, получали шифкарты. Эмиграция рабочей силы приобретает пугающие размеры; чтобы ей помешать, любые способы хороши[2].

Юзеф Ягельский отправился в Америку, чтобы оглядеться и подготовить почву для приезда семьи (было это, вероят-

1. От Schiffskarte (*нем.*) — билет на океанский лайнер.
2. Эти сведения и цитаты взяты из необычайно интересной и поучительной книги “Письма эмигрантов из Бразилии и Соединенных Штатов 1890–1891”. [Письма найдены в 1941 г. одним из составителей книги, Витольдом Кулей, во время оккупации Польши преподававшим историю в подпольном университете. — *К. С.*] Написанные эмигрантами и не доставленные их родным письма были обнаружены в Архиве старых дел, куда они попали как наследие царской власти. <...> Витольд Куля и его студенты читали, копировали (то есть переписывали от руки, других возможностей тогда не было) и обрабатывали эти материалы, время от времени унося с собой по сотне писем. Потом разразилось Варшавское восстание. Архив сгорел. Сохранились заметки примерно к семистам письмам, которые были возвращены в Архив до восстания, и триста оригиналов, которые, к счастью, не успели вернуть”. (*Прим. автора.*)

но, за год или два до отправки письма, сохранившегося благодаря цензору, который подшил его к документам) и ступил на сушу на южной оконечности Манхэттена — на мысу Бэттери, где находился Касл-Гарден, хорошо видный с островка Эллис. Касл-Гарден, круглой формы кирпичный форт, когда-то предназначался для защиты Нью-Йорка; впоследствии там были поочередно: развлекательный центр для местного населения (фейерверки, полеты на воздушном шаре, выставки мраморных бюстов и картин), концертный зал, арена для публичных собраний, купальни, место проведения регат, торговые ряды. В 1855 году Касл-Гарден стал иммиграционным центром штата Нью-Йорк, то есть принимал большинство будущих американских граждан.

Юзеф Ягельский попадает в Касл-Гарден, когда центр доживает последние дни. Через него прошло восемь миллионов иммигрантов — напора новых он уже не выдерживает. В Америку прибывает множество людей, которым у себя дома недоставало хлеба, безопасности, свободы. Поначалу это немцы, скандинавы, ирландцы, французы, голландцы, эльзасцы, потом к ним присоединяются поляки, итальянцы с юга страны, греки, чехи, русские и евреи — последние в основном из России и Австро-Венгрии, — Польши ведь нет на карте. Все они плывут уже не на парусниках, а на пароходах, теснятся, как сельди в бочке, на нижних палубах; арматоры сколачивают состояния на этих бедолагах.

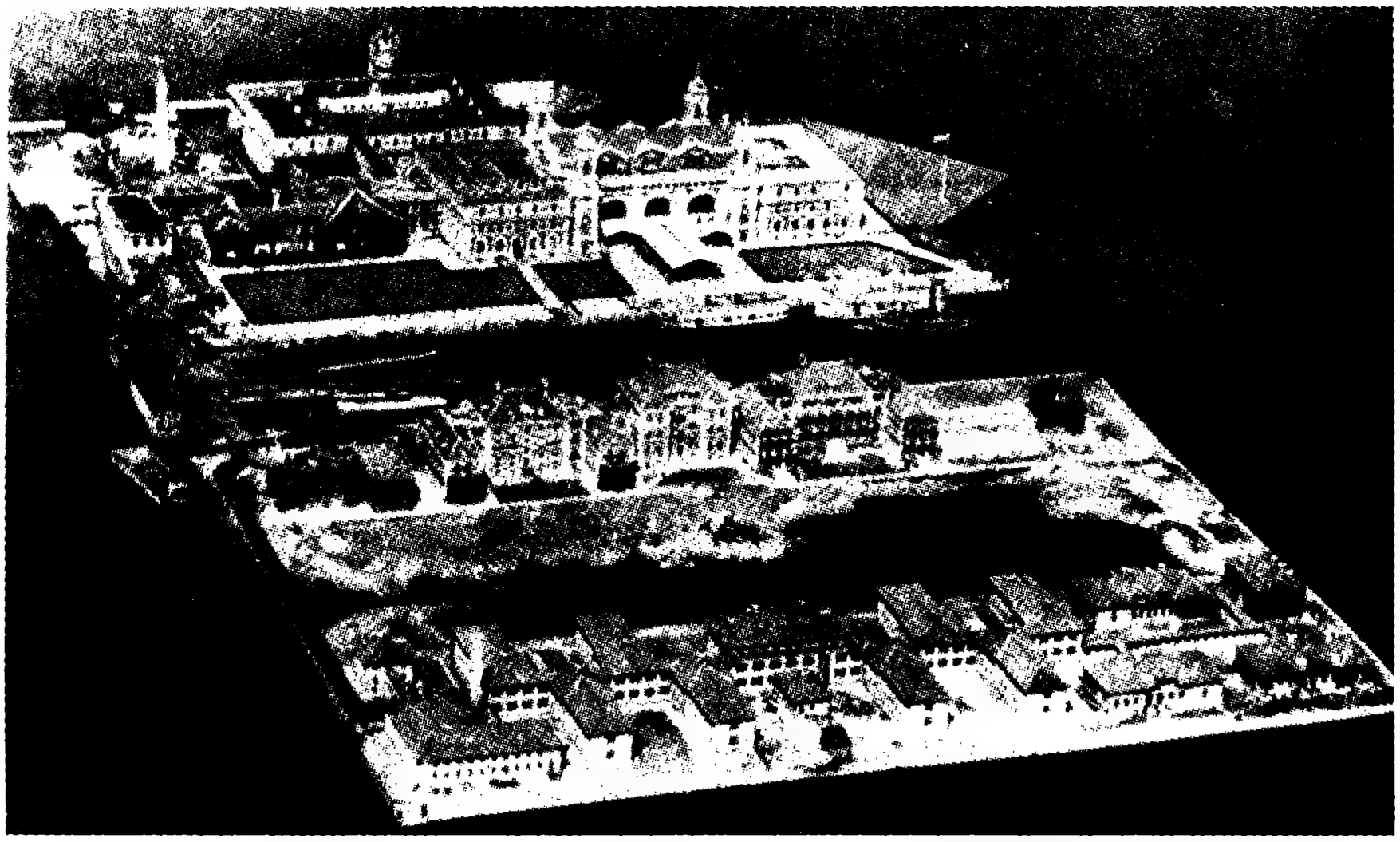
Юзефу Ягельскому наверняка сопутствовали соседи-поляки. Его письмо жене Франтишке нашлось в сундуке среди нескольких десятков других писем из Америки, предназначавшихся женам, братьям или свояк и задержанных цензором в 1891 году. <...> Оформление в Касл-Гарден — сущий ад для прибывших, но иммиграционной службе тоже приходится нелегко; к тому же ее все сильнее критикует пресса, гражданские власти и политики. Джозеф Пулитцер, эмигрант из Венгрии, который сам в 1864 году попал в Америку через Касл-Гарден, спустя двадцать три года, уже будучи сорокалетним издателем нью-йоркской газеты “Уорлд”, критикует центр за неразбериху, унижение иммигрантов, нарушение законов. Это тот самый Пулитцер, который в 1904 году учредит самую знаменитую награду для журналистов.

Америке нужен современный удобный иммиграционный центр, в котором будет царить новый дух. Центр должен быть отрезан от городских улиц, где на иммигрантов немедленно набрасываются мошенники, воры и торговцы живым товаром, и контролировать его должно федеральное правительство. <...>

В 1890 году Касл-Гарден закрывают. Поток иммигрантов направляют в соседнее каменное здание — Barge Office; туда

некогда причаливали баржи, курсировавшие между прибрежными островами. Там тесно, оформлять прибывших еще труднее, чем в Касл-Гарден, однако известно, что с неудобствами вскоре будет покончено: уже начаты и день ото дня набирают размах работы на острове Эллис.

С острова убирают взрывчатые материалы; строят дома и роют каналы для паромов; высосанным со дна илом облепляют



берега, увеличивая площадь. В том же году республиканский президент Бенджамин Гаррисон приглашает в Вашингтон бизнесмена из Буффало, полковника Джона Баптиста Вебера, верного республиканца, и предлагает ему занять специально созданную, необычайно важную для государства должность комиссара по делам иммиграции порта Нью-Йорк[1] со штабквартирой на острове Эллис.

Десять долларов Энни Мур

Первое января 1892 года. Джон Баптист Вебер встал рано утром, еще в потемках, что старому солдату, вероятно, было нетрудно. Сегодня для Эллис-айленд исторический день: центр начинает свою работу. Спустя годы станет понятно, что день этот — исторический и для Америки и важный для всего мира. <...>

1. Комиссар отвечал за работу всех служб на острове и имел решающий голос при возникновении сложных и деликатных проблем, касающихся, например, депортации известных личностей или особ, оказавшихся в особо драматической ситуации. За весь период существования центра (1892—1954) им управляли 12 комиссаров (пятеро из которых родились за пределами США). (*Прим. автора.*)

Полковник Вебер обходит остров. В инспекционных целях.

Вся команда центра на своих постах. А возле мыса Бэттери с нетерпением ждут три парохода — "Виктория", "Невада" и "Сити оф Пэрис", полные иммигрантов, которые понятия не имеют, что принимают участие в исключительном событии. Но это знают владельцы океанских линий и капитаны: каждому бы хотелось, чтобы первым стал пассажир его судна, что будет хорошей рекламой, а значит, принесет деньги.

Комиссар Вебер (это известно) с утра, а возможно, даже со вчерашнего дня знает, кто будет первым.

Энни Мур совсем еще девочка. Сегодня у нее день рождения: она родилась ровно пятнадцать лет назад, первого января, в Корке, Ирландия. Приплыла вчера вечером на пароходе "Невада" вместе с братьями, одиннадцатилетним Энтони и семилетним Филипом, которые всю дорогу были на ее попечении. Они бедны, на троих у них всего одно место багажа. Билет в каюту им не по карману, и они ютились на steerage, самой нижней пассажирской палубе, называемой также Zwischendecke (межпалубное пространство). Steerage, судя по уже богатой к тому времени литературе, можно смело назвать чистилищем. Энни, однако, барышня дельная, она не теряет присутствия духа и одета по моде. На ней приталенный жакетик, на белокурой головке — шляпа с круглыми полями, которую она придерживает рукой, чтобы не унес зимний ветер с залива. Мы это знаем по памятникам: есть целых два памятника Энни Мур, один на острове Эллис, куда она приплыла, а второй в Ирландии, которую она покинула.

Энни и ее братьев уже ждут родители. Они прибыли в Нью-Йорк раньше и живут на Манхэттене, на улице Монро.

Первым разгружается пароход "Невада". Сотрудники иммиграционной службы выводят пассажиров steerage (по одним сведениям их сто семь, по другим — сто сорок восемь) и сажают на украшенный флажками паром, который весело, под звон судовых колоколов и радостный свист, отходит от Манхэттена и берет курс на остров Эл-

Малгожата Шейнерт. Остров-ключ

лис. Продолжительность рейса сегодня чуть больше десяти минут — тогда, наверно, столько же.

Энни Мур с братьями сходят по трапу; она первой ступает на землю иммиграционного центра.

Никакие неприятности ей не грозят: важный вашингтонский чиновник Чарльз М. Хэндли заранее все проверил, и известно, что Соединенные Штаты принимают всех троих.

Почему выбор пал на Энни (конечно, с ведома и одобрения полковника Вебера), понять нетрудно. Достаточно заглянуть в список пассажиров рейса, которым прибыло семейство Мур; сейчас он есть в Интернете. Так вот, среди ста семи пассажиров steerage восемь ирландцев, десять англичан, двое немцев, четырнадцать шведов, двое французов, двое итальянцев. Больше всего — семьдесят семь человек — прибыли из России. Однако почти у всех у них еврейские имена: Исаак, Давид, Шлома, Фейга, Юда, Сара, Эли, Герш и т. п.

Первого надо бы выбрать из самой многочисленной группы, но еврейские иммигранты не годятся для роли крестных нового иммиграционного центра. Его открытие не должно раздражать Америку. Чествование иммигранта-еврея сослужило бы дурную службу именно еврейской иммиграции. Первому гостю острова Эллис надлежит пробудить в американцах теплые, дружеские чувства к прибывающим. В Энни Мур должны увидеть героиню сказки — опрятную Золушку, которой в Штатах предстоит стать принцессой.

Комиссар Вебер приветствует барышню и вручает ей — в знак счастливого начала американской жизни — золотую десятидолларовую монету Liberty, что очень уместно, поскольку Liberty отсюда видна во всем своем великолепии, разве что повернута к кому-то боком, к кому-то спиной — ведь ей надлежит приветствовать приходящие из-за океана корабли.

Энни делает реверанс и заверяет, что никогда не расстанется с драгоценным сувениром.

B*uttonhook;* "T*иффани*"

Buttonhook, маленький инструмент, длиной каких-то несколько дюймов, иногда скромный, иногда изысканно украшенный, но, что самое главное, полезный, в конце XIX века делает ошеломительную карьеру, не теряя популярности, по крайней мере, до Первой мировой войны. Одно из направлений развития этой карьеры, как ни странно, связано с островом Эллис; к этому мы еще вернемся. Но прежде всего своим успехом buttonhook обязан стремлению женщин к эмансипации.

Женщина хочет быть свободной в движениях, стройной и энергичной. Она намерена закидывать ногу на ногу, демонстрируя щиколотку в изящном ботинке. Хочет, чтобы ничто не мешало ей передвигаться в уличной толпе, путешествовать. Подумывает о занятиях спортом. К одежде такой женщины не подходят капризные завязки — нужны надежные застежки.

Замка "молния" пока еще нет. Правда, он уже запатентован Уиткомбом Джадсоном, но неудобен и не пользуется успехом на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году.

Ботинки и платья поэтому снабжены рядами пуговичек. По дюжине на каждой стопе, штук двадцать на корсете — чтобы с ними справиться, надо изрядно потрудиться, а прогрессивные, раскованные женщины в основном одеваются сами, не прибегая к помощи прислуги.

Сатирические журналы, главным образом английские, без конца публикуют стишки и рисунки о том, как дамы эксплуатируют мужей и любовников, заставляя их возиться с пуговицами, и как друг дружке этих трудяг одалживают. Однако нет ничего лучше всегда доступного buttonhook. Перевод этого понятия требует целых трех слов и одного предлога: крючок для застегивания пуговиц, — так что сохраним англоязычный вариант.

Родина buttonhook — викторианская Англия. Его производят в Бирмингеме, Лондоне, Шеффилде и Честере. Самые знаменитые мастерские: "Adie & Lovekin", "Levi & Salaman", "Goldsmiths & Silversmith Co.", "Crisford & Norris"; они ставят на свои изделия фирменный знак. Американские производители buttonhook'ов знаков почти никогда не ставят, но среди тех, кто обозначает свое авторство, — уже прославившаяся к тому времени фирма "Тиффани". Нетрудно вообразить, каким может быть buttonhook этой фирмы, точнее, его ручка: из радужной эмали, переливающаяся, составленная из цветочных чашечек или крыльев бабочек.

" MOTHER, WHEN YOU'VE FINISHED WITH FATHER, I SHOULD LIKE TO BORROW HIM FOR A MINUTE ! "

Наиболее отважные дамы могли купить у “Тиффани” buttonhook в виде обнаженного, соблазнительного потягивающегося Амура. Такого рода изделия носили на цепочке, как драгоценность, на груди или у пояса.

Обыкновенный buttonhook представляет собой металлический или деревянный черенок, заканчивающийся крючком, достаточно толстым и гладким, чтобы об него не пораниться. Тем не менее есть жертвы. Канадец Альфред Куртманш, упав на пол с этим инструментом в руке, через нос всадил крючок себе в мозг.

Пассажиры, проходящие досмотр на острове Эллис, этой истории не знают (и не могут знать, поскольку она произойдет только в 1921 году), но крючки, которыми пользуется иммигрантская медицинская служба, вызывают у них ужас.

B*uttonhook; трахома*

Трахома (от греческого trachýs – шероховатый) давно известна на польских землях. В народе ее называют jaglica, врачи – египетским воспалением глаз. <...> В научном труде, опубликованном Медицинским советом Царства Польского, экзотическое название болезни объясняется тем, что она “объявилась в Европе среди военных разных наций после египетской кампании Наполеона, т. е. после 1799 г.”. Трахома появлялась поочередно на Мальте, в Англии, на Эльбе, на Сицилии, в разных частях Италии, в прусской армии, в бельгийской армии, где особенно свирепствовала в 1818–1819 годах, в Варшаве, где в 1834-м поразила восемь тысяч солдат, а затем перекинулась в Россию.

Медицинский совет подробно описывает течение болезни. Вначале под веками ощущается “песок”, потом “соединительная оболочка век делается словно бы бархатной, из желез по краю века сочится сыворотка, в которой впоследствии появляются плавающие волокна слизи, подобные яичному белку”.

Вторая стадия болезни: светобоязнь, верхнее веко сильно распухает, а его поверхность синеет. Бархатистая пленка становится зернистой, а жидкость – “гнойной, желтоватой, зеленоватой, с вкраплениями, творожистой”. Этому сопутствует “боль как от раскаленных углей”.

Третья стадия: соединительная оболочка век покрывается бородавчатыми наростами, иногда величиной с горошину. Глаз вытекает или зарастает.

За описанием следует зловещая фраза: “Болезнь эта передается путем заражения”.

Источник заражения трахомой может быть священным, как, например, вода святого Вита в Старом Живце, которой

набожные больные промывали глаза в надежде на исцеление.

Америка панически боится этой болезни. Иммигранты с трахомой подлежат безоговорочной депортации.

Доктор Гровер Кемпф, в 1912–1916 годах служивший на острове Эллис, много лет спустя рассказал:

"...чтобы вывернуть веко, я использовал старый добрый buttonhook – тогда были популярны ботинки на пуговичках и существовал крючок для таких ботинок, который мы применяли для выворачивания век, – это был самый действенный из имевшихся способов".

Франтишка Ягельская; молчание колоколов

Шестóго декабря 1912 года в нью-йоркский порт входит корабль "Кёнигин Луизе": две мачты, две трубы, построен на верфи "Вулкан" в Штеттине (Щецин). На корабле двести двадцать пять мест в первом классе, двести тридцать пять – во втором, тысяча девятьсот сорок – на steerage. Принадлежит он компании "Северо-немецкий Ллойд" и вышел из Бремена под немецким флагом.

Пассажиры steerage переходят с вещами на паром и высаживаются на острове Эллис.

Если бы на свете существовала справедливость, сейчас следовало бы отозваться всевозможным колоколам и колокольчикам – на пароме, на набережной острова, в руках у сторожей и на столах у секретарш. Паром стоило бы украсить флажками – не менее красиво, чем двадцать лет назад, когда на остров ступила нога первой клиентки иммиграционного центра, Энни Мур из Ирландии.

С парома сходит Франтишка Ягельская. Мы знаем о ней только из судового манифеста, но этого достаточно, чтобы не сомневаться: это та самая Франтишка Ягельская, которую муж звал к себе, пугая тем, что "в Америки много жен можно заиметь за малые деньги".

Происхождение: *Россия, польское*
Последнее место жительства: *Дульск, Россия*
Возраст в момент прибытия: *42*
Семейное положение: *Замужем*
Рост: *5 футов, 3 дюйма* (метр шестьдесят)
Сколько имеется денег: *Нет*
Была ли раньше в Штатах: *Нет*
С кем плывет: *Одна*
Кто купил билет: *Муж*

Где муж живет: *В Пенсильвании, Питтсбург* (название города неразборчиво)
Куда направляется: *К мужу*
Умеет ли читать, писать: *Нет*
Полигамистка, анархистка: *Нет, Нет*
Телесные изъяны, калека: *Нет*
Состояние здоровья, физического, умственного: *Хорошее*
Телосложение: *Пропорциональное*
Волосы: *Светлые*
Глаза: *Голубые*
Особые приметы: *Отсутствуют*

Никто, однако, не приветствует Франтишку Ягельскую ни колокольным звоном, ни флажками. Быть может, из Питтсбурга приехал ее муж Юзеф. Будем надеяться, что Франтишку впустили в Штаты. У нее нет двадцати пяти долларов, чтобы заплатить залог, недавно введенный комиссаром Уильямсом, но муж, вероятно, привез какие-то деньги. Зато ей не грозит тест на грамотность, который пока еще не введен.

Юзеф Ягельский двадцать лет назад ждал юную жену, правда уже мать (“а ежели ты мне отпишешь письмо я тебе шифкарту вышлю и ты приедишь ко мне вместе с детьми”), а приезжает зрелая женщина, возможно успевшая стать бабушкой. Что с детьми? Что произошло за два десятка лет? Будут ли они вместе? Ничего этого нам уже не узнать.

Первая въездная квота; безумные регаты

Третьего июня 1921 года нью-йоркский порт становится конечным пунктом необыкновенных гонок.

“Представьте себе корабли, разбухшие от человеческого *карго*, наперегонки спешащие к нью-йоркскому берегу, сталкивающиеся в этой гонке, чтобы успеть на остров Эллис, пока не истекла последняя минута действия милостивого разрешения”, — вспоминает спустя годы Эдвард Корси[1].

Тридцатого августа 1921 года “Нью-Йорк таймс” сообщает, что пароход “Гданьск” задержан в море и не войдет в порт до четверга. Польская квота на август исчерпана. На корабле 173 поляка. Дешевле держать их в море в ожидании сентябрьской квоты, чем отправлять обратно в Гданьск. <...>

Понятно, что корабельные гонки устраиваются ради того, чтобы пассажиры успели попасть на остров, пока не исчерпана установленная для них квота. Таким образом, квота — но-

1. Итальянский иммигрант, прибывший в Штаты десятилетним мальчиком в 1907 г.; с 1931 по 1934 гг. — комиссар Эллис-айленд.

вый способ ограничения увеличивающегося потока иммигрантов: в 1921-м их прибыло вдвое больше, чем год назад.

Америка еще не избавилась от страха перед "красными", после мировой войны многие американцы стали относиться к Европе с неприязнью, а то и с отвращением; к этим чувствам примешивается страх перед безработицей. Таким настроениям способствует распространяемое прессой мнение, что Эллис-айленд не справляется с ролью стража ворот. Правда крупные предприниматели из промышленно развитых областей нуждаются в иностранной рабочей силе, но их влияние в Конгрессе невелико.

Президент Вудро Вильсон накладывает вето на закон о квотах, однако его подписывает следующий президент, республиканец Уоррен Г. Гардинг. Закон вступает в силу 3 июня 1921 года и должен действовать один год, но продлен до 1924 года — до введения следующего закона, еще более сурового.

С этого момента лимит на въезд в США для каждой национальности составляет 3 % от числа лиц этой национальности, проживавших в Штатах в 1910 году. Известно, что с каждым годом растет численность *худших* иммигрантов — бедняков с восточных и южных окраин Европы и евреев. Выбор точки отсчета одиннадцатилетней давности ясно показывает, кому отдают предпочтение авторы закона. Они хотят, чтобы больше народу прибывало не оттуда, а из стран старой эмиграции — Германии, Скандинавии, Великобритании. <...>

Вторая въездная квота; смерть Энни Мур

В 1924 году Конгресс утверждает закон о квотах, еще больше ограничивающий иммиграцию. <...> Годовая квота для каждой национальности уменьшена до 2 %, а за базу для расчетов принимается 1890 год. Иными словами, сделан шаг назад еще на двадцать лет, что означает: отныне условия будут благоприятны для старой доброй иммиграции — английской, ирландской, немецкой. <...>

Новую ситуацию отображает рисунок писателя и иллюстратора Хендрика Виллема ван Лоона. Двое утомленных пилигримов с узелками бредут по берегу моря; вдалеке стоит на якоре "Мэйфлауэр"[1]. Путь им преграждает мрачный индеец. "Вам сюда нельзя, — говорит он. — Квота на 1620 год исчерпана".

Через пару недель после оглашения второго закона в штате Нью-Джерси можно наблюдать живописную манифестацию. Идет Ку-клус-клан. С пугающими аксессуарами: саваны,

1. Английский корабль, на котором 21 ноября 1620 г. берегов Америки достигли пилигримы из Старого Света — первые поселенцы Новой Англии.

капюшоны, факелы и кресты. Энергия ку-клус-клановцев направлена не столько против черных, сколько против евреев, славян, итальянцев, азиатов, латиноамериканцев — чужаков в некогда протестантской белой Америке. Евреи, в чьей памяти (собственной или соседей) живы погромы в Кишиневе (1903), Белостоке (1905), Плоскирове (1919) и другие, со страхом смотрят на нескончаемое шествие белых нелюдей; в их стройных рядах есть и женщины. В год принятия Конгрессом второго закона о квотах Ку-клус-клан насчитывает более четырех миллионов членов.

Введение новых квот означает начало конца великой эмиграции в Штаты и уменьшение прежней роли Эллис-айленд. В том же году умирает Энни Мур, приняв которую 32 года назад остров впервые выступил в этой роли. По слухам, Энни родила много детей; по слухам, она попала в автомобильную катастрофу в Техасе. Ей было всего сорок семь лет.

Между 1892 годом, когда она сошла с трапа на землю острова, и 1924-м, когда она погибла, в Соединенные Штаты прибыло двадцать с лишним миллионов иммигрантов. Из них четырнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч сто сорок четыре человека приплыли в нью-йоркский порт. Огромное их большинство прошли проверку на Эллис-айленд.

Десять долларов Энни Мур

Оказывается, Энни Мур, которая в 1924 году погибла в автомобильной катастрофе в Техасе, была не той Энни Мур, которая в 1892-м приплыла на остров Эллис.

Установила это недавно Меган Смоленяк-Смоленяк (ее девичья фамилия совпадает с фамилией мужа случайно, их не объединяет никакое родство). Проводя генеалогические исследования иммиграции, она выяснила, что погибшая в Техасе Энни Мур не была иммигранткой и родилась, скорее всего, в штате Иллинойс. Больше того, ее семья осела в Техасе в 1880 году, то есть до прибытия ирландской семьи Мур из Корка в Америку.

Как же сложилась в Штатах судьба настоящей Энни?

Однажды Меган Смоленяк увидела на генеалогической выставке в Филадельфии фотографию техасской Энни 1910 года, вероятно, послужившую образцом автору скульптуры ирландской девушки для музея на острове Эллис. И тогда она решила отыскать Энни Мур из Корка.

Тут возникла некая проблема морального свойства. Если бы Смоленяк нашла настоящую Энни, техасская семья Мур лишилась бы права на легенду, в которую почти поверила:

членов этой семьи по случаю различных памятных дат приглашали не только на Эллис, но и в Ирландию. Однако для Меган Смоленяк истина была важнее, и она прибегла к простому и действенному способу: через Интернет пообещала тысячу долларов тому, кто поможет ей обнаружить следы американской жизни Энни Мур из Корка.

Отклик пришел незамедлительно. Комиссар нью-йоркского архива Брайан Дж. Андерссон отыскал свидетельство о натурализации Филипа Мура, младшего из братьев Энни, и предложил Меган Смоленяк помощь в дальнейших изысканиях. Среди данных переписи 1930 года рядом с Филипом значилась его дочь Анна. Эту Анну разыскали в списке умерших, составляемом службой социального страхования, что позволило добраться до ее сына: Энни Мур приходилась ему двоюродной бабушкой. Так Смоленяк, шаг за шагом, приближалась к своей цели.

Выяснилось, что Энни Мур никогда не покидала Нью-Йорка. Сначала она обитала с семьей в так называемом tenement house, доходном доме, где в тесных комнатушках без удобств ютились бедные пришельцы, зарабатывавшие на жизнь сапожным ремеслом, ткачеством, шитьем. Потом вышла замуж за немецкого иммигранта Йозефа Шайера, пекаря. Они поселились в нижнем восточном Манхэттене и в поисках более дешевой квартиры много раз меняли адрес; впрочем, это всегда были ближайшие улицы. У них родилось одиннадцать детей, но шестеро умерли в младенчестве. Сама Энни скончалась от сердечного приступа в 1924 году (год смерти Энни Мур из Техаса), в возрасте (как и та) сорока семи лет. Похоронена на Кальварийском кладбище в нью-йоркском районе Квинс в нескольких милях от острова Эллис. В той же могиле, заросшей травой, лежат ее дети.

Брат Энтони, которого Энни опекала на пути в Америку, умер молодым в 1902 году. Его погребли в общей могиле для нищих, но, когда спустя пять лет скончался глава семейства, сына эксгумировали и похоронили вместе с отцом.

Из пятерых выживших детей Энни Мур двое не оставили потомства.

Меган Смоленяк-Смоленяк сказала журналистам, что Энни мужественно боролась с трудностями и посвятила свою жизнь грядущим поколениям.

Итогом поисков стала встреча потомков Энни. Они живут в США и носят десять фамилий, среди которых есть ирландские, еврейские, итальянские и скандинавские. Меган Смоленяк назвала их poster children Америки — детьми с плаката. Кстати, тут возникает ассоциация с foster children — приемными детьми, для которых начало жизни сопряжено с трудностями.

Архивист Брайан Андерссон помогал Меган не ради денег. Половину полученной награды он отдал на благотворительные цели, остальное — на приведение в порядок могилы Энни и ее детей. А Эдвард Вуд, сантехник из штата Нью-Джерси, родственник техасской Энни, публично заявил, что разочарован, но не расстроен.

При том, как сложилась жизнь Энни Мур, сомнительно, чтобы она выполнила данное 1 января 1892 года обещание никогда не расставаться с золотой монетой с изображением головы Liberty.

Еще до того, как Меган Смоленяк опубликовала результаты своих исследований, на остров приплыла Маргарет О'Коннел-Мидлтон, назвавшаяся внучкой Энни Мур. На пресс-конференции, посвященной планам создания генеалогического компьютерного центра на острове Эллис, она объявила, что хочет возместить стоимость полученного бабушкой дара.

Судя по некоторым сведениям, Маргарет скорее внучка техасской Энни, а не Энни из Корка. Но тогда еще не возникло путаницы с двумя Энни. Предложение было принято. Десять долларов Энни Мур вернулись на остров.

L*iberty*

За двадцать лет до того, как на острове Эллис был создан музей (в 1990-м), на Манхэттене открыли Всемирный торговый центр. Через одиннадцать лет после торжественного открытия музея из панорамы Манхэттена, который виден с острова как на ладони, исчезли две башни.

Одиннадцатого сентября 2001 года Винсент Дипьетро расставлял вешалки для детских курточек в образовательном отделе музея. Внезапно он услышал далекий взрыв и выбежал на берег. Там уже стояли его коллеги, глядя на мыс Манхэттена. Дипьетро впоследствии рассказывал, что все спрашивали себя: мы одно и то же видим?

Садовник Альфред Фарруджо стоял под флагштоком. Потом он рассказывал, что чайки, которые обычно кружат над двориком кафетерия в поисках еды, сели на землю, пряча головы.

Все замерло, но ненадолго. Люди принялись бегать туда-сюда, звонить по мобильникам. Было страшно. Символы Америки — статуя Свободы и Музей иммиграции — могли стать очередной мишенью. Поступил приказ о немедленной эвакуации острова Свободы; чтобы предотвратить, по крайней мере, атаку с моря, его окружили кордоном полицейских катеров. Около двухсот служащих Эллис-айленд собрались, как за

баррикадой, на обнесенном Стеной почета газоне в ожидании лодок, которые заберут их в Нью-Йорк или Нью-Джерси. Узкий рабочий мост, соединяющий остров Эллис с Джерси-сити, был сразу закрыт: его не составило бы труда взорвать.

Было так рано, что на острова еще не приплыли туристы. Первое эвакуационное судно "Liberty IV", забрав с обоих островов часть служащих, причалило к мысу Бэттери в ту минуту, когда обрушилась первая башня. Эвакуированных обволокла туча пыли и дыма. Полиция направила их на паром, и они благополучно высадились на Стейтен-айленд. Капитан "Liberty IV" вернулся на остров Эллис и забрал следующую группу. Прежде чем он успел повторить свою ошибку — высадить пассажиров на мысу Бэттери, — рухнула вторая башня, и "Liberty IV" поплыло обратно на Эллис.

Теперь уже очевидно, что эвакуацию надо производить в обратном направлении: с Манхэттена на остров Эллис, который должен стать спасательной станцией. Он для этого вполне пригоден: там есть большие пустые площадки на воздухе и под крышей, санитарные устройства, кухня, а часть персонала привыкла к многолюдной толпе и умеет оказывать первую помощь. Но, главное, у острова есть — и всегда был — козырь: он обособлен от метрополии, сейчас более чем когда-либо охваченной хаосом.

Команда Эллис-айленд готовится принять первых пострадавших. Из помещений выносятся стулья, столы и переносные туалеты. На газоне перед музеем раскладывается медицинское оборудование. Вскоре прибывают лодки с ранеными. Мало у кого серьезные травмы, однако выглядят все ужасно. Люди сходят на берег, жадно хватая ртом воздух, хрипя и кашляя; некоторые с ног до головы белые, будто побывали в снежной буре (кто-то говорит: на сахарной фабрике), некоторые — черные, облитые смазочным маслом, облепленные сажей. Лица безучастные, глаза пустые, невидящие. Шарят руками в воздухе. Одежда превратилась в лохмотья. Многие босиком.

Организуются три группы. Первая — врачи-спасатели из больницы в Джерси-сити; они оказывают первую помощь. Вторая — психологи, которые стараются успокоить прибывших. Третья — "снабженцы", которые кормят, поят, приносят носовые платки, полотенца, одеяла, бутылки, чтобы можно было покормить грудных младенцев, и вообще все, что только могут.

Катера раз за разом привозят по пятьдесят-семьдесят человек. С каждого первым делом смывают пыль; иногда при помощи шланга. Потом записывают фамилии, адреса, время прибытия, телефоны — домашний и контактный, и все это сразу вводится в компьютер; так появляется база данных.

Кто-то следит за движением лодок, проверяет, совпадают ли списки с реальными пассажирами. Информация немедленно передается полиции, чтобы семьи могли отыскать своих близких. На всякий случай каждому из прибывших, как новорожденному, надевают на запястье ленточку с именем, фамилией и номером социального страхования (если человек в состоянии его сообщить).

Кто-то, вероятно служащий музейного магазина, раздает новые футболки: они могут послужить и одеждой, и пеленками.

Обожженных и тяжелораненых отправляют дальше, в соседние больницы.

Тяжелораненых немного. Кризисный центр на острове Эллис продолжает ждать людей из башен, но вскоре становится ясно, что там уже не осталось никого, кроме погибших. Одновременно приходит распоряжение: приготовиться к приему останков. В эту ночь остров будет нью-йоркским моргом.

Команда острова быстро освобождает один из огромных складов и монтирует там освещение. Из Нью-Джерси привозят холодильники. Опять на острове готов дом для мертвых, но мертвые не прибывают. Они завалены бетонными глыбами. Оборудованный на скорую руку морг не понадобится. Холодильники увозят.

Спустя несколько месяцев Винсент Дипьетро заметил, что на одной из печатей образовательного отдела так и стоит дата 11 сентября. Видно, с тех пор никто ею не пользовался. Дипьетро не разрешил поменять дату.

Тех, кто работал на островах Эллис и Свободы, на пару дней отправили домой. Потом их пригласили на беседу со специалистами по антистрессовой защите, которые спрашивали, на что они жалуются. Никто не вспоминал о самом страшном — говорили о провале в знакомом силуэте Манхэттена, жаловались на запах гари и дыма, на висящую в воздухе пыль. Потом вернулись на работу. Им запомнилось это возвращение: все начальство вышло на набережную и выстроилось в ряд, будто в ожидании, что со служебного судна, как некогда, сойдет Теодор Рузвельт или Уильям Тафт.

Музей на острове Эллис вновь открыли для посетителей 19 декабря 2001 года.

Liberty начала принимать туристов только 3 августа 2004 года. Правда, пускают их не дальше пьедестала под ногами Статуи. Тот, кто окажется на самом высоком уровне, под стеклянным потолком, сможет, задрав голову, заглянуть в гигантский туннель — чрево Свободы. Оно — в соответствии с проектом великого инженера Гюстава Эйфеля — плотно заполнено балками каркаса, и лишь время от времени сквозь этот стальной скелет блеснет золотисто-зеленое тело, до которого уже нельзя дотронуться.

Стена почета; Ягельские; мормоны

Занести фамилию на Стену почета очень просто: не нужно ничего доказывать. Впрочем, вряд ли найдутся желающие запечатлеть свое имя, не имея на то оснований. Зачем? Кстати: сомнительно, чтобы в Штатах сейчас отыскалась семья, которая бы таких оснований не имела. Все откуда-то прибыли. Если не через Эллис-айленд, то через другой порт — морской или воздушный, через легальный пограничный пункт на суше или нелегально.

Стена почета на острове Эллис, несмотря на свое название, никого не ставит выше других. Тех, кто хочет записать на ней родовое имя, объединяет одно: американское место рождения. Можно сказать, что Стена почета, вместе с внутренним газоном образующая идеально круглую чашу, — мирская крестильня Америки.

Но что случилось с Франтишкой Ягельской и ее мужем Юзефом, который столько лет ждал ее в Питтсбурге, штат Пенсильвания? Среди шестисот тысяч фамилий на стене их нет.

Тут уже никакой цензор ни при чем. Винить можно только судьбу. Возможно, встреча произошла слишком поздно, семья не воссоединилась, и в Америке не найти потомков Франтишки и Юзефа Ягельских. Возможно, жизнь последующих поколений сложилась не так, чтобы им захотелось увековечить первый шаг своих предков на земле Соединенных Штатов. А может, кто-то просто пожалел денег?

За фамилию надо заплатить. У потомков Юзефа и Франтишки Ягельских есть несколько возможностей:

плата за одного человека составляет 150 долларов. Например: *Юзеф Ягельский*, или: *Семья Юзефа Ягельского*. За двоих (например: *Юзеф и Франтишка Ягельские*, или: *Семья Юзефа и Франтишки Ягельских*) — 225 долларов.

В обоих случаях можно (за ту же цену) добавить еще девичью фамилию жены, но, скорее всего, она не поместится, потому что в строчке вместе с пробелами должно быть не больше сорока знаков. Поэтому — отчасти чтобы соблюсти равенство в этом обществе — недопустимы дополнительные определения типа Mr. или Mrs., Rev., General, M. D., Esq. и т. д.

Однако равенство равенству рознь. Тот, кто заплатит одну, пять или десять тысяч долларов, сможет занять на Стене две строчки и получить титул Лидера, Благодетеля либо Патрона острова Эллис.

Заплативший минимальные 150 долларов тоже получает соответствующий сертификат. Он будет именоваться Другом острова Эллис.

Все это можно сделать через Интернет или лично — в том месте, которое когда-то называлось Вратами поцелуев. Нуж-

но встать в очередь, состоящую в основном из потомков давнишних пришельцев, желающих — кроме места на Стене почета — получить копии судовых манифестов с фамилиями предков, фотографию судна, на котором те приплыли, вообще любые сведения о них, имеющиеся в базе данных.

Очередь терпелива, атмосфера в ней свойская, доброжелательная, как будто все тут происходят от одной прабабки и встретились на семейном празднике.

Офис у Врат поцелуев предоставляет сведения о 22 миллионах пассажиров (американских граждан и иностранцев), которых принял нью-йоркский порт в период 1892–1924 годы.

Над созданием этой базы трудились 12 тысяч волонтеров — членов Церкви Иисуса Христа святых последних дней, называемых мормонами. Они располагают самым большим на свете набором генеалогической информации, собираемой с уверенностью в том, что их Церковь примет в свое лоно даже тех, кто окрещен посмертно. Но вначале надо отыскать метрики...

Ленни-ленапе

Неподалеку от Стены почета, в тени нескольких райских яблонек, лежит в траве небольшой серовато-розовый камень индейцев ленапе.

В центре камня выбита черепаха, вид сверху. Она похожа на кляксу. Из панциря торчат голова, лапы и хвост. Слева от черепахи — печать племени делавар-ленапе, справа — печать могикан; на обеих множество символов: волк, медведь, след лапы хищника, крест, щит, лук, лист. Ниже надпись: “Могилы индейцев племени делавар — обнаружены на островах Эллис и Свободы. Останки повторно захоронены 1 мая 2003 года”

В тот день ранним утром из здания музея вышла небольшая группа мужчин и женщин в повседневной одежде: свитера, джинсы, куртки. Видимо, было холодно, хотя по традиции индейцы ленапе первого мая встречают весну. Потому эта дата и была выбрана для церемонии возвращения предков на свое место.

В группе — сотрудники Национального парка и старейшины племени ленапе. Трое старейшин несут небольшие кедровые ящики с останками, найденными на острове в середине 80-х. В том, что относящиеся самое позднее к XVII веку, перемешанные с устричными раковинами кости принадлежат индейцам ленапе, археологи не сомневались. Уже тогда по договоренности с представителями племени было решено, что,

пока на острове идут ремонтные работы, останки будут находиться на попечении сотрудников Парка.

Затем они будут погребены в сообща выбранном месте на острове Эллис.

С тех пор прошло 17 лет. В последний день апреля 2003 года была вырыта могила. Это сделали вождь ленапе Джо Брукс, член племени Джон Самптер (оба — ветераны американской армии) и Брюс Гонсалес, глава народа ленапе из Андарако, штат Оклахома.

Сейчас, ранним майским утром, индейцы медленно и бережно опускают ящички в могилу. Джимми Джексон, один из старейшин ленапе, поет старинную песнь на языке племени. Вначале ее заглушают крики чаек, потом рев реактивного самолета.

Участники церемонии окуривают могилу сладко пахнущим дымом от высушенной буйволиной травы — так отгоняют злых духов. Перед тем за покой предков молились женщины под руководством Линды Пулоу. Погребением покойников у ленапе обычно занимаются мужчины, но Линда заявила, что женщины должны участвовать в похоронах, разделять общие чувства и ощутить облегчение. Так и стало.

Линда Пулоу, как и Брюс Гонсалес, приехала из Андарако. Она дочь Хорэйса Пулоу, индейца, который всю жизнь фотографировал соплеменников, а в 1942 году поступил на службу в военно-воздушные силы США и учил летчиков снимать с воздуха: тому, кто разбирается в открывающихся внизу картинах, легче выбрать цель бомбардировки.

Линда сотрудничает с Национальным музеем американских индейцев, находящемся на нижней оконечности Манхэттена. Она написала книгу об отце и его работах, где подчеркивает, что отец не хотел, чтобы фотографии увековечивали его персону. Он стремился увековечить *своих людей*, индейцев из Оклахомы.

Устрицы

После введения строгих мер наказания для тех, кто отравляет воду, нью-йоркский залив становится все чище. Туда вернулся луфарь, размножается осетр, алоза, полосатый окунь, иногда заглядывает тюлень. Аквалангисты обнаружили, что под водой до сих пор существуют устричные колонии. Раковины большие, но пустые, разъеденные кислотами.

Десять лет назад защитники природы решили привлечь устриц в их бывший рай. Они соорудили небольшой искусственный риф близ островов Свободы и Эллис и спустя некоторое время заметили на нем молодых моллюсков. Моллюски

несъедобны, однако могут способствовать разрастанию рифа и чистить воду. Говорят, ничто так не очищает воду, как живые “дары моря”.

Таким образом, можно надеяться, что залив будет становиться все чище – благодаря наказаниям, угрызениям совести и страху за будущее (это если говорить о людях) и благодаря усердной работе моллюсков, которых судьба отблагодарит хотя бы тем, что они не будут проглочены живьем вместе со своим маленьким трехкамерным сердцем (“Каким же храбрецом был тот, кто впервые отважился попробовать устрицу”, – говорил писатель и гурман Джонатан Свифт). Возможно, в один прекрасный день около острова Эллис появятся, как в былые времена, жирные и вкусные устрицы.

А пока надо спокойно ждать их выздоровления. Устрица, заболевшая по вине человека, который загрязнил воду, в свою очередь, может отравить того, кто употребит ее в пищу. В первой четверти XX века она заразила его не только тифом[1], но и подозрениями, что во всякой заразе виновны бедные европейские страны. Сейчас никто не в состоянии сказать, когда устрицы близ берегов острова Эллис, а вместе с ними и воды залива станут такими же, какими были во времена индейцев ленапе, – наступит ли это через двадцать, пятьдесят или сто лет и возможно ли вообще.

1. Устрицы и моллюски, выращиваемые в водоемах, загрязненных сточными водами, могут служить источником заражения брюшным тифом.

Ирина Жежко

Айн Рэнд на американском "Tea Party": диалог консерваторов и радикалов

Романы русской эмигрантки Айн Рэнд (Алиса Розенбаум, 1905–1982) "Атлант расправил плечи", "Источник", "Мы живые" были впервые переведены и напечатаны в России в 2005–2009 годах[1]. Интерес к ним российских читателей вполне закономерен не только в рамках процесса "реабилитации" зарубежных русских писателей и философов, но и потому, что активная часть населения России, избавившись от морока большевистской идеологии, начала осваивать (восстанавливать) давно забытые индивидуальные ценности, среди них и ту, что Рэнд назвала "человеческая жизнь как высшая ценность, ее неприкосновенность". В России появились новые общественные деятели, новые герои а-ля Рэнд, которые до этого не были популярны в русской культуре: Обломов был гораздо понятнее и ближе Штольца...

В силу мировоззренческой традиции русское общество в трудные времена всегда делало выбор в пользу государственничества и коллективизма, отказываясь от индивидуализма и либеральной философии. Отстаиваемые Рэнд ценности становятся все более востребованными на ее родине в XXI веке по мере того, как расширяется интеллектуальный горизонт и деятельный опыт новых поколений и появляются социальные герои нового типа.

Интерес к Рэнд в Америке, начиная с 1950-х, всегда был достаточно высок, однако он особенно усилился в последние два десятилетия. По результатам опроса издательского дома "Современная библиотека (Modern Library)" в 1998-м два ее романа-бестселлера "Атлант расправил плечи" и "Источник" вошли в список величайших романов XX века и обошли по популярности "Улисса" и "Человека-неви-

© Ирина Жежко, 2011

1. А. Рэнд. Атлант расправил плечи. – М: Альпина Паблишерз; 2010; А. Рэнд. Источник. – М: Альпина Паблишерз, 2010; А. Рэнд. Мы – живые. – СПб.: Невская перспектива, 2006.

димку"[1]. Только в 2008-м было продано больше, чем 800 тысяч экземпляров ее книг. В 2009–2010-м вышли десять мне известных новых книг о Рэнд, в том числе две ее новые биографии[2], не считая многочисленных статей, публикаций в Интернете и переизданий. Автор одной из новых биографий, Бернс, считает, что Рэнд сейчас гораздо активнее присутствует в американской культуре, чем при жизни. Дискуссия вокруг идейного содержания романов давно вышла за пределы Америки. Экономический кризис, распространившийся на весь мир, оказался на поверку кризисом экономических, социальных и политических идей, в котором каждому обществу и его интеллектуальной элите приходится разбираться самостоятельно[3]. Идейное наследие Рэнд оказалось необычайно насущным в этом поиске.

1. Хочу предупредить читателей, что я не принадлежу к поклонникам Рэнд как писателя, хотя мне очень близки отстаиваемые ею социальные ценности. Так в истории случалось не раз: далеко не самые лучшие с точки зрения литературного мастерства книги оказывали огромное вляние на целые поколения, если они предлагали новых героев и оригинальную жизненную философию: Овод ("Овод" Э. Л. Войнич), Базаров ("Отцы и Дети" И. С. Тургенева), Монте-Кристо ("Граф Монте-Кристо" Александра Дюма) и т. д.
2. Ayn Rand and the World She Made by Anne C. Heller; Goddess of the Market: Ayn Rand and the American Right by Jennifer Burns.
3. Аналогичную точку зрения высказывает философ Игорь Петров в своей новой книге Кризис современности. – М: НЛО, 2010.

Рэнд и "Tea Party" *movement*

Идеи Рэнд были вновь подняты на щит недавно возникшим в Америке политическим движением, называющим себя "Tea Party"[1] по аналогии с известным "Бостонским чаепитием". Появление нового движения не случайно совпало с годами президентства Барака Обамы, первые протестные "чаепития" были организованы в феврале 2009-го. Одна из главных причин этой общественной активности – недовольство экономической политикой новой американской администрации, приведшей к утроению государственного долга, а также проведенными через конгресс дорогостоящими реформами в экономике и здравоохранении. Другой причиной недовольства американцев является то, что под лозунгом войны с кризисом новая администрация и демократы, составляющие большинство в обеих палатах конгресса, фактически перекраивают сложившуюся американскую политическую систему, превращая ее в неосоциалистическую. Америка вплотную подошла к критическому рубежу, после которого может кардинально измениться ее социальная природа: welfare state[2] выросло до таких разме-

1. A New American Tea Party: The Counterrevolution Against Bailouts, Handouts, Reckless Spending and More Taxes by John M. O'Hara; That's no Angry Mob, That's My Mom by Michael Graham.
2. Государство всеобщего благосостояния (*англ.*) (с системой социального обеспечения, бесплатным обучением и т. п.).

ров, что впервые в истории этой страны в 2010 году уже половина населения не будет платить налогов, получая все социальные блага "бесплатно", за счет другой половины.

Средства массовой информации и политики из лагеря президента Обамы приложили немало усилий, чтобы представить движение "Tea Party", как минимум, маргиналами, как максимум – экстремистами: расистами, вандалами и внутренними террористами. Однако все попытки противопоставить "Tea Party" остальной Америке пока не имели успеха и только помогли этому движению прояснить свои цели и ценности и консолидироваться, превратившись фактически в американское большинство, которое готовится дать отпор на предстоящих выборах.

Многие лозунги и выступления этого протестного движения звучат как прямые или перефразированные цитаты из "Атланта". По свидетельству Института Айн Рэнд, продажи романа в 2009-м утроились по сравнению с предыдущим годом. Старший редактор экономического отдела The Wall Street Journal Стефен Моор[1] так объясняет новый пик общественного интереса к роману: "В 'Атланте' описано будущее, в котором Америка ввергается в экономический хаос по причине все увеличивающегося государственного регулирования и роста доли населения, не производящего значимых общественных ценностей и паразитирующего на остальных. <...> В ответ на каждую новую проблему государство запускает новый виток регулирования, тем самым не решая проблему, а только ее усугубляя". Сравнивая "Атланта" и ситуацию, в которой они находятся сейчас, американцы видят, что роман Рэнд довольно точно описывает сегодняшние неэффективные действия государства.

Другой привлекательной стороной "Атланта", по мнению Моора, является моральная позиция его автора. Ни одна страна не может выжить и преуспеть, если государство постоянно наказывает людей за их добродетели и вознаграждает за их пороки – вот одна из главных тем романа. Многие американцы считают несправедливым, когда государство перераспределяет доходы таким образом, что в результате ответственные люди оплачивают чужую безответственность.

И, наконец, продолжает Моор, "Атлант" находит поклонников среди людей, понимающих, что кризис – это не только высокая безработица, разорение бизнесов и частных лиц, безудержный рост государственного бюджетного дефицита. Кризис, по их мнению, – это также раздутое государство и неправомерное

1. 'Atlant Shrugged': From Fiction to Fact in 52 Years. By Stephen Moore Jan. 9, 2009...//http://online.wsj.com/article/SB123146363567166677.html Mr. Moore is senior economics writer for The Wall Street Journal editorial page.

расширение его функций. Вот почему сторонники "Tea Party" поднимают вопрос о разумных пределах государственного вмешательства в жизнь человека. Рэнд считала главной функцией государства защиту права индивидуума на самостоятельную жизнь. Вот что она писала в "Атланте": "Пока человек жив на земле, он имеет право полагаться на свой собственный разум, на собственное суждение и вообще жить как рациональное существо". О частности и суверенности индивидуального существования в противовес государству, которое позволяет себе вмешиваться в дела литературы и частных лиц, говорил в Нобелевской лекции и в нескольких эссе другой наш соотечественник Иосиф Бродский[1].

Участники "Tea Party" с помощью Рэнд и других мыслителей переоткрывают для себя принцип прав и свобод индивидуума и выступают в его поддержку.

1. "Если искусство чему-то учит... то именно частности человеческого существования... оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности.... Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую 'лица необщим выраженьем'. В приобретении этого необщего выраженья и состоит, видимо, смысл индивидуального существования..." Иосиф Бродский. Поклониться тени. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 242–243.

Рэнд и ее критики

В оппозиции к "Tea Party" и к широкой читательской аудитории Рэнд находятся не только либеральные политики, но многие американские интеллектуалы, обитатели университетских кампусов. Сама Рэнд как литератор и мыслитель оценивается этими критиками крайне низко. "Не так значима сама Рэнд, как резонанс ее идей в американской культуре", – пишет профессор Кори Робин в своей статье в журнале "The Nation"[1]. Добавлю, что Робин и ее единомышленников волнует резонанс идей Рэнд не столько в культуре, сколько в текущих **политических** тенденциях, поскольку хорошо известно, что книги этого автора по совокупному общему тиражу уже давно приблизились к Библии. Новая волна критического интереса к Рэнд объясняется скорее тем, что либеральные идеи стремительно уступают в общественном мнении консервативным (или, по американской системе отсчета, правым). По недавнему опросу института Геллопа соотношение "консерваторов" и "либералов" в американском обществе в настоящий момент два к одному. Соотношение сил в пользу правых фактически еще больше, если учесть, что сегодняшняя американская ад-

1. Кори Робин. Мусор и авторитет. Пушкин, № 2, с. 14–22. Garbage and Gravitas by Corey Robin. The Nation // http://www.thenation.-com/article/garbage-and-gravitas

министрация придерживается не столько умеренной, сколько радикально-либеральной, фактически неосоциалистической позиции. Борьба критиков из этого лагеря против Рэнд, по существу дела, — борьба за политическое влияние именно этого, крайне левого, крыла демократической партии на общественное мнение.

В последние два года было сделано много попыток не только принизить ценности и идеи, проповедуемые Рэнд, но и скомпрометировать их автора. Речь пойдет о двух наиболее крайних случаях такого рода. Критиками выбраны орудия большого калибра, два главных монстра XX века: фашизм и марксизм-большевизм. Автор одной из выбранных мной статей прослеживает фашистские корни философии Рэнд, автор другой — большевистские; в обоих случаях, как кажется, крайне неубедительно.

Что *общего у* Рэнд *с фашизмом (случай* Кори Робин*)*

Профессор политических наук Кори Робин напечатала в "The Nation", журнале с устойчиво либеральной ориентацией, статью "Мусор и авторитет". К слову сказать, этот журнал только два раза за свою историю открыто поддержал кандидатов в президенты, оба кандидата, Джесси Джексон и Барак Обама, придерживаются радикально-социалистических взглядов. Журнальная статья Робин формально является рецензией на две недавно вышедшие биографии Рэнд (Анн Хеллер; Бернс), а по сути — собственным взглядом автора на идеи Рэнд и ее главный роман "Атлант расправил плечи". Робин предупредила читателей в вводном абзаце, что Рэнд, по ее мнению, ничтожный писатель и философ, что, впрочем, не помешало автору посвятить целую статью анализу ее идей. Профессор озадачена фактом, что участники опроса "Книга месяца", проводимого Библиотекой Конгресса, указали, что влияние романа "Атлант" на их мировоззрение стоит на втором месте после Библии. Однако этот факт не привлек бы внимания Робин, элита привыкла высокомерно относиться к вкусам американского большинства, если бы в этот раз речь не шла о все увеличивающемся **идеологическом влиянии** этого романа.

Вся статья Робин написана в откровенно снобистском духе. Вкусы Рэнд объявлены обывательскими и традиционными, ее главный роман "Атлант" — кичем; ее главными поклонниками — безмозглые актеры Голливуда и республиканские лидеры. Когда автор одной из биографий, Хеллер, сделала комплимент уму Рэнд, Робин выразила сомнение, читала ли та ее книги... Когда Бернс написала, что "Рэнд была одной из первых, указавших на сокрушающую власть государства и предупредивших широкую публику об этой опасно-

сти", Робин оставила без внимания актуальность высказанной идеи применительно к политике New Deal[1] и язвительно указала на то, что, как минимум, десять философов, от Монтескье до Эммы Голдман, высказали эту идею задолго до Рэнд.

Однако главное обвинение критика состоит в том, что роман "Атлант" насквозь пропитан фашистскими идеями. Первым свидетельством фашистского влияния, по мнению автора, является тот факт, что Рэнд, по приезде в Америку, увлекалась книгами Ницше.

Робин проводит параллель между идеями Рэнд о жизни как непрерывном, сознательном выборе, который человек, если хочет жить в высшем смысле этого слова, делает каждый день, и тезисом Геббельса "жизнь есть борьба". Для Робин несущественно большое контекстуальное различие между двумя этими точками зрения: Рэнд говорит о человеке и его собственном, персональном выборе, который не приводит к подавлению других индивидов, тогда как Геббельс имеет в виду государство, которое обязательными формами воспитания и репрессиями навязывает свой выбор гражданам и подавляет тем самым их собственный.

Другое общее свойство фашизма и рэндианизма, по мнению критика, состоит в том, что они оба прославляют героическую и творческую личность. Романы Рэнд написаны об исключительных людях, кто своими творческими достижениями способствуют прогрессу человечества. Для Робин такой выбор героев романов эквивалентен поощрению Рэнд-расизма, концентрационных лагерей и газовых печей. Напротив, нас, кто жил при советской власти и знал, что одним из главных правил социалистического общежития в широком смысле было "не высовываться", "не выделяться из толпы", герои Рэнд призывают выйти из толпы, повернуться лицом к своей личности, обрести, вырастить и оберегать свою индивидуальность.

Будучи образованным человеком, К. Робин, похоже, сознательно игнорирует тот факт, что романтизм как художественное и культурное направление, воспевающее героических одиночек и противостоящее нивелированию личности, возникло в XVIII веке, как минимум, за столетие до обоих выше названных "измов".

Методом компаративизма-параллелизма, столь любимым многими современными исследователями, подменяется добросовестный анализ идей Рэнд и, более того, путем

1. "Новый курс" (*англ.*) – система экономических реформ, проведенная в жизнь президентом Ф. Рузвельтом в 1933–1938 гг., была направлена на преодоление Великой депрессии, попутно значительно усилив роль государства и введя несколько социалистических институций в традиционно капиталистическое американское общество.

сравнения с заведомо опороченными идеями и личностями (так называемая вина по ассоциации) сознательно компрометируются и эти идеи, и их автор и пропагандист.

Другой пример критики "по ассоциации" — статья нашего соотечественника, профессора социологии В. Э. Шляпентоха.

Марксистско-большевисткие корни Рэнд (случай Владимира Шляпентоха)

Владимир Шляпентох подошел к анализу философии Рэнд как никто до него не делал: "Я попробую показать, что оригинальность мировоззрения Айн Рэнд необычайно преувеличена и что многими своими идеями она обязана Марксу, а также практике и идеологии русских большевиков"[1]. Как и К. Робин, В. Шляпентоху решительно не нравятся романы и идеи Рэнд. Профессор считает ее идеи "примитивными" и "невежественными", он находит в них "обыденный психологизм", "одномерное представление" и т. д. Как и предыдущий критик, автор объясняет свой интерес к книгам Рэнд ее существенным влиянием на движение "Tea Party".

Довольно забавно, что Рэнд приходится защищать от упреков в марксистском и большевистском влиянии. Ведь именно она была первой в американской литературе, кто начал поход против самых начал марксизма и большевизма — диктатуры государства (неважно какого, пролетарского или государственно-капиталистического), культа коллективизма, презрения к ценности отдельной человеческой жизни, свободе убеждений и совести и доминирования ценности государства над отдельной личностью. Рэнд отстаивала свою первую книгу (роман "Мы — живые" закончен в 1933-м, напечатан в 1936-м) против значительной части пробольшевистски настроенных издателей, некоторые из которых потом признались в членстве в коммунистической партии Америки. Интерес к книгам и философии Рэнд с самого начала не был результатом их профессионального продвижения издателями, напротив, он возник почти вопреки ему, нарастая постепенно и спонтанно.

Продолжая это наблюдение, хочу напомнить о судьбе итальянского фильма "Noi Vivi" (экранизации "We the Living" — "Мы — живые"). Фашистское государство одобрило этот фильм в 1942-м, так как нашло его антикоммунистическим. Пять месяцев спустя оно же его запретило, поскольку власти поняли, что книга и фильм не просто антисоветские, а направлены **про-**

1. Владимир Шляпентох. Айн Ранд: ее марксистские и большевистские корни / Новое литературное обозрение, 2010, № 104, с. 179—190.

тив всякой государственной диктатуры.

В начале писательской карьеры Рэнд черпала материал для романов из опыта своей жизни в большевистской социальной системе, однако, по мере освоения в Америке, писательница увидела элементы социализма и в новой стране, патриотом которой считала себя всю оставшуюся жизнь. Важно помнить, что Рэнд писала свои романы во время Великой депрессии, когда американское государство постепенно отступало от модели, созданной отцами-основателями, и прибирало к рукам все больше функций, а с ними и власть у штатов и граждан, что может быть названо первыми шагами в сторону социализма или entitlement state[1] (или "nanny state"[2]): создание social security[3] и других государственных программ поддержки нуждающихся слоев населения. Именно с тенденцией все возрастающей роли государства во всех сферах общественной жизни и используемыми им демагогическими схемами воюют главные герои "Атланта".

Владимир Шляпентох исходит из предположения, что жизненная философия и ценности Рэнд сформировались в российские университетские годы[1]. Это может быть справедливым вообще, но только не для интеллектуалов. Напротив, интеллектуалы, тем более философы, формируют свое мировоззрение всю жизнь и чаще всего кардинально пересматривают и переосмысляют идеалы юности. Рэнд не исключение. Более того, как многие, кому довелось переместиться из одной социальной системы в другую, Рэнд получила определенное преимущество, имея возможность критически сопоставить эти системы и тем самым существенно расширить свой интеллектуальный кругозор. Следуя логике критика, все,

1. Государство, оказывающее помощь (*англ.*), — такая модель государства, в котором оно играет ключевую роль в охране и защите экономического и социального благополучия своих граждан. Многие элементы такого благополучия трактуются как права граждан на бесплатное образование; медицинское обслуживание и т. д.
2. "Государство-нянька" (*англ.*), уничижительный термин, используемый для обозначения государства, проводящего политику чрезмерного протекционизма, экономических интервенций и регулирования во имя защиты своих граждан от разного рода угроз (приравнивая их тем самым к детям), а параллельно осуществляющего контроль и руководство их поведением, вкусами и взглядами.
3. Социальная безопасность (*англ.*) — имеется в виду группа законов, первый из которых принят в 1935-м, обеспечивающих пенсии пожилым людям, пособия по инвалидности, безработице; помощь нуждающимся семьям, субсидированное жилье и другие социальные программы, фанансирование которых осуществляется за счет собираемых налогов.
1. //http://shlapentokh.wordpress.com/2010/03/22/ayn-rand-today-the-enemy-of-collectivism-and-democracy/ http:// shlapentokh.wordpress.com/ (The Marxist and Bolshevik Roots of Ayn Rand's Phylosophy).

покинувшие советскую Россию во взрослом возрасте, включая его самого, пропитаны большевистскими ценностями. Кстати, гуманитарное образование первых послереволюционных лет нельзя назвать совершенно марксистским, так как в университетах еще преподавали так называемые бывшие — дореволюционные профессора.

Взгляды Рэнд на общественное благо и на отношения между индивидами (Рэнд в первую очередь относит к ним людей с развитой самодостаточностью и ответственностью) вряд ли можно назвать социалистическими. Они, в частности, изложены в том месте романа "Атлант", где героиня попадает на вертолете в Атлантиду (долина Маллигана), к людям, которые убежали от общества паразитов и выстроили свое идеальное общежитие. Никакого равнодушия друг к другу или благу общества там нет, напротив, общественное благо строится на взаимном уважении и интересе к каждому[1]. Общественное благо, по Рэнд, есть равнодействующая личных интересов, а не подавление личного интереса общественным, как это было при большевистском социализме и как это нередко происходит сейчас в современных парасоциалистических обществах, где интересы отдельных групп навязываются большинству, а доходы насильственно, через государственные механизмы, перераспределяются.

В. Шляпентох находит философию Рэнд абсолютно материалистической. Тексты Рэнд, при внимательном их рассмотрении, не подтверждают, а скорее опровергают этот тезис.

Материализм не признает самостоятельного существования идеального мира, сводя его к производной от материального, используя понятия "надстройка", "отражение материального мира", "вторичность по отношению к производительным силам" и т. п. В текстах Рэнд нет ничего, что было бы близко такому пониманию социума. Напротив, ее миром движет Личность, которая воплощает свои идеи; Рэнд называет свой писательский метод "идеалистическим романтизмом", и в этом с ней можно согласиться, так как во главу угла всех ее романов ставятся интеллект, идеи, ценности, которые управляют жизнью героев: "В романе 'Атлант' я говорю о философском, психологическом и моральном значении людей, которые ценят свои жизни, и о тех, кто не ценит ни свои жизни, ни чужие. Я показываю, что первые и есть Первопроходцы человечества, а вторые — его убийцы в метафизическом смысле, имеющие, однако, тенденцию превращаться в реальных его убийц. В 'Атланте' я рассказываю, почему одни люди движи-

1. "Мы здесь не государство, не община, мы — добровольное объединение людей, не связанных ничем, кроме личных интересов каждого" (Атлант расправил плечи. Часть 3, с. 61).

мы стремлением к жизни, а другие — тягой к смерти".

В. Шляпентох также утверждает, что нажива и корысть, в соответствии с учением Маркса, — основные побудительные мотивы поведения всех героев Рэнд. Этот тезис, по-моему, также не находит подтверждения в ее романах. Главные герои "Атланта" и "Источника", напротив, превыше всего дорожат свободой творчества и легко отказываются от вознаграждения за свой труд, соглашаясь на бедность и непризнание, если их труд становится несвободным и не соответствует их ценностям. Действительно, герои "Атланта" выбрали своим символом доллар, но только как меру труда, независимости и как средство быть хозяином собственной жизни.

Другой упрек к Рэнд в материализме звучит следующим образом: "Она возвеличивает труд, производство и новаторов". Здесь критик допускает очень вольную трактовку ее текстов. Героями Рэнд являются прежде всего творцы: изобретатели, инженеры, архитекторы, врачи... И в труде она ищет и прославляет в первую очередь свободу творца, его профессиональные и личные ценности, как раз те ценности, за которые поколения большевистских галтов и хендриксов были отправлены в концлагеря. Здесь очень кстати привести еще одну цитату из романа "Атлант", так как она звучит сверхсовременно в сегодняшней Америке после принятия закона об обязательном медицинском страховании и контроле государства за этой областью экономики:

> Я ушел [в долину Маллигана. — *И. Ж.*] несколько лет назад, когда медицина была взята под контроль государства, — заговорил доктор Хендрикс. — Знаете, что такое операция на мозге? Знаете, какой она требует подготовки? Сколько лет страстной, суровой, мучительной работы, чтобы приобрести подобную квалификацию? Вот чего я не хотел отдавать людям, единственной силой которых для контроля надо мной являлась демагогия, открывшая им на выборах путь к привилегии диктовать другим свою волю. Я не хотел позволять им устанавливать мне цель, условия работы, выбор пациентов, моего вознаграждения. Я обратил внимание, что во всех дискуссиях, предшествовавших порабощению медицины, люди обсуждали все, кроме желаний самих врачей... То, что у врачей должны быть какие-то права, желания или выбор, считалось 'неуместным эгоизмом'... Я искренне поражался самоуверенности, с которой люди утверждали свое право порабощать меня, контролировать мою работу, насиловать мою волю, мою совесть, подавлять мой разум...[1]

Как мы видим, возвеличивается не всякий труд, а только осмысленный и свободный, а это уже никак не пахнет марксизмом, озабочен-

1. Атлант расправляет плечи. Часть 3, с. 57.

ным справедливым дележом прибавочной стоимости, ни тем более большевизмом с его трудовыми лагерями.

Стараясь далее показать, что еще роднит Рэнд с Марксом и марксизмом, В. Шляпентох поминает ее атеизм. Маркс и особенно большевики действительно были воинствующими атеистами, но только для того, чтобы освободить это место для "единственно верной теории марксизма-большевизма" и построить на возникшем пустыре "коммунистическую" церковь. Атеизм Рэнд другого происхождения: его источник — вера в возможности личности и ее, личности, абсолютную ценность. Это — спорная вера, но в ней нет ничего от марксизма. Кроме того, как известно, атеизм проповедовался задолго до Маркса (Эпикур, Давид Юм, герои Французской революции и прочие).

Обращаясь в своем блоге напрямую к американскому читателю, Владимир Шляпентох приберег еще одно обвинение: "Рэнд разделяет с большевиками их полное презрение к Демократии"[1]. С этим тезисом можно согласиться лишь частично. Рэнд и ее последователи действительно не испытывают уважения к институтам власти, демократическим лишь по форме (в конце концов, коммунистическая Россия тоже избирала своих лидеров), если они ухитряются захватывать почти абсолютную власть над избравшим их народом. Попытки такого рода видны по обе стороны Атлантического океана. К счастью для американцев, многие формы протестного, вполне демократического движения остаются пока вполне легальными, а выборы не превратились в пустую формальность.

"Tea Party" покидает долину Маллигана

Многие из аргументов Владимира Шляпентоха, равно как и Кори Робин, основаны на параллелизме, сходстве исключительно формальном, вырванном из контекста, поскольку Рэнд высказывает свои идеи по другим поводам и с другим содержанием.

Внимательные читатели понимают, что Рэнд воевала не со всяким, а только с тоталитарным государством (в применении к России) и с государством, которое стремительно берет на себя все новые и новые функции, а с ними и новые права (в применении к сегодняшней Америке). Герои Рэнд боролись против бюрократического аппарата, паразитирующего на здоровых силах общества и ограничивающего индивидуальные свободы; против государства, которое стремится укрепить свою власть и усилить свою роль, опекая всех членов общества и наращивая кон-

1. //http://shlapentokh.wordpress.com/2010/03/22/ayn-rand-today-the-enemy-of-collectivism-and-democracy/

троль над наиболее активными его членами, чтобы остальные "добровольно" уступили свои свободы в обмен на "бесплатное" медицинское обслуживание, образование и другие формы государственной поддержки. Как это очевидно рифмуется с тем, что происходит в России сейчас, — с историей предпринимателя и политика Ходорковского и его партнера Лебедева!..

Критика американских профессоров, сторонников нового курса Обамы, хотя и направлена против идей Рэнд, но нацелена в ее нынешних сторонников, в протестно настроенное население Америки и, в частности, движение "Tea Party", то есть в тех, кто все еще платит налоги и оплачивает свои счета. В отличие от героев "Атланта", сегодняшние "несогласные" не собираются бойкотировать государство и уходить во внутреннюю эмиграцию, в долину Маллигана. Рядом с "Tea Party" воникают другие многочисленные движения и организации, делающие все возможное, чтобы **забрать у государства обратно те властные полномочия**, которые были отобраны у них под предлогом борьбы с кризисом. Для этого американцы используют все существующие законные механизмы и средства самоуправления и управления, благо американская конституция, традиции и общественная поддержка, а вместе с ними и книги американки российского происхождения Рэнд, на их стороне. Удастся ли американцам сохранить свою страну как республику и свои базисные ценности, мы узнаем в ближайшем будущем, одним из решающих испытаний на этом пути станут выборы в конгресс и сенат и губернаторские выборы в ноябре 2010-го.

Медфорд, Массачусетс, США

Марина Ефимова

Обмен

История бартерной торговли шпионами

Обмен шпионами обычно относят к феномену "холодной войны", и первой такой операцией считают знаменитый обмен советского шпиона Рудольфа Ивановича Абеля на Фрэнсиса Гэри Пауэрса – пилота американского самолета-шпиона "U-2", сбитого над Свердловском в 1960 году. Между тем принцип такого рода обмена (причем массового и документированного) был заложен во времена Наполеоновских войн, и его инициаторами были Наполеон Бонапарт и его знаменитый шеф полиции Жозеф Фуше.

В 1803 году французы обнаружили, что потеряли пленными гораздо больше солдат и офицеров, чем англичане. Чтобы их вернуть, был использован невиданный доселе прием: Наполеон подписал приказ об интернировании всех англичан, задержанных на территории Франции и других оккупированных стран, в специальные лагеря – подобие будущих концлагерей. Между тем арестованными англичанами были, в основном, путешественники – аристократы и их молодые отпрыски. Но были и промышленники, буржуа, люди без определенных занятий, художники и шпионы. Прежде чем начать переговоры об обмене арестованных англичан на пленных французов, Наполеон составил своего рода ценник. Британский журналист и историк шпионажа И. Эйч. Кукридж приводит его в книге 1971 года "Торговля шпионами"[1]:

За лордов и членов парламента Наполеону должны вернуть плененных генералов и адмиралов, за детей аристократов – полковников и морских капитанов, за джентльменов без титулов – офицеров. Англичане вынуждены были согласиться. В результате обмена французы пополнили армию, а англичане получили назад не только своих ни в чем не повинных граждан, но и шпионов, правда, только тех, кого Фуше успел с помощью денег или шантажа переквалифицировать в двойных агентов. Через полтора века наполеоновский прием использует КГБ в практике обмена

© Марина Ефимова, 2011

1. E. H. Cookridge. Spy Trade. – Hodder & Stoughton Ltd., 1971.

арестованных иностранцев на советских шпионов.

В ранней истории Америки документирована лишь одна попытка обмена шпиона – в 1780 году, во время Войны за независимость. Майор Джон Андрэ, англичанин, адъютант главнокомандующего британскими войсками, перешел линию фронта, чтобы тайно договориться о сдаче укреплений Вест-Пойнта с предателем Бенедиктом Арнольдом, который был ни больше ни меньше, как генералом американской армии и комендантом Вест-Пойнта. Предательство Арнольда было раскрыто, но он спасся бегством. А вот Джон Андрэ был схвачен и судим как шпион. Англичане предлагали за него денежный выкуп, предлагали обменять его на пленных, но американский главнокомандующий Джордж Вашингтон требовал в обмен только Арнольда. Англичане на это не пошли, и Андрэ был приговорен к смерти. Он попросил, чтобы его, как офицера, расстреляли, однако Вашингтон не согласился даже на это, и Андрэ был повешен, как любой другой шпион.

Обмен военнопленными существовал веками, но до середины XX столетия шпионы из этих обменов исключались. Правда, статус шпиона менялся в разные века. Шпионаж был уважаемой миссией во времена, относящиеся к древнейшей истории, но уже в Средние века шпион стал парией, трусом, который боится честного открытого боя и тайно вынюхивает чужие секреты. С тех пор шпионы приравнивались к предателям и до XVIII века подвергались самым жестоким казням: их волокли к месту казни привязанными к лошадям, четвертовали, выпускали кишки, обезглавливали... а позже – вешали. Известно, что в начале Первой мировой войны немецкого шпиона Карла Лоди англичане расстреляли, и перед расстрелом комендант Тауэра даже пригласил его к себе в кабинет, предложил стакан вина и сказал: “Я хочу пожать руку смелому человеку”. Но даже во время Второй мировой войны в некоторых армиях разведчиков в военной форме расстреливали, а разведчиков в штатском вешали (хотя уже с XVI века, со времен английского шпиона сэра Фрэнсиса Уалсингама, шпионаж признавался неотъемлемой частью управления государством). В наши дни шпионаж в пользу иностранного государства обычно не карается смертью. Так что всегда остается вариант обмена.

За время Холодной войны между Западным блоком и Восточным были обменяны многие сотни людей. В Америке появился даже специальный термин шпионского обмена – не *exchange* (как любой другой обмен), а синоним этого слова – *SWAP*, *spy swap*. Большинство обменянных людей не были, конечно, шпионами – это были мелкие нарушители советских правил или просто заложники,

арестованные по примеру наполеоновской инициативы. Видов шпионских обменов было много: шпион на шпиона, шпион на заложников, шпион на политических диссидентов. Были обмены с нагрузкой: крупный шпион на мелкого плюс заложник. Таким, кстати, был первый обмен – Абеля на Пауэрса зимой 1962 года. Кукридж приводит эту деталь в книге "Торговля шпионами":

Утро было морозное. Тяжелые тучи висели над "мостом Социалистического единства", соединяющим западно-берлинский район Глинике и Бабелсберг в Потсдаме (когда-то резиденция Карла Великого). Американский адвокат Абеля Джим Донован и советский представитель Иван Шишкин обменялись приветствиями на середине моста. Шишкин сказал: "Прайор уже освобожден". (Фрэда Прайора, студента, сидевшего в гэдээровской тюрьме с августа 1961 года, советская сторона отпускала с Пауэрсом в виде надбавки.) Донован, извинившись, сказал, что ему придется ждать подтверждения с американской стороны. Шишкин настаивал: "Но я знаю, что Прайора передали его адвокату Фогелю в Берлине, на пропускном пункте "Чарли". – "Наверное, Фогель не может договориться с ним о гонораре", – пошутил Донован. Шишкин захохотал. Они потоптались на месте. Пауза становилась напряженной. Наконец-то крик из группы американцев: "О'кей! Прайор свободен!" Только тогда продолжили процедуру обмена.

Любопытно, что американские историки шпионажа считают Абеля средней руки шпионом. "Это публика сделала из него рок-звезду", – пишет в газете "Вашингтон пост" профессор Джеффри Бёрдс. С этим согласен и историк вашингтонского "Музея шпионажа" Марк Стаут, сказавший в недавнем интервью[1]:

Абель был координатором. Главную работу делали те, кто непосредственно получал секретную информацию. Но случай этот важен тем, что он был первым обменом шпионами между Восточным и Западным блоком. Это был прецедент.

Начиная с 1962 года на невидимую сцену шпионажа выходит адвокат Фогель – герр Вольфганг Фогель, единственный юрист Восточной Германии, получивший право практиковать на Западе. Его специализация – шпионские обмены. Его прозвище – *spy trader* – торговец шпионами. Кстати, в обмене Абеля на Пауэрса он участвовал не только как адвокат Прайора, но и как адвокат жены Абеля. Правда, при обменах крупными шпионами Фогель был просто декоративной фигурой: в этих случаях разведки договаривались напрямую.

1. Mark Stout. Historian of "International Spy Museum" in Washington D. C. В статье приводятся отрывки из интервью, данного корреспонденту радио "Свобода" М. Ефимовой в августе 2010.

Герр Фогель был вовлечен во многие знаменитые обмены, например, обмен в 1981 году агента ГДР Гюнтера Гийома на нескольких западных шпионов. Это был громкий скандал: Гийом сумел стать личным секретарем западно-германского канцлера Вилли Брандта. Когда дело открылось, Брандту пришлось уйти в отставку. В 1986 году Фогель был посредником обмена диссидента Анатолия Щаранского на пятерых агентов Восточного блока, в том числе на чеха Карела Кочера. Кочер был единственным шпионом-иностранцем, сумевшим стать сотрудником ЦРУ.

Но главную свою карьеру Вольфганг Фогель сделал не на обменах, а на "продаже" Западной Германии жителей Восточной Германии. Европейский корреспондент газеты "Нью-Йорк таймс" Крейг Уитни написал о Фогеле книгу – "Торговец шпионами"[1], в которой пишет, что за время Холодной войны Фогель был посредником по обмену 150 шпионов, по выкупу 30 тысяч политзаключенных и по отправке на Запад 200-т тысяч простых граждан Восточного блока (в основном – из Восточной Германии). Однако немцы и до сих пор испытывают к герру Фогелю смешанные чувства:

Не все отчаявшиеся жители Восточной Германии, приходившие к Фогелю за помощью, разделяли его мнение о себе как о защитнике гуманизма. Он прямо говорил им, что они должны заплатить Восточной Германии за свою свободу. Одни отдавали дома и машины, другие убеждали западных друзей и родственников собрать и заплатить за них крупные денежные суммы.

После объединения Германии связи Фогеля с секретной службой ГДР "Штази" привели к его аресту по обвинению в шантаже, вымогательстве и неуплате налогов. Но апелляционный суд оправдал его. После смерти Фогеля в 2008 году журналист радио "Немецкая волна" сказал о нем: "Тридцать лет он был единственным живым контактом между Западной Германией и Восточной". А в книге "Торговец шпионами" Крейг Уитни приводит (в применении к Фогелю) вопрос Фауста к Мефистофелю: "Так кто же ты?" – и ответ Мефистофеля: "Часть вечной силы я, всегда желавшей зла, творившей только благо".

Западные историки шпионажа, писавшие статьи и книги в 70–80-х годах, были невероятно удручены тогдашней практикой шпионских обменов. И. Эйч. Кукридж, например, пишет в книге "Торговля шпионами":

Западный шпион, рискуя жизнью ради своей страны, знал, что, если он попадется, его страна не сможет ему помочь. Когда первые из них попадали в советские тюрьмы, у них не было надежд. Но их тюремщики дали им понять, что, если те, на кого они работали, со-

1. Craig R. Whitney. Spy Trader. – DIANE Publishing Company. 2000.

гласятся на определенные условия, шпионы могут надеяться на свободу и возвращение домой. То, что Запад согласился на условия советской стороны, имело катастрофические последствия. Шпионская сеть стран Варшавского пакта покрыла Запад. А западных шпионов настолько меньше, что советская сторона редко может предложить равноценный обмен. И Западу приходится из гуманных соображений менять их опытных шпионов на наших невинных граждан или мелких нарушителей – под угрозой, что их надолго упрячут в тюрьму, или еще того хуже.

И Кукридж приводит примеры: в 1962 году за двух американских пилотов советскому блоку вернули двух крупных агентов: Мелеха и Хирша. В 1969 году советское правительство сыграло на британской гуманности, намекнув, что студент Джералд Брук, ввозивший в Советский Союз "тамиздат", получит 10 лет лагерей, если Англия не освободит чешских шпионов Петера и Хелен Крогеров. "В Советском Союзе, – пишет Кукридж, – иностранных туристов могли арестовать за нарушение правил путешествия (когда они уезжали чуть дальше, чем разрешалось по условию туристской визы), за фотографирование мостов и прочее в том же роде, а потом судить за шпионаж".

Однако сейчас, через 20 лет после развала Советского Союза (которому не помогли шпионские преимущества), мы смотрим на дело по-другому и можем порадоваться за судьбу невинных людей, освобожденных под видом шпионских обменов. Например, в 1963 году советские шпионы в ООН Иван Егоров и его жена Александра были обменены на студента Марвина Макинена, арестованного во время путешествия по Украине и проведшего два года в одиночке Владимирской тюрьмы. Более того, к нему щедро добавили протестантского миссионера Уолтера Кижека, маявшегося по советским лагерям с 1941 года. В 1976 году Советский Союз освободил из чилийской тюрьмы коммуниста Луиса Корвалана, отпустив на волю своего антикоммуниста Владимира Буковского. Американцы отдали в 1979 году двух советских шпионов за политзаключенных Гинзбурга, Кузнецова, Дымшица и Мороза. В 1986 году американского журналиста Николаса Данилова, арестованного явно по ложному обвинению, обменяли на советского агента, действовавшего в ООН. А вот открытое письмо Оуэна Мэтьюса[1], вывешенное в Интернете во время обсуждения недавнего шпионского обмена:

Я обязан жизнью такому обмену, какой сейчас обсуждается между Белым домом и Кремлем. В 1969 году советское Политбюро и британский Кабинет министров, после долгих переговоров, согласились обменять сидевших в анг-

1. Owen Matthews. I Owe My Life to a Spy Swap.

лийской тюрьме двух советских шпионов Петера и Хелен Крогер, передававших в СССР информацию об атомных программах, на студента Джералда Брука, возившего в Советский Союз запрещенную литературу. Обмен был таким неравным, что Москва согласилась добавить к студенту трех советских граждан, хотевших сочетаться браком с британцами. Среди них была моя мама, Людмила Бибикова. Они с отцом ждали этой возможности 5 лет. В день обмена отца держали в аэропорту, пока самолет с Крогерами не улетел за пределы британского воздушного пространства. Тогда отцу разрешили вылететь в Москву, чтобы жениться на моей будущей маме. Я родился в Лондоне двумя годами позже.

Нынешние американские историки по-прежнему обеспокоены практикой шпионских обменов между Западом и (теперь уже) Россией. Их главное беспокойство — количество российских агентов. Вот, например, доводы чикагского профессора, директора Центра по изучению России и Советского Союза Джеффри Бёрдса, высказанные им 8 июля 2010 года в его выступлении в интернетовском выпуске газеты "Вашингтон пост"[1]:

Российские секретные операции сейчас, так же как когда-то советские операции, базируются на доктрине избытка. Например, за время Второй мировой войны советские заслали в зоны, оккупированные Германией, 150 тысяч контрразведчиков. За это же время Германия заслала в советский тыл всего 30—40 тысяч. Потери и у тех и у других были огромными. У немцев — примерно 95 процентов. Правда, у русских чудовищные потери начались раньше: с 1937-го по 1939 год Сталин отозвал из-за границы в Москву тысячи своих секретных агентов, и большинство из них было арестовано и расстреляно по обвинениям в измене. Что касается нынешней ситуации, то три года назад ЦРУ подсчитало, что число российских агентов секретных служб в Соединенных Штатах выросло с конца "холодной войны" в 4 раза! Это значит, что их опять намного больше, чем наших агентов в России.

Примерно такую же оценку дает историк "Музея шпионажа" Марк Стаут:

Нынешнее присутствие российских агентов в США сравнимо с тем, которое было во времена "холодной войны". А скорей и выше. Особенно в Вашингтоне. Плюс к этому у нас теперь появились шпионы из стран, которые раньше не играли значительной роли в мировой истории — например, из Китая (и не только из Китая). Поскольку военных действий не ожидается, то пока особый интерес вызывают американские технологии. Разведки больше сосредоточены на секретах экономических. Изменились условия игры.

1. Jeffrey Burds, co-director of the "Center for the Study of Russia and the Soviet Union" at Northeastern Univ. Выступление 8 июля 2010 г. в "Washington Post" online.

И, безусловно, изменилась реакция американской публики – если судить по обмену десяти российских "агентов влияния" на четверых американских шпионов (и предполагаемых шпионов). Американцы приняли это легко: подтрунивали, посмеивались, кто-то назвал этот обмен "не торговлей, а дешевой распродажей"... Возможно, все уже примирились с истиной, сформулированной в XVI веке и гласившей, что "шпионаж является неотъемлемой частью управления государством". А возможно, дело не в самой шпионской игре, а в соблюдении тех правил и того тона, в котором она ведется в цивилизованном мире. Обмен 2010 года соответствовал этим правилам – судя по оценке американского историка шпионажа Марка Стаута:

Шпионские обмены трудно назвать *дружественной* акцией, тем более что у нас с Россией еще много политических расхождений. Но нынешний обмен – явно и не *враждебная* акция, а скорей *деловая*. И совершена она была в сугубо деловой манере. Такой обмен свидетельствует не столько о дружественных, сколько о зрелых отношениях между двумя странами. Ведь в принципе это могло превратиться в серьезный кризис между Россией и Америкой. Но не превратилось. И это – очень хороший знак.

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Бен Мезрич *Миллиардеры поневоле.* Альтернативная история создания Facebook / Пер. с англ. Дмитрия Угорского. — М.: Юнайтед пресс, 2010 г. — 240 с. — 3000 экз.

Социальная сеть Facebook.com — феномен, завоевавший мир без единого выстрела. Если Живой Журнал (LiveJournal.com) во всем мире (кроме России!) так и остался игрушкой для самовыражающихся подростков, то страничку на фейсбуке (и доступ на фейсбук со своих смартфонов) во всем мире одинаково охотно заводят и профессора, и топ-менеджеры, и креативные директора... А создатель всего этого ризоматического великолепия простой американский гений Марк Цукерберг стал в свои двадцать шесть не только самым молодым селф-мейд-миллиардером, но, вероятно, и самым юным — и при этом живым — героем полномасштабного документального романа. Живописуя, как из студенческих посиделок и полудетских обид — "я с тобой больше не дружу!" — выросли многомиллионные бизнесы и судебные иски, опытный голливудский автор Бен Мезрич, не обинуясь, нагоняет страсти и сгущает краски. Но, вероятно, иначе история об этих специфических людях, 20 часов в сутки не поднимающих головы от компьютеров, не оказалась бы такой захватывающей. И не легла бы в основу успешного фильма "Социальная сеть". Увидеть в двадцать шесть лет собственное киновоплощение — еще один необычный рекорд Цукерберга.

Элизабет Страут *Оливия Киттеридж* / Пер. с англ. Ирины Бессмертной. — СПб.: Азбука, 2010. — 352 с. — 5000 экз.

Несмотря на название, как бы отсылающее к великим романам XIX века, носящим имя главной героини ("Анна Каренина", "Джейн Эйр", "Мадам Бовари"), эта книга — не цельное повествование, а цикл из тринадцати рассказов, объединенных скорее временем и местом (небольшой городок в Новой Англии на протяжении последних сорока лет), чем героиней — строгой и властной учительницей Оливией, проведшей здесь всю свою жизнь. В некоторых из этих рассказов она выступает как главное действующее лицо, в других — как второстепенный или просто фоновый персонаж. Но в целом это многофигурное, тщательно выписанное художественное полотно оставляет впечатление именно классического романа. И получило дружное одобрение американской критики именно в этом качестве.

Кристофер Бакли *Прощаясь с мамой и папой.* Воспоминания / Пер. с англ. Людмилы Володарской. — М.: Колибри, 2011. — 240 с. — 4000 экз.

Сказать, что в этой книге язвительный сатирик Кристофер Бакли раскрывается как нежный лирик, было бы преувеличением. Но все-таки эта книга очень необычна. Потому что в ней описывается, как автор с интервалом менее чем в год теряет обоих родителей (которым перевалило за восемьдесят) и вдруг обнаруживает, что он, пятидесятипятилетний женатый мужчина, успешный и состоявшийся, — сирота. Его родители были людьми выдающимися (Уильям Бакли — влиятельнейший публицист, столп американского консерватизма, Патриция Бакли — светская львица, образец для подражания всех "вашингтонских жен"), но книга интересна в первую очередь не этим. А тем, что в ней с большим тактом и мягким, уместным юмором описывается — как вести себя в ситуациях, которые, увы, рано или поздно наступают в жизни каждого человека. Даже если на звонок от президента страны с выражением соболезнований ему рассчитывать не приходится.

Чак Паланик *Пигмей* / Пер. с англ. Никиты Красникова. — М.: АСТ; Астрель, 2010. — 315 с. — 8000 экз.

Свежий (2009 года) роман Чака Паланика выдержан в привычной для него жесткой, прямотаки жестокой, графической манере. Только на сей раз его черный юмор имеет отчетливый оруэлловский привкус: он замешан на мрачном фантастическом допущении и облачен в причудливые одежки нарочито исковерканного языка. Главный герой романа — 13-летний секретный агент из некоей тоталитарной страны, "синтезированной" автором из Северной Кореи и нацистской Германии. Накачанный антикапиталистической идеологией и боевыми искусствами, он вместе с сотней своих сотоварищей прибывает в США под видом школьников по обмену, а на самом деле — чтобы готовить теракт невиданного масштаба. Попав на жительство в типичную американскую семью Среднего Запада, агент Пигмей убеждается — уничтожать Америку нет необходимости: она давно уже уничтожила себя изнутри. Мысль не нова (во всяком случае, для поклонников Паланика), но на сей раз преподнесена в необычном виде. Да еще и в нарочито архаичной форме эпистолярного романа.

Келли Линк *Милые чудовища* / Пер. с англ. Ирины Копыловой, Элины Войцеховской, Анны Веденичевой. — М: Livebook, 2010. — 400 с. — 3000 экз.

К литературной вершине все равно с какой стороны подбираться — со стороны семейной саги, авантюрного романа или со стороны фэнтези. Именно этот последний путь выбрала для себя массачусетская писательница Келли Линк. Как и

две предыдущие ее книги, уже известные русскому читателю, это сборник рассказов. И как и раньше, автор перемешивает в этих десяти рассказах парадоксальные сюжетные ходы и чудесные допущения — разгова́ривающих покойников, волшебные шкафы, выдуманные страны — с сочно, весело выписанной американской реальностью. До самой вершины Келли Линк еще не добралась, но надежда на это явно имеется. Да, время есть: писательнице едва сравнялось сорок. Для настоящего прозаика — самое начало пути.

Андре Агасси *Откровенно.* Автобиография / Пер. с англ. Елены Милицкой. — М.: Юнайтед пресс, 2010. — 472 с. — 10000 экз.

Знаменитый теннисист очень рано определился с местом в жизни. Почему так и не окончил среднюю школу. Но в своей автобиографии предстает не только зрелым 40-летним мужчиной, трезво оценивающим экстравагантные и просто ошибочные поступки своей бурной и, что ни говори, изувеченной профессиональным спортом молодости, но и как изощренный писатель, способный к месту процитировать Гомера и, главное, умело выстроить драматургию своей толстой книги так, что она читается буквально "навылет" — если воспользоваться привычным Агасси термином. Конечно, заслуга в этом не столько сметливого дебютанта, сколько его многоопытного "играющего тренера" — пулитцеровского лауреата Джона Мёрингера, сумевшего четко организовать клокочущие монологи. Джон категорически отказался выносить свое имя на обложку ("Андре, это твоя история!"), но благодарный Андре раскрыл его роль в послесловии.

БиблиофИЛ

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Есть классический анекдот про цивилизованного белого человека, который пытается научить африканского аборигена правильной жизненной стратегии. “Вместо того чтобы лежать под пальмой и есть бананы, ты мог бы собрать эти бананы, арендовать корабль, отвезти их в Америку, продать, оплатить аренду, а часть прибыли оставить себе”. — “А зачем?” — “Чтобы собрать новую партию бананов, сразу заплатить за аренду корабля, отвезти их в Америку, продать и оставить себе уже больше прибыли”. — “А зачем?” — “Чтобы со временем из накопленных денег купить свой корабль, не платить за аренду и оставлять себе все больше и больше прибыли”. — “А зачем?” — “Чтобы со временем накопить столько денег, что можно было бы уже ничего не делать, лежать под пальмой и есть сколько хочешь бананов”. — “А я уже и так ничего не делаю, лежу под пальмой и ем сколько хочу бананов”.

Этот анекдот вспомнился мне при чтении “документального романа” **Барбары Кингсолвер** *Чудеса здоровой пищи* (пер. с англ. **Е. Топчий**. — СПб.: Амфора, 2010. — 408 с. — Серия “АМФОРА TRAVEL”); английское название — *Animal, Vegetable, Miracle*, то есть *Животное, овощ, чудо*. Рядовая американка, вынужденная переехать из Аризоны (где три года подряд свирепствовала засуха) в Южные Аппалачи (так называемую *зону ведения фермерского хозяйства*), решила поставить на себе (и на своей семье) смелый концептуальный эксперимент: целый год (от весны до весны) питаться только теми продуктами, которые выращены в этом регионе (и в первую очередь — на собственном участке).

Теоретических предпосылок было две. Первая — забота о собственном здоровье: ведь местные продукты заведомо более “натуральны”, чем продукты крупных аграрно-индустриальных корпораций, подвергающиеся на разных стадиях плохо контролируемой обработке. Вторая — забота об общем социальном благе: если питаться только тем, что вырастил сам или приобрел непосредственно у соседей-фермеров, можно существенно сократить затраты на транспорт, а следовательно — расходовать меньше бензина, а следовательно — уменьшить вред, наносимый окружающий среде и т. д.

Преимущества натурального хозяйства Барбара пропагандирует крайне эмоционально и убедительно, подробно описывая, как прекрасно возделывать свой участок, какую уникальную радость это доставляет и насколько вести собственное хозяйство приятнее, полезнее

и достойнее, нежели покупать в супермаркете фасованные товары с вредными химическими добавками. Повествование замечательно еще и тем, что это отчасти и поваренная книга: многие главы завершаются рецептами отдельных блюд (типа *лазанья из шпината, суп из бобов и зимней тыквы* или *фасольный крот*) и "сезонными" меню на целую неделю. При этом растительными рецептами Барбара вовсе не ограничивается: например, она умудряется готовить даже домашнюю моцареллу (причем за 30 минут).

Что же касается мясной еды, то на этот счет у автора особая философия. Главным, конечно, и здесь является показатель полезности, обусловленной натуральностью: питаться мясом своих животных (у Барбары это прежде всего домашняя птица) во всех отношениях лучше, чем готовить из замороженных полуфабрикатов — не говоря уже о гамбургерах. Однако это не единственный аргумент. Есть и "гуманистическое" обоснование: *Воротилы мясной и яичной промышленности в США принимают меры, чтобы в печать не просочились сведения о том, как они растят животных. Животные на предприятиях концентрированного откорма животных живут в ужасающем физиологическом напряжении. <...> А куры и индюшки на птицефабриках часто вообще всю свою жизнь не видят дневного света.* Барбара же весьма горда тем, что обеспечивает своим индейкам вполне достойные условия существования и даже учит их приносить потомство не в результате искусственного оплодотворения, а при помощи традиционного *старомодного секса*: ведь в их генетической памяти инстинкт естественного спаривания, как она обнаружила, уже практически утрачен. А завершается книга умилительной сценой — Барбара и ее дочь наблюдают за тем, как у их индюшки из яиц вылупляются птенцы: *Крошечный темный глазик... пушистая головка... комочек нежного пуха...* Конечно потом, когда он вырастет, придется отрубить ему голову, ощипать, приготовить и сьесть; но что поделаешь — так устроена природа, не мы это придумали. Тем более что расти цыпленочек будет на свежем воздухе, а не в мрачном и душном инкубаторе.

Не только эта сцена, но и книга в целом оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, подобное возвращение к естественной органике можно только приветствовать; с другой же — оно фактически ставит под сомнение всю капиталистическую систему с ее разделением труда, экономикой посредничества и развитой социально-технологической инфраструктурой. Ведь в итоге оказывается, что действительно проще и намного полезнее питаться "бананами со своей пальмы"; и пример этот не случаен — именно от собранных в дальних странах бананов Барбара отказывается, заменяя их в своем рационе местной ежевикой. Понятно, что перед нами прежде всего модный "тренд", однако можно увидеть в нем (с учетом все чаще возникающих глобальных экономических кризисов) и некий знак своего рода социальной "архаизации" — впрочем, пока лишь на уровне обыденного сознания.

Как другой пример особой специфики американского соз-

нания можно назвать книгу **Яна Гальперина** *Без маски. Майкл Джексон. Последние годы жизни* (пер. с англ. **А. И. Ахмеровой**. — М.: РИПОЛ классик, 2010. — 352 с.). Меня, честно говоря, всегда удивлял феномен этого исполнителя как иконы поп-культуры: я вырос на "Битлз", и популярность Майкла Джексона, на мой субъективный взгляд, — это показатель некой деградации этого культурного сегмента (причем особо меня смущает тот факт, что именно Майклом Джексоном были выкуплены авторские права на издание музыки "Битлз"). И отчасти с желанием разобраться в этом феномене я взял в руки документальное повествование о нем.

Однако увы: несмотря на то что герой книги — музыкант, какой-либо разговор о музыке здесь практически отсутствует. Книга целиком и полностью посвящена подробному разбору скандального судебного разбирательства, связанного с выяснением того, занимался ли Майкл Джексон на своем ранчо "Неверленд" совращением несовершеннолетних мальчиков или просто невинно спал с ними в одной постели, оставаясь по натуре своей так и не повзрослевшим маленьким ребенком. Обсуждается этот вопрос довольно подробно, что, на мой взгляд, фактически приводит к противоположным результатам: как раз само желание защитить детей от "аморальной" звезды становится, по сути, причиной их реального развращения. Публичные (пусть и сохраняющие анонимность) допросы о мельчайших деталях происходившего в спальне Джексона (включая выяснение анатомических подробностей), как мне представляется, должны были быть для психики его юных друзей-поклонников значительно более травматичными, чем то, что реально происходило (что бы там ни происходило). Приоритетный же интерес (на обложке книги стоит знак *New York Times бестселлер № 1*) именно к этой стороне биографии уже покойного певца вполне определенным образом характеризует уровень запросов читающей публики.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио "Свобода"

Timothy W. Ryback *Hitler's Private Library.* — Alfred A. Knopf, 2008

Вообще говоря, меня не интересует, какие книги читал Гитлер. Я думаю, что он из любой книги смог бы вычитать то, что соответствовало его низкой душе. Однако историк Тимоти Райбэк любопытно поворачивает тему "Гитлер-книгочей". Начать с того, что, по его версии, страсть к книгам с юности заменяла Гитлеру любовь к человеческим существам:

В ноябре 1915 года капрал 16-го Баварского резервного полка пришел в увольнительную во французский городок в двух милях от линии фронта. В отличие от других солдат, тративших деньги в борделе и винной лавке, Гитлер потратил 4 марки на книгу о культурных сокровищах Берлина. Он читал постоянно: в фермерских домах на постое, на привалах во время маршей, в траншее. Он ни с кем не дружил и почти ни с кем не общался, и единственным существом, к которому он явно привязался, был приблудный белый терьер, который беспрекословно его слушался. Приятель венской юности Гитлера, Август Кубизек, говорил про Гитлера: "Книги были его миром".

Человек, который больше известен тем, что демонстративно сжигал книги, был после выхода на историческую арену обладателем библиотеки в 16 тысяч томов. (Ее остатки хранятся в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.) И хорошо знакомый с этой гитлеровской библиотекой Тимоти Райбэк пытается реконструировать тот путь — от книги к книге, — на котором Гитлер создавал свой, так сказать, "психологический атлас мира".

Главное влияние на Гитлера Райбэк приписывает книге Ганса Гюнтера "Расовая типология немецкого народа". Этому автору в Германии дали прозвище Гюнтер Расист за фанатичное отношение к чистоте крови. Другим учителем был мюнхенский издатель Юлиус Фридрих Леман. Давно забытые авторы сотен изданных им книг и были, по мнению Райбэка, вдохновителями официально принятого и якобы "научно обоснованного биологического расизма" нацистов. Тимоти Райбэк считает, что весь комплекс идей и взглядов Гитлера строился, в общем, на вот этих доморощенных теориях, вычитанных им из дешевых тенденциозных брошюр и из книжек-

однодневок крикливых выскочек. Райбэк пишет:

Набор книг, изданных Леманом, составляет ядро книжной коллекции Гитлера и краеугольный камень не только интеллектуального мира самого Гитлера, но и всего идсологического фундамента его Третьего рейха.

Однако рецензент книги "Личная библиотека Гитлера", Джейкоб Хэйлбрун, в статье "Книгочей" напоминает нам о том, что у Гитлера было гораздо больше источников вдохновения и гораздо больше учителей:

Райбэк не отметил важного влияния на Гитлера изящного города Вены – этакого волшебного горшочка, в котором постоянно варилась не каша, как в сказке братьев Гримм, а, по словам австрийского историка Бригитты Хаман, "наваристая ненависть к евреям". В юности Гитлер восхищался мэром города – антисемитом Карлом Лугером – и пописывал в тамошние расистские газеты и листовки. Не упоминает Райбэк и то, что в тюрьме Ландсберг, куда Гитлер попал в 23-м году после провала "Пивного путча", он получал еженедельные наставления профессора политических наук Мюнхенского университета Карла Хаузгоффера, проповедника "лебенсраум" (то есть необходимости бóльшего жизненного пространства для немцев). Словом, идеи Гитлера были им вычитаны не только из дешевых книжонок. Они были популярны в буржуазных и даже в интеллектуальных кругах Германии и Австрии. Феномен Гитлера заключается в том, что он сумел объединить немецкий культурный национализм с политикой.

Еще в 20-х годах Гитлер составил список книг, которые "каждый национал-социалист должен знать". Среди них книга Генри Форда "Международный еврей" и "Сионизм как враг государства" Альфреда Розенберга. Словом, Гитлеру было из чего выбирать и у кого учиться.

В 1987 году в Нобелевской речи поэт Иосиф Бродский предложил (полушутя-полусерьезно) выбирать правителей, исходя из того, какие книги они читают. К сожалению, тут нельзя не вспомнить, что серийный убийца Генри Эббот, чьи литературные способности так ценил писатель Норман Мейлер, читал замечательные литературные и философские сочинения: Шопенгауэра и Гегеля, Кьеркегора и Ницше, Нильса Бора и Бертрана Рассела, Стендаля и Чивера, Сартра и Бубера. Многие американские преступники зачитывались книгой Сэлинджера "Над пропастью во ржи" – в том числе убийца Джона Леннона. В личной библиотеке Сталина было 20 000 томов...

Разумеется, сам по себе вкус к чтению не делает человека убийцей или тираном, но и гарантированного противоядия от злодейства из книг тоже не получается.

Jonathan Brent *Inside the Stalin Archives. Discovering the New Russia.* — Atlas & Company, 2008

Когда Борис Ельцин объявил об открытии секретных архивов КГБ и закрытых партийных архивов, историки, социологи, архивисты и журналисты всего мира ринулись в Москву. Бросились в архивы (вместе со специалистами) и простые советские граждане — как жертвы, так и палачи. Тысячи людей впервые читали ставшие доступными дневники, письма, протоколы допросов, доносы и партийные директивы. Среди иностранцев, успевших быстро отреагировать на открывшийся доступ к драгоценной информации, был Джонатан Брент — сотрудник издательства Йельского университета, готовившего сборник "Анналы коммунизма". Читаем в книге Брента "В сталинских архивах":

В абсолютной эйфории (достаточно наивной, как оказалось) я прилетел в Москву в январе 1992 года. Моей целью было получить ответы на вопросы, которыми задавались все западные специалисты по советской истории. А именно: было ли убийство Кирова делом рук одинокого убийцы или оно было совершено по приказу Сталина? действительно ли произошел разрыв в отношениях Сталина с Лениным? была ли компартия Соединенных Штатов вовлечена в советский шпионаж? какова была настоящая роль Советского Соза в Гражданской войне в Испании? почему Сталин не отреагировал на донесения разведчиков в канун немецкого вторжения в июне 1941 года? по чьей инициативе и под чьим контролем проходил Большой террор 36—38-го годов? как и почему произошла резня польских офицеров в Катыни? был ли голод 32—33-го годов на Украине и в других областях страны результатом неурожаев или это был политически мотивированный, санкционированный правительством геноцид?

Странно, что Брент не задается вопросом, не была ли трагедия 32—33-го годов на Украине и в Казахстане результатом глупости, непредусмотрительности и тупой жестокости. То есть не могло ли быть, что приказ о конфискации продуктов был спущен сверху без всякой даже мысли о том, что из этого может выйти: "Нам, мол, сейчас важно спасти от голода города, а на Украине, в Казахстане или где там еще — хоть трава не расти..." Кстати сказать, именно в книге Брента приводится характерный в этом смысле пример — меморандум главного сталинского прокурора времен Большого террора Андрея Вышинского, выпущенный им в 1938 году после инспекционной поездки по ГУЛАГу.

Заключенные, говорится в Меморандуме, доведены там до того, что совершенно потеряли человеческий облик. Кто-то — очевидный враг — добивается того, чтобы эти люди умирали или по дороге в лагеря, или по прибытии туда.

Меморандум Вышинского — классическая сталинистская реакция: в каждом провале системы винить саботажников.

По моему мнению, Вышинский (больше, чем кто-либо другой из подручных Сталина) заслужил смерть на виселице, а не в собственной постели. Но и он, я думаю, не имел в виду сознательно обрекать своих подсудимых на то существование, свидетелем которого стал во время инспекционной поездки по лагерям. Он ведь и сам мог туда попасть. Другое дело, что он не мог и остановить шабаш садизма, вызванный к жизни его собственной трактовкой юриспруденции. Поэтому возможно, что он написал меморандум с единственной целью: хоть как-то прикрыть свой тыл — на всякий случай.

Согласны мы или нет с формулировками вопросов Брента, его работа в России в начале 90-х годов имела огромное значение для заполнения белых пятен в советской истории. И Брент первым особо подчеркнул в своей книге, что эта задача не могла быть выполнена, если бы не честная, мужественная и неустанная работа и помощь российских архивистов и историков. Тем не менее получить ответы на заданные американскими историками вопросы оказалось труднее, чем Брент ожидал.

Несмотря на то, что в одном только Центральном партийном архиве 250 миллионов документов, лишь горстка этих документов содержит бесспорные доказательства тех или иных действий советского правительства — доказательства, которые в Америке называют "дымящимся пистолетом". Теперь стало очевидно, что советские лидеры никогда не оставляли в письменном виде самые судьбоносные решения на высшем уровне и самые важные приказы. Они всегда были устными. А те, что остались, уничтожены. В связи с этим возник новый, более общий вопрос: каков был механизм, которым оперировала советская система в целом?

Другим разочарованием для Брента была замеченная им готовность (чтобы не сказать, тенденция) правительства новой России вернуться к такой патриотической интерпретации русской и советской истории, которая не останавливается перед явными искажениями этой истории. Брент пересказывает случай с немолодым, уважаемым русским историком, опубликовавшим работу, в которой говорилось, что советская армия оккупировала Литву еще до вторжения Гитлера в Советский Союз в 1941 году. Историк немедленно получил предупреждение, что если он будет повторять свою версию, то и он, и его дочь лишатся квартиры и работы. "Возвращаются 70-е годы, — сказал историк. — Ничего не попишешь".

Но больше всего удручает и поражает Уильяма Брента в России феномен Сталина.

Через два дня после похорон Сталина Илья Эренбург в конце

торжественного некролога написал слова: "Сталин жив!" Кажется, его слова оказались пророческими. Сейчас, через полвека, когда всему миру известна цепь невообразимых преступлений Сталина и он признан главным убийцей XX века, его место в жизни России остается загадочным. Когда я спросил офицера ФСБ, возможна ли в России реабилитация Сталина, он посмотрел на меня с ужасом: "Абсолютно невозможна, – сказал он. – Это все равно что реабилитировать Гитлера". Однако авторы множества книг, опубликованных в России, находят немало причин для прославления Сталина. Его портрет можно увидеть на коробках конфет в магазинах аэропорта Шереметьево. Можно ли себе представить, чтобы в аэропорту Мюнхена или Берлина продавали конфеты с изображением Гитлера?

Я так хорошо представляю себе людей, готовых сегодня к постепенной реабилитации Сталина. Это те, кто хочет не любить Россию, а гордиться ею, кто хочет трудиться не над ее выздоровлением, а над восстановлением ее имиджа сверхдержавы. Словом, те, для кого важнее не *быть*, а *казаться*.

Но пока дело историков – собирать факты. Йельский университет уже выпустил первые 25 томов своего грандиозного проекта "Анналы коммунизма", включая недавно найденные стенограммы тридцати собраний Политбюро 30–40-х годов. Сейчас американские историки работают над архивами Сталина. Так что продолжение следует...

JOHN CAREY *William Golding. The Man Who Wrote "Lord of the Flies": A Life.* – Free Press, 2010, 573 p.

Несколько английских школьников по стечению обстоятельств надолго оказываются на необитаемом острове, без взрослых. Через некоторое время они изгоняют или подавляют тех, кем руководит здравый смысл и совесть, и превращаются из группы цивилизованных подростков в дикарей, которыми правят законы джунглей. Этот сюжет придуман писателем Уильямом Голдингом в романе 1954 года. "Повелитель мух" и превращен в аллегорию такой художественной силы, что роман сделался всемирным бестселлером, а его автор был удостоен Нобелевской премии. Однако через пятнадцать лет после публикации "Повелителя мух" Голдинг, тогда уже автор трех романов, признавался другу:

Меня бесит успех этого романа: он означает, что моя репутация держится на незначительной вещице, что моя слава – шутка, и все полученные мною деньги – выигрыш в игре "Монополия". Я их не заработал.

Это письмо приведено в книге "Уильям Голдинг. Человек, написавший 'Повелителя мух', которая является первой биографией писателя, умершего в 1993 году. Автор биографии – один из лучших литературных критиков Англии Джон Кэри – характеризует Голдинга, как писателя, больше инте-

ресовавшегося идеями, чем людьми. В отличие от него, сам биограф Кэри создает в своей книге поразительно живой и странный образ писателя, шокирующий контрастами и противоречиями характера:

Голдинг был сверхчувствительным, робким, одиноким и боязливым мальчиком. У него были холодные отношения с родителями и с братом, и не было друзей... Когда он стал подростком, его отчужденность вылилась в классовую ненависть. Отец, малоимущий интеллектуал, преподавал в средней школе для бедных, которая, к несчастью, находилась близко от элитарной частной школы "Marlborough College". Рядом с ее богатыми, чистыми учениками Уильям чувствовал себя "грязным и пристыженным". "Моей глубочайшей подсознательной мечтой, — писал он, — было высмеять мальборских, да еще и помочиться на них". Писательство Голдинга, в каком-то смысле, стало его мщением.

Классовое чувство не покидало Уильяма и в Оксфорде, где он был (по кодовому определению профессоров) "не с верхней полки", то есть не блистал талантами, и "не вполне Джи" — не вполне джентльмен. Сам же Голдинг писал, что он часто грезил, как пробирается в Итон — самый престижный колледж Англии — с тоннами взрывчатки "и с тем взрывательным устройством, которое срабатывает от движения руки и дает почувствовать себя Иеговой".

Голдинг мастерски описывал унижение, но не скрывал и своих темнейших импульсов — подавленной тяги к жестокости. Он писал: "Я всегда понимал нацистов: я сам таков по натуре". Его "Повелитель мух" продиктован отчасти знанием собственной натуры: когда один из мальчиков говорит своим товарищам: "Мы не дикари, мы англичане!", вы слышите за этой строчкой издевательский смех Голдинга.

Тем не менее Голдинг потому и получил Нобелевскую премию, что и роман "Повелитель мух", и остальные его романы не оставляют сомнения в том, где добро и где зло.

Знакомый мир, понятный и охраняемый законами, ускользал прочь... Ральф плакал... плакал о потерянной невинности, о темной глубине человеческого сердца и об исчезновении настоящего, мудрого друга по имени Хрюшка, который всегда придумывал что-нибудь осмысленное.

Самоосознание Голдинга было скорее преувеличенным самообвинением — продуктом чувствительной совести. В жизни Уильям Голдинг мухи не обидел. И биограф Кэри с замечательным юмором и с искренним сочувствием описывает невероятные контрасты этой странной личности:

Во время Второй мировой войны Голдинг был отважным командиром одного из небольших катеров с ракетными установками, которые в день высадки в Норман-

дии обстреливали навесным огнем прибрежные немецкие укрепления. При этом однажды, по рассеянности, он чуть сам себя не взорвал. Голдинг был человеком, постоянно попадавшим впросак, человеком, у которого все валилось из рук, человеком, который всегда о чем-то горевал. Он был помесью современного Иова с экзистенциальным Чарли Брауном [героем детских американских мультиков. — *М. Е.*] и с вечными страдальцами из рассказов Бернарда Маламуда и Иэна Макьюэна.

Голдинг боялся высоты, уколов, насекомых и пресмыкающихся, боялся оставаться один в темноте. Он был профессиональным моряком, но абсолютно не ориентировался в пространстве. В автомобиле он мог потеряться в нескольких километрах от дома. Он часто разбивал голову о притолоки, прищемлял себя дверьми и натыкался на тяжелые предметы. Все его начинания были обречены на провал: он развёл у себя в пруду золотых рыбок, но их съели цапли. Он развел красивое водяное растение, но оно затянуло весь пруд, и Голдинг месяцами его выводил, боясь, что станет виновником заболачивания Ла-Манша.

Многие приключения Уильяма Голдинга случались с ним в состоянии опьянения, которое было его если не постоянным, то частым состоянием: в гостях, например, он иногда садился мимо стула. Он ходил враскачку, что одни называли моряцкой походкой, а другие — походкой завсегдатая баров. После обеда у писателя Синклера он сломал фанерное изображение Боба Дилана: он шел по темному саду, и ему показалось, что на него движется сам Сатана. Голдинг атаковал его, победил и закопал в глухом углу сада.

Два фактора были абсолютно стабильными в жизни Голдинга: его брак с Энн Брукфилд, с которой они были женаты 54 года (до самой его смерти), и его творчество. И биограф Джон Кэри дает творчеству Голдинга высочайшую оценку — не только "Повелителю мух", но и остальным вещам, особенно роману 1955 года "Наследники" и роману 1956 года "Воришка Мартин":

Его величие как романиста — в его способности войти в некую "марсианскую" систему координат — показать знакомые вещи с абсолютно незнакомой точки зрения.

Интересное определение таланта Голдинга дал писатель Энтони Бёрджес (автор "Механического апельсина"), назвав его "очень глубоким и очень узким". Но Голдинг сам был своим наиболее безжалостным критиком: "Я опускаюсь по спирали в положение писателя, высоко оцененного, но не читаемого", — писал он в 60-х годах, за 20 лет до получения Нобелевской премии. И это отчасти верно. Если не считать "Повелителя мух", его странные, зачарованные, трудные романы почти никто сейчас не читает. Но есть надежда, что восхитительная биография Джона Кэри вернет Голдингу внимание читателей.

Американская литература на страницах "ИЛ" 1992—2010

1992

Киттредж Уильям, Краузер Стивен М. — *Великий американский детектив.* Перевод Л. Ермаковой [11—12]

Мессик Хэнк, Голдблат Берт — *Бандитизм и мафия. История организованной преступности в Америке.* Перевод К. Старосельской [11—12]

Тэрбер Джеймс — *Тайна убийства в "Макбете".* Рассказ. Перевод А. Ливерганта [11—12]

1993

Фицджеральд Ф. Скотт — *Вечер на ярмарке.* Рассказ. Перевод И. Багрова. Вступление А. Зверева [1]

Мейсон Бобби Энн — *Там и здесь.* Роман. Перевод М. Д. Литвиновой и М. А. Литвиновой. Послесловие Л. Лазарева [2, 3]

Вулф Наоми — *Миф о красоте. Как представления о красоте используются против женщин.* Главы из книги. Перевод О. Басинской [3]

Джонг Эрика — *Стихи.* Перевод А. Шараповой [3]

Моррисон Джеймс Дуглас — *Стихотворения.* Перевод М. Миронова, А. Кудрявицкого. Вступление Михаила Миронова [4]

Апдайк Джон — *Два рассказа.* Перевод И. Бернштейн [5]

Лейтон Лорин — *Два мира – одно искусство.* Перевод И. Тогоевой. Комментарии В. Голышева, И. Бернштейн, В. Харитонова [6]

Грациа Эдвард де — *Девушки оголяют колени везде и всюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения.* Главы из книги. Перевод О. Алякринского [7, 11]

Солсбери Гаррисон — *Новые императоры.* Главы из книги. Перевод О. Басинской, И. Прохоровой, Г. Чхартишвили [8]

Зингер Исаак Башевис — *Поклонница.* Рассказ. Перевод Дмитрия Веденяпина [12]

Капоте Трумэн — *Другие голоса, другие комнаты.* Роман. Перевод В. Голышева [12]

1994

Гинзберг Аллен — *Стихи из сборника "Падение Америки".* Перевод Андрея Сергеева [3]

Моррисон Джеймс Дуглас — *Стихи.* Перевод Г. Дашевского [3]

Дикинсон Эмили — *Три стихотворения.* Переводы. Вступление А. Зверева [5]

Моррис Мэри — *Отдых в складчину.* Рассказ. Перевод Татьяны Ивановой [5]

Моррисон Тони — *Нобелевская лекция 1993.* Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [7]

Бойл Т. Корагессан — *Восток есть Восток.* Роман. Перевод Г. Чхартишвили, Л. Мотылева, И. Бернштейн. Вступление Г. Чхартишвили [8]

Каплан Д., Дабро А. — *Якудза.* Главы из книги. Перевод Е. Богатыренко [8]

Каммингс Э. Э. — *Баллада об интеллектуале.* Перевод и вступление Андрея Сергеева [11]

Лакс Эрик — *Вуди Аллен.* Главы из книги. Перевод А. Казанской [11]

Моррисон Тони — *Возлюбленная.* Роман. Перевод И. Тогоевой [12]

1995

Апдайк Джон — *Писатель-библиотекарь.* Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [1]

Браун Норман О. — *Дионис в 1990 году.* Перевод Н. Кигай [1]

Стайнер Джордж — *Тигры в зеркале.* Перевод Бориса Дубина [1]

Лайтман Алан — *Сны Эйнштейна.* Перевод В. Харитонова. Послесловие Александра Гениса [3]

Форман Милош при участии Яна Новака — *Круговорот.* Воспоминания. Перевод Елены Богатыренко [4, 5]

Сэлинджер Дж. Д. — *Раз в неделю – тебя не убудет.* Рассказ. Перевод И. Бернштейн [5]

Апдайк Джон — *Игра с динамитом.* Рассказ. Перевод И. Бернштейн [7]

Миллер Генри — *Дьеп – Ньюхейвен.* Рассказ. Перевод А. Ливерганта [7]

Бойл Т. Корагессан — *Рассказы.* Перевод Г. Чхартишвили и Л. Мотылева [8]

Буковски Чарльз — *Рассказы.* Перевод Виктора Голышева, Василия Голышева, Виктора Когана [8]

1996

Буковски Чарльз — *Макулатура.* Роман. Перевод В. Голышева [1]

Гинзберг Аллен — *Из новой книги стихов "Призывы гражданина мира".* Перевод А. Сергеева [2]

Пинчон Томас — *Энтропия.* Рассказ. Перевод С. Кузнецова [3]

Пинчон Томас — *К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе...* Эссе. Перевод С. Силаковой [3]

Кеннеди Уильям — *Железный бурьян.* Роман. Перевод В. Голышева [4]

Сонтаг Сьюзен — *"Думать наперекор себе".* Размышления о Чоране. Перевод Бориса Дубина [4]

Бойл Джеймс Дж. — *Секты-убийцы.* Главы из книги. Перевод Н. Усовой и Е. Богатыренко [7, 8]

Апдайк Джон — *Польские метаморфозы.* Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [8]

О'Брайен Тим — *На Лесном озере.* Роман. Перевод Л. Ю. Мотылева [8]

Тан Эми — *Клуб радости и удачи.* Роман. Перевод Э. Савоскул [9]

Алекси Шерман — *Феникс, что в Аризоне.* Рассказ. Перевод И. Бернштейн [10]

Апдайк Джон — *Джордж и Вивиан.* Рассказ. Перевод А. Ливерганта [10]

Басс Рик — *Пожары.* Рассказ. Перевод М. Кан [10]

Маккарти Кормак — *Кони, кони...* Роман. Перевод и вступление Сергея Белова [10]

Остер Пол — *Зачем писать?* Эссе. Перевод В. Сонькина и А. Борисенко [10]

Симик Чарльз — *Стихи. Эссе.* Перевод стихов А. Кудрявицкого, эссе — А. Борисенко и В. Сонькина. Вступление А. Кудрявицкого [10]

Стрэнд Марк — *Стихи.* Перевод И. Мизрахи и А. Кудрявицкого. Вступление Иосифа Бродского в переводе Елены Касаткиной [10]

Теру Пол — *Уроки поэзии.* Рассказ. Перевод И. Янской [10]

Лакёр Уолтер — *Истоки.* Перевод С. Белова [11]

1997

Бартелми Доналд — *Восстание индейцев и другие рассказы.* Перевод Алексея Зверева [2]

Гасс Уильям — *Мальчишка Педерсенов.* Повесть. Перевод В. Голышева [2]

Донливи Дж. П. — *Самый сумрачный сезон Сэмюэла С.* Повесть. Перевод Н. Васильковской [2]

Оутс Джойс Кэрол — *Черная вода.* Повесть. Перевод В. Бернацкой [3]

Мейлер Норман — *Портрет Пикассо в юности.* Версия биографии. Главы из книги. Перевод А. Богдановского [3, 4]

Сонтаг Сьюзен — *На пути к Арто.* Перевод Бориса Дубина [4]

Беллоу Сол — *Рукописи Гонзаги. Оставить голубой дом.* Рассказы. Перевод Л. Беспаловой [5]

Остер Пол — *Стеклянный город.* Повесть. Из книги "Красная тетрадь". Перевод и послесловие А. Ливерганта [6]

Зингер Исаак Башевис — *Жертва.* Рассказ. Перевод Л. Мотылева [7]

Пейли Грейс — *Интерес в этой жизни.* Рассказ. Перевод М. Кан [7]

Эйджи Джоэл — *Эрос на море.* Перевод В. Бабкова [7]

Каннингем Майкл — *Дом на краю света.* Роман. Перевод и вступление Дмитрия Веденяпина [8, 9]

Косинский Ежи — *Садовник.* Повесть. Перевод и послесловие И. Кормильцева [10]

Симик Чарльз — *Стихи.* Перевод А. Кудрявицкого и И. Мизрахи [10]

Ислер Алан — *Принц Вест-Эндский.* Роман. Перевод В. Голышева [11]

Из сборника "Лучшие американские эссе 1996 года". Джозеф Эпстайн *Искусство вздремнуть.* Уильям Стайрон *Дурная болезнь.* Перевод А. Борисенко и В. Сонькина [12]

Стоктон Фрэнк Ричард — *Невеста или тигр?* Рассказ. Перевод и вступление В. Рогова [12]

1998

Хеллер Джозеф — *Вообрази себе картину.* Роман. Перевод Сергея Ильина [2]

Яновиц Тама — *Рабы Нью-Йорка. Спички.* Рассказы. Перевод Веры Пророковой [3]

Беллоу Сол — *Между небом и землей.* Роман. Перевод Е. Суриц [4]

Андерсон Джек — *Изумление Ноя.* Стихи. Перевод И. Мизрахи [5]

Апдайк Джон — *Чтоб камни сделались хлебами. Норман Мейлер и искушения Христа.* Перевод Ольги Варшавер [5]

Мейлер Норман — *Евангелие от Сына Божия.* Главы из романа. Перевод О. Варшавер [5]

Блум Эми — *Рассказы.* Перевод и вступление О. Варшавер [6]

Мосс Сильвия — *Стихи из книги "Удаляющиеся города".* Перевод и вступление Изабеллы Мизрахи [6]

Оулдс Шэрон — *Стихи из книги "Умершие и живые".* Перевод Елены Печерской. Вступление Анатолия Кудрявицкого [7]

Мейлер Норман — *Портрет Пикассо в юности.* Версия биографии. Главы из книги. Перевод А. Богдановского [8]

Вулф Тобиас — *Рассказы.* Перевод В. Бернацкой [10]

Стивенс Уоллес — *Стихи.* Перевод Григория Кружкова. Вступление Александра Гениса [10]

Блум Харольд — *Шекспир как центр канона.* Глава из книги "Западный канон". Перевод Т. Казавчинской [12]

1999

Бартелми Доналд — *В музее Толстого.* Рассказ. Перевод С. Белова [1]

О'Нил Юджин — *Стихи.* Перевод В. Рогова [1]

Сонтаг Сьюзен — *Сцена письма.* Рассказ. Перевод М. Гальпериной [1]

Беллоу Сол — *На память обо мне.* Рассказ. Перевод Л. Беспаловой [2]

Конинг Ханс — *Заметки о XX веке.* Перевод Н. Калошиной. Под редакцией О. Варшавер [2]

Лезер Ларри — *Битва под Москвой. Декабрь 1941-го.* Перевод А. Соколинской [2]

Лондон Джек — *Из военной корреспонденции.* Перевод А. Борисенко и В. Сонькина [2]

По Эдгар Аллан — *Из "Маргиналий"* (ноябрь 1844 — июль 1849). Перевод Л. Мотылева [3]

Батлер Роберт Олен — *Три рассказа из книги "Таблоидные фантазии".* Перевод М. Гальпериной [4]

Барт Джон — *Конец пути.* Роман. Перевод и послесловие В. Михайлина [5]

Беллоу Сол — *Литературные заметки о Хрущеве.* Перевод Людмилы Мотылевой [6]

Копкинд Эндрю — *Стать взрослым в эру Водолея.* Перевод С. Силаковой [6]

Хасс Роберт — *Стихи из книги "Солнце сквозь лес".* Перевод и вступление Глеба Шульпякова [6]

Андерсон Шервуд — *Творчество Гертруды Стайн.* Перевод А. Борисенко и В. Сонькина [7]

Меллоу Джеймс Р. — *Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания.* Главы из книги. Перевод А. Борисенко и В. Сонькина [7]

Пирпонт Клодия Рот — *Мать утраты смыслов. Гертруда Стайн как первооткрывательница литературного модернизма.* Перевод В. Михайлина [7]

Стайн Гертруда — *Париж Франция.* Фрагменты книги. Перевод Т. Казавчинской [7]

Стайн Гертруда — *Тихая Лена.* Повесть. Перевод В. Михайлина [7]

Апдайк Джон — *Бек и щедроты шведов.* Рассказ. Перевод И. Бернштейн [9]

Хелман Лиллиан — *Сырой материал.* Мемуары. Главы из книги. Перевод М. Кан [9]

Из книги "Лучшие американские стихи 1998 года". Перевод и вступление Г. Кружкова [11]

Бакли Кристофер — *Здесь курят.* Роман. Перевод Сергея Ильина [11, 12]

2000

Маккалерс Карсон — *Кто увидел ветер.* Рассказ. Перевод М. Кан. Послесловие А. Зверева [1]

Сонтаг Сьюзен — *Вот так мы теперь живем.* Рассказ. Перевод М. Гальпериной [2]

Хемингуэй Эрнест — *Кредо человека.* Перевод В. Стоянова [2]

Теру Пол — *Моя другая жизнь.* Фрагменты книги. Перевод Ольги Варшавер, Сергея Белова [3]

Буковски Чарльз — *Стихи.* Перевод Г. Агафонова, К. Медведева. Вступление К. Медведева [5]

Рив Франклин — *Роберт Фрост в России.* Перевод Людмилы Мотылевой [5]

Форд Ричард — *Рассказы.* Перевод Л. Беспаловой [6]

Стайнер Джордж — *Великая Еппи.* Перевод А. Ливерганта [8]

Каннингем Майкл — *Часы.* Роман. Перевод и вступление Дмитрия Веденяпина [9]

Гассоу Мел — *Из книги "Беседы со Стоппардом".* Перевод И. Кормильцева [12]

2001

Аллен Вуди — *Рассказы.* Перевод Олега Дормана [1]

Сакс Оливер — *Случаи из практики.* Перевод Р. Шапиро, В. Кулагиной-Ярцевой [3]

Мейлер Норман — *Крутые парни не танцуют.* Роман. Перевод В. Бабкова [3, 4]

Уоррен Роберт Пенн — *Цирк на чердаке.* Повесть и рассказы. Переводы. Вступление А. Зверева [5]

О. Генри — *Искатели риска.* Рассказ. Перевод Е. Суриц [7]

Сондерс Джордж — *Рассказы.* Перевод и вступление С. Силаковой [7]

Остер Пол — *Тимбукту.* Роман. Перевод Ильи Кормильцева [8]

Уильямс Ч. К. — *Стихи.* Перевод Дмитрия Веденяпина [12]

2002

О'Каллахан Джули — *Стихи.* Перевод и вступление А. Кудрявицкого [1]

Теру Пол — *Коулун Тонг.* Роман. Перевод и послесловие С. Силаковой [4]

Чжэнь Гиш — *Это я – ирландка?* Рассказ. Перевод А. Власовой [5]

Смит Уильям Джей — *"Недвижное средоточие".* Стихи и эссе. Перевод Г. Кружкова [10]

Проуз Франсин — *Голубой ангел.* Роман. Перевод В. Пророковой [11, 12]

2003

Али Ага Шахид — *Стихи.* Вступление и перевод А. Нестерова и И. Ковалевой [1]

Альварес Хулия — *Йо!* Главы из романа. Перевод и вступление С. Силаковой [1]

Диас Хунот — *Рассказы.* Перевод В. Козлова [1]

Дэвис Питер Хо — *Загробная жизнь.* Рассказ. Перевод А. Соколинской [1]

Кинкейд Джамейка — *Люси.* Повесть. Перевод Инны Стам [1]

Лахири Джампа — *Рассказы.* Перевод М. Салганик [1]

Ли Джоан Фон Джин — *Азиатоамериканцы рассказывают о себе.* Фрагменты книги [1]

Ривера Томас — *Саламандры.* Рассказ. Перевод С. Силаковой [1]

Саид Эдвард — *Мысли об изгнании.* Перевод С. Силаковой [1]

Симик Чарльз — *Стихи из сборника "Ночной пикник".* Перевод Дмитрия Веденяпина [1]

Фернандес Роберто — *Рассказы.* Перевод С. Силаковой [1]

Ха Цзинь — *Рассказы.* Перевод А. Смирновой [1]

Хемон Александр — *Слепой Йозеф Пронек.* Рассказ. Перевод А. Ильинского [1]

Хоффман Эва — *Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке.* Перевод А. Борисенко [1]

Роуз Филлис — *Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс.* Фрагменты книги "Сравнительные жизнеописания". Перевод А. Бураковской [3]

Зингер Исаак Башевис — *Рассказы.* Перевод Д. Веденяпина [5]

Апдайк Джон — *Памяти Р. К. Нарайана.* Два эссе о творчестве Нарайана. Перевод и вступление Н. Демуровой [7]

Апдайк Джон — *Многообразие религиозного опыта.* Рассказ. Перевод И. Бернштейн [8]

Сонтаг Сьюзен — *Болезнь как метафора.* Перевод Марка Дадяна [8]

Ливайн Сьюзен Джилл — *Читая Мануэля Пуига: взгляд биографа.* Перевод Антона Ильинского [10]

Делилло Дон — *Мао II.* Роман. Перевод С. Силаковой [11, 12]

2004

Фаст Говард — *Книгоноша.* Рассказ. Перевод М. Лорие. Послесловие И. Бернштейн [1]

Проуз Франсин — *Жизнь муз.* Главы из книги. Перевод Сергея Нещеретова [3]

Гаррисон Джим — *Повести.* Перевод Виктора Голышева [4]

Глик Луиза — *Стихи.* Переводы В. Черешни, И. Мизрахи, Г. Стариковского, А. Нестерова [4]

Даген Алан — *Стихи.* Переводы Дмитрия Веденяпина и Антона Нестерова. Алан Даген *Вместо послесловия.* Из интервью разных лет. Составление и перевод С. Силаковой [4]

Коновер Тед — *Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг".* Перевод Антона Ильинского [4]

Маркус Бен — *Женская пантомима.* Рассказ. Перевод Вадима Михайлина. Бен Маркус. *"Я хочу испробовать*

альтернативные варианты..." Перевод С. Силаковой [4]

Менанд Луис — "*Я стараюсь писать занимательно...*" Из интервью. Перевод С. Силаковой [4]

Рот Филип — *Людское клеймо.* Роман. Перевод Л. Мотылева [4, 5]

Чейбон Майкл — *На прибрежной полосе.* Рассказ. Перевод Олеси Качановой. Майкл Чейбон. "*И родился сюжет...*" Фрагменты интервью. Перевод С. Силаковой [4]

Аллен Вуди — *Риверсайд-драйв.* Пьеса. Перевод Олега Дормана [7]

Вулф Томас — *О времени и о реке.* Главы из романа. Перевод и вступление В. Бабкова [7]

Делилло Дон — *На руинах будущего.* Перевод Елены Зиминой [9]

Симик Чарльз — *Летопись страха.* Перевод Антона Нестерова [9]

Доктороу Э. Л. — *Дом на равнине.* Рассказ. Перевод Ольги Федосеевой [10]

Кляйнзалер Август — *Нет поля для игры, или Мир как кондоминиум по-американски.* Перевод Антона Нестерова [10]

Сонтаг Сьюзен — *Роман Гомбровича "Фердыдурке".* Перевод Бориса Дубина [12]

2005

Апдайк Джон — *Рассказы.* Перевод Ю. Жуковой [1]

Грин Джо — *Стихи.* Перевод и вступление А. Нестерова [1]

Роббинс Том — *Вилла "Инкогнито".* Роман. Перевод В. Пророковой [1]

Остер Пол — *Искусство жить.* Перевод Сергея Таска [3]

Карвер Раймонд — *Стихи.* Перевод Максима Калинина [7]

Моррисон Тони — *Любовь.* Роман. Перевод В. Бошняка [9]

Зингер Исаак Башевис — *Начало.* Из сборника *Любовь и изгнание.* Перевод Дмитрия Веденяпина [10]

Миллер Артур — *Голая правда.* Рассказ. Перевод Дмитрия Веденяпина [10]

Капоте Трумэн — *Три рассказа.* Перевод В. Голышева, О. Качановой [10]

Беллоу Сол — *Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном.* Перевод Марии Штейнман [12]

Лелчук Алан — *Памяти Сола Беллоу.* Перевод Е. С. [12]

2006

Апдайк Джон — *Оз – это о нас.* Перевод Ю. Жуковой [1]

Ле Гуин Урсула К. — *Ребенок и Тень.* Перевод О. Исаевой [1]

Миллхаузер Стивен — *Король среди ветвей.* Повесть. Перевод Сергея Ильина [1]

Шепард Сэм — *Рассказы.* Перевод Т. Табачковой [2]

Краусс Николь — *История любви.* Роман. Перевод Е. Левенсон [3]

Крили Роберт — *Стихи.* Переводы. Вступление Антона Нестерова [4]

Пинтер Гарольд — *Былые времена.* Пьеса. Перевод и вступление А. Ливерганта [5]

Бакли Кристофер — *Флоренс Аравийская.* Роман. Перевод Андрея Геласимова [5—6]

Тейлор Баярд — *Путешествие в Грецию и Россию, а также поездка на Крит.* Главы из книги. Перевод и вступление Галины Лапиной [6]

Эшбери Джон — *Стихи.* Переводы. Вступление А. Нестерова [10]

2007

Леонард Элмор — *Огонь в норе.* Повесть. Перевод В. Голышева [1]

Уайнбергер Элиот — *Следы кармы.* Перевод и вступление Аркадия Драгомощенко [1]

Хелман Лиллиан — *Джулия.* Повесть. Перевод Л. Беспаловой [2]

Донливи Дж. П. — *Леди, любившая чистые туалеты.* Повесть. Перевод С. Ильина [4]

Гаррисон Джим — *Человек который отказался от имени.* Повесть. Перевод В. Голышева [5]

Гасс Уильям Хауард — *Роберт Вальзер.* Перевод Бориса Дубина [7]

Сонтаг Сьюзен — *Голос Вальзера.* Перевод Бориса Дубина [7]

Уайт Белли — *Мама делает выбор, или Какие опасности подстерегают вас на Юге.* Главы из книги. Перевод и вступление Юлии Степаненко [7]

Современная американская поэзия. Антология. Переводы. Вступление Е. Бунимовича [9]

Карвер Раймонд — *Рассказы.* Переводы Г. Дашевского, А. Нестерова [10]

Перротет Тони — *Семя Геракла.* Перевод В. Голышева [10]

Шерр Барри П. — *Языковые игры орлов: Уитмен в переводах Чуковского и Бальмонта* [10]

Давенпорт Гай — *Три эссе: О. Генри, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн.* Перевод А. Власовой, Д. Воеводы [11]

Коннел Эван С. — *Затерявшийся в Индиях.* Рассказ. Перевод Е. Домбаян [12]

Сонтаг Сьюзен — *Писатель и путешествия.* Эссе. Перевод Ю. Муравьевой [12]

Теру Пол — *Эссе.* Предисловие к сборнику *Все четыре стороны*. Перевод С. Силаковой [12]

Эггерс Дейв — *Другой.* Рассказ. Перевод С. Силаковой [12]

2008

Сташауэр Дэниел — *Рассказчик: Жизнь Артура Конан Дойла.* Фрагменты книги. Перевод И. Бернштейн и Э. Драйтовой [1]

Чейбон Майкл — *"Игра началась!"* Перевод Германа Власова [1]

Макбрайд Шон — *Зелень. Трава. Благодать.* Роман. Перевод Никиты Михайлина [3, 4]

Стивенс Уоллес — *Стихи.* Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [5]

Чандлер Роберт — *"Очуждать или осваивать": по следам переводческого семинара.* Перевод Ю. Клименовой. Под редакцией А. Борисенко [6]

Воннегут Курт — *Два рассказа.* Перевод А. Перекреста [7]

Воннегут Курт — *Человек без страны.* Фрагменты книги. Перевод А. Парра [7]

Алекси Шерман — *И залог твой я выкуплю.* Перевод Василия Арканова [8]

Бойл Т. Корагессан — *Клык и коготь.* Новелла. Перевод Юлии Степаненко [8]

Д'Амброзио Чарльз — *Игра в кость.* Новелла. Перевод Василия Арканова [8]

Кент Майкл — *Юность пианиста.* Новелла. Перевод А. Нестерова [8]

Рассо Ричард — *Чем дальше...* Новелла. Перевод Инны Стам [8]

Шиклер Дэвид — *Ямайка.* Новелла. Перевод Ольги Новицкой [8]

Эггерс Дэйв — *Как мы чувствуем голод.* Новелла. Перевод Светланы Силаковой [8]

Лури Элисон — *Поттериана.* Перевод Германа Власова [12]

Маккарти Кормак — *Дорога.* Роман. Перевод и послесловие Юлии Степаненко [12]

2009

Апдайк Джон — *Сияющая ложь.* Эссе. Перевод Антона Нестерова [1]

Доктороу Э. Л. — *Марш.* Роман. Перевод В. Бошняка [1—2]

Ожерелье стихов: из двух американских антологий. Перевод и вступление Г. Кружкова [2]

Воллманн Уильям Т. — *Последний фельдмаршал.* Фрагменты романа. "Европа-узловая". Перевод и вступление А. Нестерова [5]

Литтелл Джонатан — *Благоволительницы.* Фрагменты романа. Перевод с французского А. Лешневской, И. Мельниковой [5]

Миллер Артур — *Представление.* Рассказ. Перевод Олеси Качановой [5]

Хемингуэй Эрнест — *"Солдатам не светит хорошая смерть..."* Стихи о войне. Перевод и вступление Максима Свириденкова [5]

Грин Джо — *Стихи из книги "Рин-Тин-Тин. Лай в темноте".* Перевод, вступление и комментарии Антона Нестерова [6]

Инглиш Джеймс — *Экономика престижа.* Глава из книги. Перевод и вступление Игоря Мокина [7]

Моррисон Тони — *Жалость.* Роман. Перевод В. Бошняка [8]

2010

Рот Филип — *По наследству.* Подлинная история. Перевод Л. Беспаловой [3]

Делилло Дон — *Падающий.* Роман. Перевод С. Силаковой [4]

"Я больше не узнаю Америку". Три интервью Дона Делилло. Составление и перевод С. Силаковой [4]

Малколм Джанет — *А кому-то нравится.* Перевод Ольги Ольговой и Сергея Шабуцкого [5]

Мервин У. С. — *"ни единого лика в небе".* Стихи. Перевод и вступление Ольги Волгиной [6]

Тауэр Уэллс — *Рассказы.* Переводы Марины Майоровой, З. Гульдиной и Е. Колябиной, В. Голышева. Вступление А. Ливерганта [7]

Уолтерс Мередит — *Стихи из книги "Спроси, не бойся".* Перевод и вступление Григория Стариковского [7]

Хемингуэй Эрнест — *Очерки.* Перевод Елены Фельдман [8]

Пэчт Джудит — *Стихи из книги "Сокол".* Перевод О. Сульчинской [9]

Воннегут Курт — *Ребенок без способностей.* Рассказ. Перевод Олега Попова [12]

Эдгар Лоренс Доктороу
Edgar Lawrence Doctorow
[р. 1931]. Американский писатель. Лауреат Национальной книжной премии, двух Национальных книжных премий общества критиков, премии ПЭН/Фолкнер и др.

Автор романов *Добро пожаловать в тяжелые времена* [*Welcome to Hard Times*, 1960], *Большой, как жизнь* [*Big as Life*, 1966], *Книга Дэниэла* [*The Book of Daniel, 1971*], *Гагачье озеро* [*Loon Lake*, 1980], *Всемирная выставка* [*World's Fair*, 1985], *Гидротехнические сооружения* [*The Waterworks*, 1994], *Град Божий* [*The City of God*, 2000, рус. перев. 2002], сборника рассказов *Новеллы о чудесной земле* [*Sweet Land Stories*, 2004] и др. В *ИЛ* напечатаны его романы *Регтайм* [1978, № 9–10], *Билли Батгейт* [1991, № 6–7], *Марш* [2009, № 1], повесть *Жизнь поэтов* [1988, № 5] и рассказ *Дом на равнине* [2004, № 10],
Рассказ *Wakefield* взят из журнала *The New Yorker* [January, 2008], интервью – из *The National Archives* [Sept. 25, 2008].

Мэтью Лав
Matthew Love
[р. 1960]. Врач, работает в Бронксе.

Его рассказ *Боль в груди* [*Chest Pain*] напечатан в сборнике *20 рассказов тех, кому за 40* [*20 over 40*, 2006].
Публикуемый текст *Nightfoat* взят из сборника *Лучшие новые американские голоса* [*Best New American Voices*. Harcourt, 2004].

Кей Райан
Kay Ryan
[р. 1945]. Американский поэт, поэт-лауреат США [2008–2010].

Автор книг стихов *Дракон остается драконом* [*Dragon Acts to Dragon Ends*, 1983], *Наблюдая за фламинго* [*Flamingo Watching*, 1994], *Слоновьи скалы* [*Elephant Rocks*, 1996], *Скажи: дядя* [*Say Uncle*, 2000], *Река Ниагара* [*The Niagara River*, 2005]. Три стихотворения Райан в русском переводе включались в антологию *Современная американская поэзия* [2007].
Публикуемые стихи взяты из книги *Лучшее: Новые и избранные стихи* [*The Best of It: New and Selected Poems*. New York: Grove Press, 2010].

Дэвид Седарис
David Sedaris
[р. 1956]. Американский прозаик, драматург, исполнитель собственных юмористических рассказов. Лауреат премии Джеймса Тербера [2001], *Юморист года* по версии журнала *Тайм* [2001].

Автор сборников рассказов и эссе *Бочоночная лихорадка* [*Barrel Fever*, 1994], *Голый* [*Naked*, 1997], *Каникулы на льду* [*Holidays on Ice*, 1997], *Моя говорить красиво когда-нибуд"* [*Me Talk Pretty One Day*, 2000], *Одень свою семью в вельвет и коттон* [*Dress Your Family in Corduroy and Denim*, 2004; рус. перев. 2007], *Когда тебя охватит пламя* [*When You Are Engulfed in Flames*, 2008], *Белка желает познакомиться с Бурундуком: скромный бестиарий* [*Squirrel Seeks Chiptmunk: A Modest Bestiary*, 2010].
Рассказ *What I Learned And What I Said at Princeton* взят из *The New Yorker* [June 26, 2006], рассказ *The Way We Are: Of Wild Flowers and Weed* – из журнала *The New Yorker* [February 19, 2007], рассказ *Guy Walks into a Bar Car. Lost Loves and Lost Years* – из *The New Yorker* [April 20, 2009].

Роберт Ли Фрост
Robert Lee Frost
[1874–1963]. Американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии [1924, 1931, 1937, 1943].

Автор десяти сборников стихов, в том числе *Воля мальчика* [*A Boy's Will*, 1913], *К северу от Бостона* [*North of Boston*, 1914], *Нью-Гэмпшир* [*New Hampshire*, 1923], *Закатный ручей* [*West-Running Brook*, 1928], *Дальний хребет* [*A Further Range*, 1936], *Дерево-свидетель* [*A Witness Tree*, 1942], *Таволга* [*Steeple Bush*, 1947], *На вырубке* [*In the Clearing*, 1962]. В России выходили сборники Фроста *Из девяти книг* [М., 1963] и *Избранная лирика* [М., 1968]. Стихотворения Фроста публиковались также в антологиях и периодике, в том числе в *ИЛ* [1963, № 2] и [1985, № 2].
Стихи взяты из сборника *Поэзия Роберта Фроста* [*The Poetry of Robert Frost.* Holt Paperbacks, April 2002].

Пенни Вулфсон
Penny Wolfson
Американская писательница, преподаватель кафедры литературы университета Сары Лоренс. Лауреат премии *National Magazine Award* [2001].

Автор романа *Луна восходит* [*Moonrise*, 2003] и одноименного эссе.
Эссе *Moonrise* публикуется по изданию *Лучшие американские эссе* [*The Best American Essays.* Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2002].

Джералд Уокер
Jerald Walker
Афро-американский писатель, эссеист, профессор, преподаватель кафедры литературы в колледже Бриджуотер, Массачусетс. Основатель журнала *Бридж* [*The Bridge*].

Автор романа *Тени на улицах* [*Street Shadows*, 2010], книги эссе *Заметки из земли обетованной* [*Notes from the Promissed Land*, 2011] и др.
Эссе *Dragon Slayers* публикуется по изданию *Лучшие американские эссе* [*The Best American Essays.* Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2002].

Ричард Прайс
Richard Price
[р. 1949]. Американский писатель, сценарист, эссеист, журналист, профессор, преподаватель литературы в Колумбийском и Йейльском университетах. Лауреат американской литературной премии Академии искусств [1999].

Автор романов *Бродяги* [*The Wanderers*, 1979], *Барыги* [*Clockers*, 1995], *Земля свободы* [*Freedomland*, 1998], *Самаритянин* [*Samaritan*, 2003] и др. Сценарист фильмов *Цвет денег* [*The Color of Money*, 1986; сценарий номинирован на *Оскар*], *Уроки жизни* [*Life Lessons*, 1989; новелла режиссера Мартина Скорцезе в фильме *Нью-Йоркские истории*] и др.
Эссе *Word on the Street* публикуется по изданию *Лучшие американские эссе* [*The Best American Essays.* Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2002].

Генри Джеймс
Henry James
[1843–1916]. Американский писатель, драматург, теолог и философ, эссеист. С тридца-

Автор романов *Башня из слоновой кости* [*Ivory Tower*, 1917 – опубликован посмертно], *Родерик Хадсон* [*Roderick Hudson*, 1875], *Американец* [*The American*, 1877], *Женский портрет* [*The Portrait of a Lady*, 1881], *Зверь в чаще* [*The Beast in the Jungle*, 1903], *Золотая чаша* [*The Golden Bowl*, 1904] и др.

ти лет жил в Европе, за год до смерти принял британское подданство.

Публикуемые тексты взяты из книги *Полное собрание дневников и записных книжек Генри Джеймса* [*The Complete Notebooks of Henry James.* – N. Y.: Oxford University Press, 1984].

Дэвид Лодж
David Lodge
[р. 1935]. Английский писатель и литературный критик, почетный профессор кафедры Бирмингемского университета, член Королевского общества, лауреат Уитбредской премии [1980], премии за лучшую книгу года газеты *Санди экспресс* [1988] и др.

Автор романов *Академический обмен* [*Changing Places*, 1975; рус. перев. 1999], *Мир тесен* [*Small World*, 1984; рус. перев. 2004], *Милое дело* [*Nice Work*, 1988]; *Райские новости* [*Paradise News*, 1991; рус. перев. 2002], *Терапия* [*Therapy*, 1995; рус. перев. 2003] и др., ряда литературоведческих книг, в том числе: *Язык художественной литературы* [*Language of Fiction*, 1966], *Современная критика и теория* [*Modern Critics and Theory*, 1988], *После Бахтина* [*After Bakhtin*, 1990]. В *ИЛ* напечатано его эссе *Разные жизни Грэма Грина* из сборника *Писательская практика* [2001, № 12] и повесть *Горькая правда* [2009, № 7].
Текст публикуется по изданию *Author, Author!* [Penguin Book, 2004].

Малгожата Шейнерт
Małgorzata Szejnert
Польский журналист, писатель. Одна из основателей *Газеты выборчей*, в которой 15 лет руководила отделом репортажа.

Автор нескольких сборников репортажей и документального романа *Черный сад* [*Czarny ogród*, 2007], отмеченного литературными премиями.
Текст публикуется по изданию *Wyspa klucz* [Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009].

Ирина Витальевна Жежко-Браун
Кандидат социологических наук. Заведующая сектором социального проектирования в Институте культурологии [1985–1988]. С 1989-го живет в США. Президент издательского центра и сети интернет-магазинов академической книги *Panorama of Russia*.

Автор статей и редактор нескольких книг по социальному проектированию, социальным и политическим технологиям.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Автор рубрики *Новые книги Нового Света* в *ИЛ*.

в программах *Время и мир* и *Американский час* на радио *Свобода.*

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко. В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10]. Постоянный ведущий рубрики *У книжной витрины.*

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

Переводчики

Елизавета Ильинична Домбаян
Переводчик с английского и французского языков, преподаватель.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Дж. Янга, Д. Ноге, Ф. Лина, Дж. Уилгуса и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны романы Э. Бёрджесса *Железо, ржавое железо* [совместно с А. Пинским, 2004, № 1—3] и Й. Шкворецкого *Два убийства в моей двойной жизни* [2005, № 3], отрывки из книги У. Фергюсона и И. Фергюсона *Как быть канадцем* [2006, № 11] и рассказы Н. Смита [2006, № 11] и Э. Коннела [2007, № 12].

Лев Владимирович Оборин
[р. 1987]. Студент историко-филологического факультета РГГУ. Поэт, переводчик с английского.

В его переводах публиковались произведения Ш. Сильверстайна, О. Нэша, Э. Лира, А. Э. Хаусмана. В *ИЛ* напечатаны в его переводе стихи А. Э. Хаусмана [2006, № 6], М. Дж. Солтер [2007, № 9], Р. М. Дэвиса [2008, № 7], Д. Госвами [2009, № 11], Ю. Ибомчи [2009, № 11], рассказ *Ханья, Крит* [2007, № 5] и эссе *Между благоговением и привычкой* [2007, № 12] С. Цейтлина.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002], и Государственной

Автор шести сборников стихов [последний — *Новые стихи*, 2008]. В его переводах вышли книги Льюиса Кэрролла *Охота на Снарка* [1991], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], Уоллеса Стивенса *Сова в саркофаге* [2008], Эмили Дикинсон *Стихи из комода* [2010], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Единорог: Анг-*

премии по литературе [2003], премии *Мастер* [2009] и Бунинской премии [2010].

лийские и ирландские стихи и сказки [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006], *Англасахаб* [2003] и др. Статьи и эссе собраны в сборниках *Ностальгия обелисков* [2001], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и *У.Б. Йейтс: Исследования и переводы* [2008]. В 2009 г. вышли "Избранные переводы" в 2 тт. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Инолиттл* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3] Б. Сарло [2010, № 10], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Леонид Леонидович Ситник
[р. 1966]. Поэт, переводчик с английского.

Его стихи в разные годы печатались в журналах *Наш современник*, *Новая юность* и др. В 1996 г. издал книгу *Сонеты Шекспира в разных переводах*. В 2004 году в серии *Памятники мировой литературы* издательства Наука вышла книга стихов Эмили Дикинсон, в которой опубликованы несколько его переводов.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006]. *Инолиттл* [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

Екатерина Шабуцкая
Переводчик с английского.

В ее переводе публиковались романы К. Харви *Город, который забыл, как дышать* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2006] и *Брад* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2006], роман К. Бойла *Отход на север* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2007], рассказы из сборника *Демонология* Р. Муди [в соавторстве с С. Шабуцким; 2008].

Сергей Шабуцкий
[р. 1976]. Поэт, журналист, переводчик с английского.

В его переводе публиковались романы К. Харви *Город, который забыл, как дышать* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2006] и *Брад* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2006], роман К. Бойла *Отход на север* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2007], рассказы из сборника *Демонология* Р. Муди [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2008].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков. Обладатель почетного диплома критики зоИЛ [2009].

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон Х. Блума* [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], английские эссе *Национальные предрассудки* [2007, № 8], повесть Д. Лоджа *Горькая правда* [2009, № 4], фрагмент книги Г. К. Честертона *Джордж Бернард Шоу* [2010, № 8] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ напечатаны* ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказа Я. Ю. Щепанского [2008, № 3], рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов книги В. Шимборской *Литературная почта, или Как стать / не стать писателем* [2009, № 7], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5], рассказов З. Хаупта [2010, № 8] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ
ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника, скульптора и гравера Джаспера Джонса [р. 1930] *Флаг* [1955].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

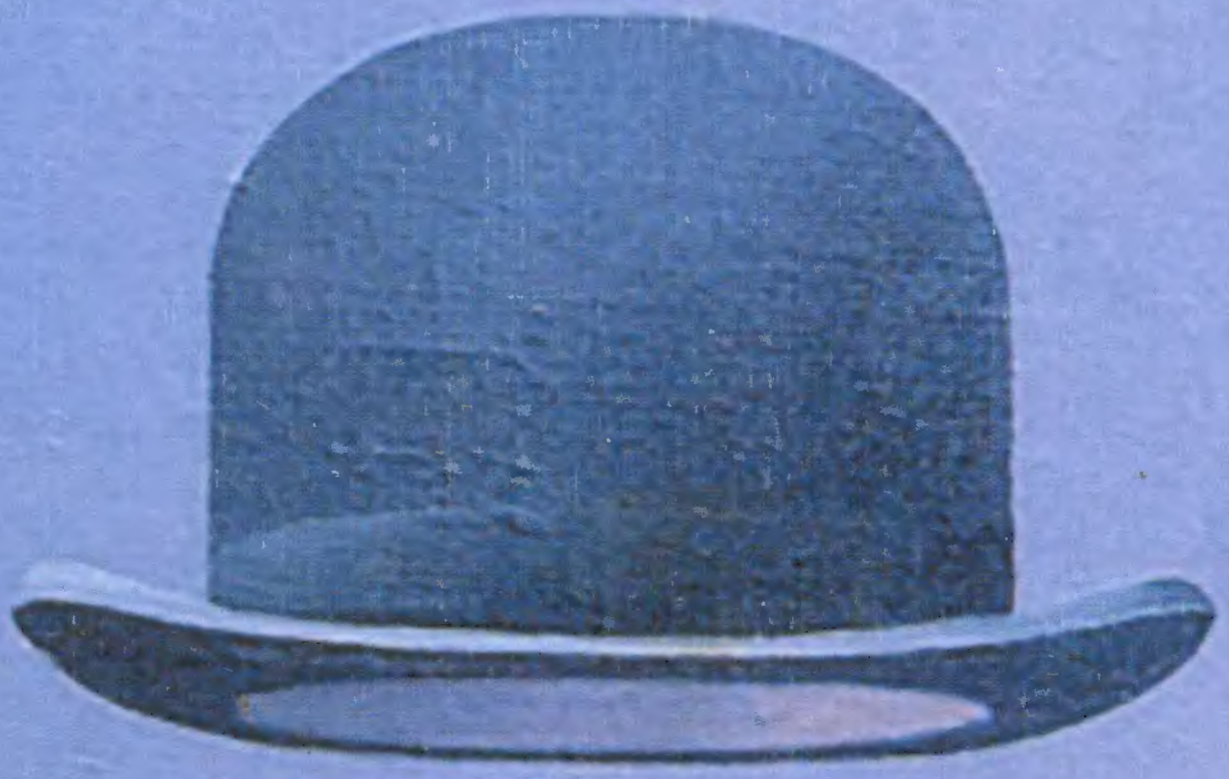
Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.12.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 27.
Тираж 6000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

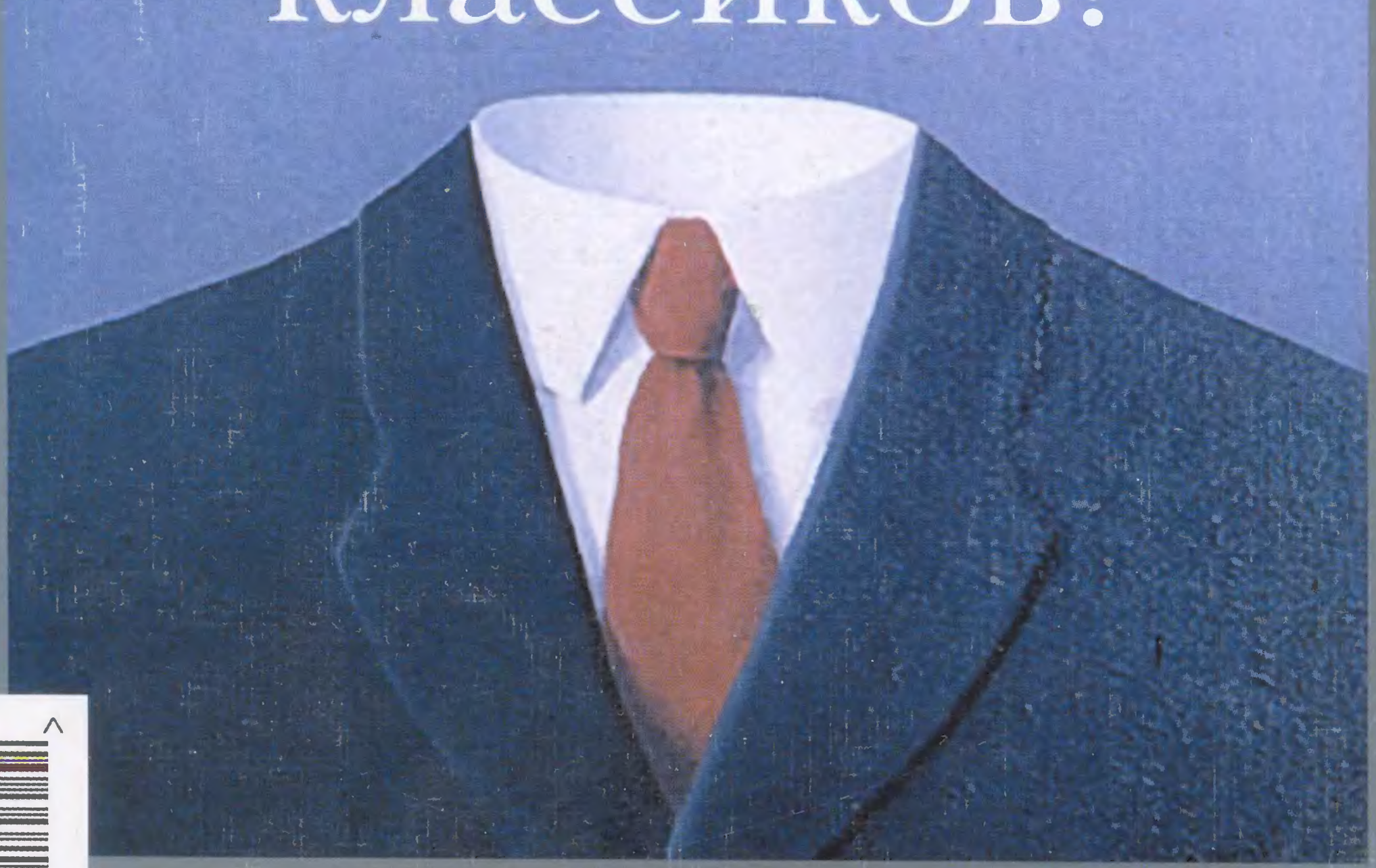
[2] 2011

ПОВЕСТЬ МИХАЛА ВИВЕГА “АНГЕЛЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ” / ПЬЕСА ЖОРДИ ГАЛЬСЕРАНА “МЕТОД ГРОНХОЛЬМА” / СТИХИ ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ И МИХАЭЛЯ ДОНХАУЗЕРА / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “ВЕРНИСЬ И ВОЗЬМИ” АЛЕКСАНДРА СТЕСИНА / “ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА” АЛЕКСАНДРА ЖОЛКОВСКОГО В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература” :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 10001
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2011, №1, 1-288